НЁМАН

6/2011
ИЮНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкой*

Подписано к печати 06.06.2011 г. Формат 70 × 108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,40. Тираж 3502. Заказ 1434.
Цена номера в розницу 12 000 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



ГАНАД ЧАРКАЗЯН

*Горький запах полыни**

Роман

11

Худодад и Али пришли в себя только на третий день, когда в бурдюке оставалось уже около четверти. Салем сбился с ног, управляясь в одиночку с отарой и дойными овцами. Сначала пастухи не заметили моего отсутствия, так как само присутствие на их празднике чужого человека казалось сомнительным. Но Салем подтвердил: раб Сайдулло действительно находился с ними, когда они устроили себе небольшой праздник. Но куда же он делся? Пока они ломали над этим вопросом трещавшие с перепоя головы, прошел еще день. Сначала думали, что я заблудился, когда пошел за хворостом. Но потом обнаружили, что исчез старый халат, которым затыкали щель под дверью, чтобы не так быстро уходило тепло. Пропал и мешок. Еще день думали, что делать. Еще какое-то время и Худодад и Али должны были потратить на окончательное выздоровление. Поэтому трудиться с полной нагрузкой не могли. Срочно нужен был помощник измученному и почти не спавшему Салему. То, что исчез халат, наводило на мысль о побеге. Но куда отсюда можно было убежать? Только в страну цветных камней, откуда никто не возвращается. Все же решили пустить по следу самого умного и сильного пса — ткнули его носом в дверь, на которой висел халат, в то место на кошме, где я спал. Пес немного покрутился вокруг хижины и взял след.

К обеду он вернулся с оторванным рукавом халата. Опять проблема — что делать? Видимо, беглец погиб. Но Сайдулло может обвинить их в том, что они из зависти убили его шурави. В любом случае, надо тащиться туда, где нашел упокоение этот несчастный. На следующий день, дав Салему, наконец, выспаться, усадили того на единственного ишака и послали за скорбным грузом вместе с собакой-разведчиком. Хотя, как признавался потом со смехом Худодад, втайне надеялись, что шакалы и стервятники уже сделали свое дело. Но может, хоть халат удастся спасти — вещь хотя и неказистая, но все же необходимая в хозяйстве.

Салем и доставил то, что от меня оставалось, к пастушьей хижине. Он с трудом вытащил меня из норы, облил холодной водой, привел в чувство, напоил и кое-как усадил на своего ишака. Ноги мои волочились по земле, ударялись о камни, я часто падал лицом на шею терпеливому животному, но все же сгрузил меня Салем на зеленую травку вполне живого.

Пастухи молча оказали мне необходимую помощь, напоили чаем с молоком, — обнаружилась у них и одна тощая коровенка, — жидкой кукурузной кашей. Потом помогли войти в хижину и уложили возле огня — меня бил силь-

---

* Окончание. Начало в № 5, 2011 г.

ный озноб. Вечером разбудили, заставили выпить полкружки шаропа, съесть овечьего сыра с лепешкой. Они не задавали никаких вопросов, ни в чем не упрекали. Через три дня я снова приступил к исполнению своих обязанностей по заготовке хвороста. К ним добавилась и помощь Салему в дойке овец и в приготовлении сыра. Так что забот прибавилось и времени думать о разных глупостях просто не оставалось. После ужина глаза слипались, и я засыпал сразу, как только касался кошмы.

Через две недели приехал Сайдулло, привез продукты. Он как-то подозрительно оглядел меня. Потом расспросил, как тут со мной обращаются. Я ни на что не жаловался и спокойно ждал, когда пастухи расскажут о побеге. Но, видимо, они ничего не сказали моему хозяину — может, боялись, что он сразу заберет меня и оставит их без помощника. Сайдулло переночевал, забрал сыр, которого в этот раз было меньше, чем обычно, и уехал домой.

Вечером спросил, почему же они не сказали о моем проступке хозяину. «О каком проступке? — делано удивился Худодад. — То, что ты немного перебрал шаропа и на время потерял разум? Так ведь не ты один. Мы тоже три дня обходились совсем без мозгов. — И добавил потом очень серьезно: — Ты ничего не видел, и мы ничего не знаем. Потому что если дело дойдет до старейшины, нас прогонят с этой работы. Желающих на наше место много».

Так мой неудачный побег остался тайной для Сайдулло. Думаю, что это известие его бы очень огорчило. И не только потому, что он рисковал потерять своего помощника.

Прошло еще две недели, и мне на смену приехал наш сосед Вали. Глянув на меня, он неожиданно довольно улыбнулся: «Видно, что здесь тебе дали, наконец, немного поработать!» На следующий день домой в кишлак я отправился один и пешком. Вышел еще в утренних сумерках, а к вечеру был в своей пещере. По дороге думалось о разном, но мысли о свободе почему-то больше не беспокоили. Только на минуту задержался у того поворота в страну цветных камней и спокойно проследовал дальше. Та неделя, что я провел без пищи и воды, мучимый то жарой, то холодом, казалась мне теперь чужим и почти забытым страшным сном. Зато вечером, как и мечталось среди тех камней, я снова оказался под смоковницей с уже темнеющими плодами и пил зеленый чай, сидя на ковре напротив хозяина. «Я почему-то очень за тебя беспокоился, — признался Сайдулло. — Да и все соскучились по тебе — особенно Дурханый».

На глазах невольно выступили слезы. Хорошо, что мигающий свет масляного светильника не позволял их увидеть. Как-то незаметно семья моего рабовладельца стала и моей семьей. Да и что тут удивительного? Ведь мы работали с ним на равных, честно проливали пот над лоскутными полями, чтобы добыть себе насущный хлеб. А что же делает людей более близкими, как не совместный труд во благо жизни?

В уже привычных трудах и заботах незаметно пролетело лето, и снова началась осень — то есть зима. Снова пришел навруз. Я уже более уверенно чувствовал себя на этом весеннем празднике. Даже принял участие в соревновании метателей камней и выиграл у Худодада призового петуха. Он немного удивился, но не обиделся и, подмигнув мне, пригласил зайти к ним, попробовать кое-чего. Я сказал, что мне надо спросить позволения у Сайдулло. «А ты ведь когда-то поступал, как тебе самому хочется!» — усмехнулся Худодад. «Это только после того, как попробовал кое-чего!» — улыбнувшись, я тоже нашел, что ему ответить. «Ладно, — сказал Худодад и хлопнул меня по плечу, — до встречи на пастбище!»

Но главной темой разговоров на празднике был недавний и окончательный вывод советских войск из Афганистана. С прошлого года шли разгово-

ры, что шурави уходят. Я впервые услышал их после возвращения с горного пастбища. Но сейчас уже не было никаких сомнений — радио донесло к нам эту весть. Жители кишлака радовались, а я чувствовал себя абсолютно покинутым. Теперь моя мечта выйти на дорогу и дождаться встречи со своими просто растаяла в воздухе. Еще летом, когда бездумно рванулся к свободе, она бы могла осуществиться. Теперь я совсем не представлял, как мне добраться до родной Блони.

А тут еще вскоре после вывода наших войск заговорили о войне в Таджикистане — очень большая война, очень большая кровь, русские бегут. Получалось, что если я даже доберусь в Душанбе, то могу погибнуть уже на территории Советского Союза. Какой-то бесконечный тупик. Неужели мне на роду написано провести всю жизнь в кишлаке Дундуз?

От тяжелых и безрадостных размышлений, как всегда, спасала только работа — опять началась посевная. Я понемногу втягивался в идиотизм сельской жизни и учился радоваться тому, что есть. Однообразное повторение происходящего действовало сильнее, чем любой наркотик. От физических нагрузок тело крепло, мозг тупел, и довольство жизнью все чаще замечалось на моем лице. Да ведь для счастья нужно так мало. Главное — уметь ограничить себя спасительным и доступным кругом.

После посевной, когда стало немного легче и я снова начал заглядываться на звезды, произошло, наконец, то, что сделало мою жизнь вполне терпимой. Однажды ночью меня разбудил нежный шепот: «Халеб...» Рядом со мной лежала женщина. От волнения я не мог сказать ни слова. Она как будто материализовалась из моих сновидений. Я представлял себе это именно так: просыпаюсь на звуки своего имени и — Она уже рядом. Мне остается только укрыть ее одеялом и прижать к себе.

Это была первая женщина в моей жизни. Женщина достаточно опытная, чтобы взять все в свои руки и умело сделать со мной все, чего хотела она, а также и я. То, что проделывал я с многими и совсем незнакомыми женщинами в своих самых откровенных сновидениях. За все время я не проронил ни слова. Только она повторяла мое имя на разные лады и неутомимо ласкалась ко мне, смело касаясь самых интимных мест. Убаюканный ее лаской, я блаженно уснул, а утром проснулся полный сил и готовый свернуть горы. Впервые за все время в пещере пришли ко мне с детства знакомые слова любимой отцовской песни: «Касіў Ясь канюшыну, паглядаў на дзяўчыну...»

Но в моем случае я как раз и не мог видеть свою ночную гостью. Да и не был уверен, что мне так уж необходимо видеть свою таинственную незнакомку. Тем более что это было практически невозможно — ни днем, ни ночью. Женщина-невидимка меня вполне устраивала. Я мог представлять ее любой. Чем и пользовался. Во время этих встреч во мраке перед глазами стояла моя далекая Аннушка. Такой, какой она запомнилась мне в тот вечер на сосне. Но только теперь я делал с ней все что хотелось и даже намного больше. А ее глаза сияли так же нежно, как и тогда.

Сейчас думаю, что такая женщина-незнакомка идеальна для любого мужчины: она, нисколько не обременяя собой, одновременно и присутствует, и отсутствует. А для бесправного раба вроде меня, жившего в чуждом окружении, это был просто единственно возможный вариант. Никаких открытых внебрачных отношений кишлак бы не допустил. А ту женщину, что отважилась бы принять меня, просто забили бы камнями. Таинственная незнакомка рисковала больше, чем я.

Она появлялась всегда неожиданно — видно, с Шахом у нее были хорошие отношения. Полупроснувшись на ее призывное «Халеб...», я привычно

обнимал ее и позволял делать с собой все, что ей хотелось. Как будто мужчиной была она, а не я. Ведь она любила, а я только принимал любовь. Она навещала меня месяца три, а потом так же неожиданно, как и появилась, исчезла. Я еще долго радостно просыпался от почудившегося мне привычного «Халеб...» и, не обнаружив своей незнакомки, долго маялся на жестком ложе, вспоминая ее нежный голос и томительные, искусные ласки.

Может, это и была та обещанная когда-то родственница Сайдулло? Но по его виду ничего нельзя было понять. Иногда, казалось, он вроде многозначительно улыбался, а иногда — просто сопровождал улыбкой какие-то собственные мысли.

Между тем Вали снова выдал замуж свою четвертую дочь, которая овдовела года три назад, и дома теперь оставалась только хромоножка. Поэтому он постоянно находился в доброжелательном и разговорчивом состоянии духа. Пожилой и состоятельный жених заплатил невесте очень хороший махр, который по законам шариата останется навсегда при ней, и взял ее четвертой женой к себе в Ургун. Правда, Ширин Хури — в переводе «кушать сладости», следующая ступенька за сватовством, самый романтичный период в жизни будущих супругов, когда они долго общаются наедине в доме родителей невесты, — молодожены пропустили и сразу сыграли свадьбу. Ведь жених уже не мальчик, ждать так долго не может. Но сила в нем еще есть. Аллах был так милостив, что подарил им надежду на ребенка. Теперь остается выдать только младшенькую. Ну, с ней-то проблем не будет, — явно лукавил сосед, — она у меня красавица, да и характер золотой, слова поперек не скажет. Хотя и с небольшим дефектом. Но ведь на женах воду не возят. Да и верхом не ездят. Может, спотыкается немного на быстром ходу, на любовном ложе все одинаковы. Ну а ты-то, Халеб, знаешь хоть, для чего женщины нужны? Думаешь, вымахал под небо, так во всем и разбираешься? Думаешь, что ты мужчина? Спишь-то в жалкой пещере один. Я в твои годы уже двух дочек имел. Послушай, что говорит наша мудрость: «Не гордись ты ни шубой овчинной, ни огнем своего скакуна — ведь мужчину делает мужчиной только женщина, только жена!»

Куплет из народной песни, который он пропел, мне понравился. Тем более что я его уже слышал не раз и сделал для себя даже стихотворный перевод. Но постоянные приставания Вали начали доставать. Как только увидит меня, сразу подходит, останавливает, начинает расспрашивать, какие у меня планы на дальнейшую жизнь. Я отвечал, что ближайшие планы — рытье арыков. Нет, это планы Сайдулло, а как ты представляешь себе дальнейшую жизнь в нашем кишлаке?

Я отвечал уклончиво и неопределенно. Тут он начинал раздражаться: «Ты мужчина или нет? Ты что — хочешь на всю жизнь остаться только рабом моего соседа?» Потом стал настойчиво убеждать Сайдулло, что я должен принять ислам. Как же мы можем быть в полной безопасности, если среди нас живет человек другой веры? От него можно ждать чего угодно. Сайдулло возражал ему, напоминал, что сам пророк был против принуждения к вере. Это дело добровольное. А Халеб уже понемногу, с помощью Ахмада, читает Коран, изучает нашу великую книгу.

Тут Вали снова раздражался: «Да мы с тобой никогда не читали Коран и не прочитаем! Чтение не прибавляет веры. Нам сделали обрезание и научили ежедневным молитвам. Для праведной жизни этого вполне достаточно. А зачем этому кафиру наш Коран? Он что — хочет стать муллой? Он всего лишь рабочая скотина с голубыми глазами! Как нечистая свинья!»

Сайдулло опять мягко возражал ему. В конце концов терпение Вали заканчивалось, он поминал шайтана, плевался и уходил. Разговоры о том,

что я читаю Коран, очень доставали его. Получается, что какой-то раб может быть выше правоверного мусульманина. И где — в самом важном вопросе, в его религии.

В редкие часы отдыха, в основном во время дневной жары, я глядел из прохладной пещеры на лежащий внизу кишлак. Получалось, что я в каком-то смысле и в самом деле выше Вали. А сейчас вот даже взираю на него свысока. Его внутренний дворик и дворик Сайдулло были у меня как на ладони. Пока Сайдулло тоже отдыхал, его жена суетилась по хозяйству. Правда, в последнее время Хадиджа все чаще начала заниматься с Дурханый. Девочке скоро двенадцать, и пора по-настоящему учиться танцевать, петь, умению вести себя на людях. Хотя в будущей взрослой жизни танцевать ей придется не очень часто — только на свадьбах. Эти их регулярные в последнее время уроки танцев были единственным моим развлечением.

Танцуют маленькие афганки замечательно. Как мне приходилось уже видеть, стоя в толпе зевак на свадьбе, танцующие женщины любого возраста исполнены достоинства, добродетели и тайного внутреннего свечения. Глаз оторвать невозможно. Танцы бывают и быстрые, и медленные, но какие бы ни были, в них полностью отсутствуют чувственность и сексуальность. А есть в них только чистая радость и светлая надежда, что на празднике жизни они самые дорогие и долгожданные гости.

Занимаясь с матерью, стараясь повторять все те сложные движения и фигуры, что с неожиданной легкостью показывала ей уже не молодая женщина, Дурханый казалась немного скованной. Зато, оставаясь одна, чего она только не выделывала на своем дворике. Иногда мне казалось, что она замечает мое далекое внимание и отзывается на него. Столько прелести было в движениях этой девочки, столько доверия к жизни, что слезы умиления невольно накатывались на глаза.

Иногда, во время дневного отдыха, проснувшись раньше обычного, Сайдулло звал на чаепитие. За пиалой чая он рассказывал Дурханый сказки. Ее любимую, о девочке-муравье, я тоже запомнил и потом рассказывал ей. Она, конечно, знала любимую сказку наизусть, но всегда хотела, чтобы ей кто-нибудь рассказывал. Этим «кто-нибудь» почему-то все чаще оказывался именно я.

«Жил в одном селении мудрец, который любил часами сидеть на берегу арыка, размышляя о непрочности и изменчивости всего земного. И вот однажды он сидел так, погруженный в думы, а над ним пролетал преследуемый соколом воробей. Воробей держал в клюве муравья и, пролетая над арыком, выпустил муравья из клюва. Муравей упал у самых ног мудреца, тот поднял его и, жалея, отнес домой. Тут надо сказать, что мудрец был еще и волшебником, во всяком случае, он знал заклинания, с помощью которых можно превращать одно живое существо в другое. Принеся муравья домой, он положил его на пол и, повернувшись лицом к востоку, произнес нужные слова, отчего муравей стал расти, менять свой облик и превратился в красивую маленькую девочку. Мудрец взял ее за руку и отвел к своему другу, у которого было уже несколько детей и которому нетрудно было вырастить еще одного ребенка. Шли годы, и девочка превратилась в стройную, прекрасную девушку. Тогда мудрец призвал к себе ее приемного отца, и они стали рассуждать, что делать дальше.

— Я думаю, — сказал друг, — что настало время найти того, с кем она может идти по жизни дальше. В нашем селении много крепких и красивых мужчин. Давай спросим ее.

Но девушка, когда предстала перед ними, — а она была действительно умна и красива, — ответила:

— О, вы, чьим словам я должна и готова повиноваться. Не кажется ли вам, что те мужчины, о которых говорите, уступают мне в достоинствах? А вы столько раз учили меня, что только равенство соединяет сердца.

— Ты права, — ответил, подумав, мудрец. — Но кто в этом мире достойнее и безупречнее всех? Самый сильный. А кто сильнее всех? Солнце — оно побеждает даже мрак.

— Хорошо, пусть будет солнце, — согласилась девушка.

И рано утром, едва только солнце взошло над вершинами Гиндукуша, мудрец крикнул:

— О светило! Эта девушка достойна самого могущественного друга. Не возьмешь ли ты ее себе в спутницы?

— Она прекрасна, — ответило солнце, — и я было бы радо, если бы рядом со мной всегда сияла она. Но, увы, не я самое сильное и могущественное, а туча. Даже небольшое облачко легко закрывает меня.

Тогда мудрец и девушка отправились к туче. Они нашли ее у подножия высокой горы.

— Что делать,— ответила им туча, — и я была бы рада иметь тебя подругой, но мое могущество ограничено: ветер гонит меня куда хочет.

Они обратились к ветру.

— Разве это сила и мощь — то, что есть у меня! — воскликнул ветер. — Только слабые тучи да гибкие деревья уступают мне. Посмотрите на гору — как несокрушима она, как прочно вросла в землю. Ничто ее не сдвинет с места. Могущественнее ее, по-моему, нет ничего.

Мудрец обратился к горе.

— Скажу по справедливости, уж если кто и обладает могуществом и настоящей силой, то это муравьи, — ответила ему гора. — Действительно, я не поддаюсь пока ветру, но муравьи уже изрыли все мое тело, расширили все трещинки. Скоро мне наступит конец, а я ничего не могу с ними поделать — ни прогнать их, ни уйти от них.

— Подожди меня! — сказал мудрец девушке. Подошел к горе, выбрал среди тысяч муравьев одного покрупнее, взял на палец и вернулся туда, где стояла красавица.

— Ты слышала все, — сказал он ей. — Подходит тебе такой жених?

— Конечно, — ответила девушка, — ведь он равен мне достоинствами, и он действительно самый сильный.

И тогда мудрец, повернувшись лицом к востоку, произнес известные ему слова. Заклинание подействовало, тело девушки стало уменьшаться, изменять форму, и она опять превратилась в муравья.

Два муравья взяли друг друга за руки-лапки и скрылись в расселине горы...»

Тут, как всегда, на глазах Дурханый появлялись слезы, она закрывала лицо руками и убегала на женскую половину.

Через какое-то время она снова просила рассказать любимую сказку. «Но ты ведь будешь плакать», — пробовал возразить я. «Буду!» — твердо отвечала она. Когда я пытался выяснить, почему она каждый раз плачет, Дурханый, коротко взглянув на меня, опускала голову и молчала. Только однажды она проронила: «Потому что они, — она выделила последнее слово, — теперь будут всегда вместе!» И тут же зарыдав, убежала. Да, что-то уже не детское происходило в душе моей сестренки. Видимо, это было как-то связано с тем, что она становилась женщиной — под южным солнцем девочки созревают быстро. Еще года два-три и ее выдадут замуж. Почему-то от этой мысли мне становилось грустно. Я уже привык к ее лукавой мордашке, к ее «верблюду»,

к ее призывно-нежному «Хале-еб!», то и дело раздающемуся по тому или иному поводу. Если она покинет бедное жилище Сайдулло, то я буду лишен даже этих малых и привычных радостей.

Однажды, когда копал плодородную землю возле реки, чтобы отвезти ее на наши поля, Дурханый прогуливалась недалеко и собирала разноцветные камушки и черепки. Вдруг я услышал ее крик: «Мар! Мар!» Марг и мар — смерть и змея — в их языке сближены предельно. Я рванулся со всех ног, подбежал к ней, схватил за руки. Укусила? Куда? Она протянула мне руку, где в локтевом сгибе краснело какое-то пятнышко. Я тут же приник к нему губами. Вдруг Дурханый засмеялась, вырвала руку и показала в сторону камней, куда, видимо спряталась змея. Если она вообще была. Дурханый глядела на меня лукаво и нежно, совсем не смущаясь, прикрывая ладошкой место мнимого укуса, где остался отпечаток моего невольного поцелуя. Я оглянулся — поблизости никого не было. Два желания боролись во мне: тут же отшлепать ее по попке и снова приникнуть губами к ямочке под локтем. Да что ж это такое, она меня просто соблазняет! А что будет через год, через два? Я взглянул на нее как можно строже и вернулся к работе.

Но теперь слово «мар» стало любимым словом Дурханый. Она находила повод повторять его при всех, лукаво и невинно поглядывая на меня. А наедине оно звучало чаще всех других слов. Мар — таков был отныне наш пароль. Он открывал целый ритуал, который она сумела мне навязать. Теперь, когда Дурханый что-нибудь приносила в мою пещеру, она твердо и серьезно говорила мне «мар» и протягивала полусогнутую руку. Я вынужден был молча целовать и старался не думать, куда это может нас завести.

Как-то невольно получалось, что мы проводили рядом все больше времени. Она использовала любой повод, чтобы навестить нас с отцом. На уставшем лице Сайдулло расцветала счастливая улыбка, когда он видел дочку с кувшином свежей воды или корзинкой фруктов. Но то, что двигала его Дурханый не только любовь к отцу, он, похоже, и не догадывался. Или не спешил догадываться. Или уже обо всем догадался и старался не подавать виду, чтобы раньше времени не произносить опасных слов и не создавать ненужных проблем. Потому что все сказанное стремится стать реальностью. Большей частью отвращающей. А может, он уже и примирился с ней, считая, что все в руках Аллаха. И почему бы Всевышнему не оставить ему его девочку рядом с ним до глубокой старости. А как он это совершит и с чьей помощью — не имеет никакого значения.

12

Как-то, уже после священного месяца рамадана, когда вся тяжесть работы легла на меня, — ведь я-то не постился, — я присматривал за овцами вместо Ахмада. Он с головой ушел в свой шурави-джип, на что получил полное согласие отца. Каркас будущей машины стоял недалеко от того места, с которого я наблюдал за овцами возле реки. Метров за сто от меня сидела на камне и Азиза — соседка-хромоножка. Она тоже следила за своими мирно пасущимися овцами. Наши небольшие отары паслись рядом, но все же соблюдая дистанцию и не перемешиваясь.

Периодически Ахмад призывал меня на помощь — все-таки у меня было большее представление о том, где должна находиться та или иная часть будущей машины. Когда помогал устанавливать Ахмаду радиатор, раздался крик моей соседки. Я обернулся — девушка, сильно хромая, торопилась к овцам, которые неожиданно соединились. Я бросился за ней, обогнал ее. Начал раз-

делять слившиеся отары. Тут подоспела и Азиза. В бестолковой суете я неожиданно зацепил и сорвал ее чадру. К тому же, чтобы девушка не упала, мне пришлось подхватить ее на руки. Немного пронес ее на руках и посадил на валун, а сам активно начал разгонять вдруг решивших побрататься животных. Простого соседства им оказалось мало. Видно, какой-то баран уловил запах начинавшейся течки. Да, во всех беспорядках на этом свете всегда виновата любовь. Жестко орудуя посохом и громко покрикивая, я, наконец, разделил овец, а тучного любвеобильного барана со сросшимися, как шлем, рогами из стада Вали приложил в полную силу. Так что он еще десять раз подумает перед тем, как рвануться к чужой самке.

Вытирая полой рубахи пот с лица, я заметил, что к нам торопится Вали. Видимо, он тоже решил оказать посильную помощь. Последнее время, после того как проведал в Ургуне свою недавно родившую дочь, был что-то не в настроении. Но зато перестал приставать ко мне со своими вопросами и советами.

Оторвавшись от своего джипа, ко мне спешил и Ахмад. Ну, помощников привалило. Если бы немного пораньше. Но Вали почему-то направлялся не к своим взбаламученным и блеющим овцам, а прямиком ко мне. И к тому же с разъяренным лицом. Я остановился в некотором недоумении. Уже шагов за десять Вали начал поливать меня самой отборной руганью. И кафир неверный, и отродье шакала, и гнусный развратник. Чего только я не услышал о самом себе. Но в чем дело, что вызвало такой поток озлобленной брани, понять все никак не мог.

Наконец, приблизившись вплотную и чувствительно огрев меня посохом по боку, он начал выкрикивать свои претензии. Половину их я не понял, но того, что понял, было вполне достаточно, чтобы ощутить всю серьезность положения. Оказывается, я, сам того не подозревая, покусился на честь и достоинство его любимой дочери Азизы. Она в это время невозмутимо сидела рядышком на камне и спокойно приводила в порядок свои голубые занавески.

Трудно оправдываться в проступке, которого не совершал. Я с недоумением глядел на брызжущего слюной соседа и только увертывался от его ударов. Но разок, не вытерпев, тоже огрел не иначе как взбесившегося Вали. Это его вроде успокоило, он тут же развернулся и, начисто забыв об овцах, поспешил обратно в кишлак. Глядя на неловко бегущего Вали, я невольно улыбался. Подбежавший Ахмад почему-то совсем не смеялся. Он был очень встревожен: «Халеб! Быстрее беги домой! Быстрее! Вали сейчас вернется со своими братьями! Они убьют тебя!»

Я ничего не мог понять. Убьют? За что? Почему я должен бежать? А овцы? И что значит домой? В родную Блонь, что ли? Ахмад нетерпеливо подталкивал меня, а я был в каком-то ступоре. Впервые в жизни ничего не понимал и поэтому стоял в растерянности. Да и убегать было уже поздно. По склону, отрезая меня от сакли Сайдулло, катилось пятеро фигур с посохами. Ахмад рванул за отцом, который сегодня, к счастью, оказался дома и делал ручки для мотыг.

Я стоял на месте, не предпринимая никаких попыток к спасению бегством. В руке был только посох — один против пятерых. Да еще шестой — сам Вали — торопился ко мне с ружьем на плече. Нежданно-негаданно я оказался в эпицентре какого-то безумия. Чего им от меня надо? Азиза их сидит себе на камешке живая и здоровая, опять занавешенная — успел только заметить, что лицо покруглело. А родственники ее уже окружили меня, как стая волков, и движутся по кругу, чтобы, изловчившись, начать наказывать меня за несуществующие грехи.

Что же это я? Дал себя окружить. Заметив близкий обломок скалы, к которому можно прижаться спиной, я рванулся на самого молодого и огрел того посохом. Выскочив из круга и обезопасив себя со спины, был готов встретить нападающих. Моя решительность вызвала некоторое замешательство. Нападающие оглянулись на приближающегося Вали. Он нес какой-то доисторический мушкет с расширяющимся дулом и уже поднимал его, явно собираясь в меня стрелять. Да после такого выстрела от меня ничего не останется!

Ярость поднималась из глубин моего униженного, но все еще не сломленного существа. За что вы хотите меня убить? За то, что я другой, не такой, как вы? Жалкое и тупое отродье. Нет, просто так вы меня не получите. Наклонившись, поднял камень, как раз по руке. Далековато, пусть мой дорогой сосед сделает еще пару шагов. Братья расступились, и Вали, выдвинувшись вперед, важно произнес: «Вот под этой скалой мы и закопаем то, что от тебя останется, похотливый верблюд!»

Камень попал ему в плечо, когда он нажимал на курок. Вали вскрикнул, грохнул выстрел, кто-то из братьев пронзительно заверещал. А все остальные бросились на меня, вцепились как клещи, повалили на землю и заломили руки за спину. Тут же связали и начали охаживать посохами, пинать ногами. Я потерял сознание.

Очнулся от ледяной воды, в которой захлебывался. Братья просто окунули меня с берега головой в ручей. Увидев, что я пришел в себя, небрежно уронили на траву. В глазах все опять потемнело.

— Нет, кафир, ты просто так не умрешь. Я устрою тебе такую жизнь, что ты каждую минуту будешь сожалеть, что остался в живых. — Вали, придерживая левой рукой свою правую, бегал по берегу. — Сейчас мы прокалим кинжал и отрежем тебе кое-что. Так что твоя мать не дождется внуков, а ты перестанешь брюхатить наших дочек. Голубые глаза! Не будет больше ни у кого этих голубых свинячьих глаз!

Братья начали собирать сухую траву и коровьи лепешки для костра. Тут появился Сайдулло. Его спокойные слова и жесты, твердый взгляд немного успокоили взбудораженную компанию. Первым делом Сайдулло напомнил, что у пуштунов есть кодекс чести. И все мы обязаны его придерживаться, чтобы не превратиться в диких зверей. Неужели зря прозвучало слово нашего пророка, давшего нам законы и человеческие установления? Разве не должны и мы сами стремиться быть такими же милостивыми и милосердными, как наш учитель?

— Дорогой мой сосед и родственник, твоя честь — моя честь. Мы всегда поддерживали друг друга, делились последним. Сегодня в память о нашей многолетней дружбе и добрососедстве прошу тебя — не допускай скорого и неправого суда, Вали. Аллах не любит этого. Да и в чем вина несчастного раба? Мой сын Ахмад наблюдал за всем, что здесь происходило. Если взбесились овцы, то почему мы, люди, должны следовать им? И становиться еще безумнее, чем глупые животные? Халеб не покушался на честь твоей дочери. И в мыслях такого у него не могло быть. А в этой давке и сумятице чадра слетела случайно. Все могло бы закончиться гораздо печальнее, если бы Халеб не вынес Азизу. Лучше было бы, если бы он дал затоптать ее бестолковой скотине? Неужели ты хотел избавиться от своей дочери? Ты должен благодарить Халеба, что он уберег твою красавицу Азизу от возможного несчастья. Да ведь и сама Азиза только благодарна моему рабу. Она не чувствует никакой обиды, возможно, только смущение, вполне приличное девушке ее возраста. Спроси у нее сам, и она повторит то, что сказала мне. Такая хорошая девушка не возьмет грех на душу. Ведь она ждет жениха, а Аллах в наказание может

послать ей такого мужа, что и ты запляшешь. Не сотвори несправедливости, Вали. Ведь мы с тобой все-таки родственники. И все наши грехи ложатся на наши плечи. Не отягощай их лишним грузом. Кто знает, какие несчастья принесет это дикое беззаконие нашему кишлаку? А главное — тебе, и твоим детям, и твоим внукам!

— Особенно тем, кто с голубыми глазами, — невразумительно буркнул Вали.

— При чем здесь голубые глаза? — не понял Сайдулло.

— Ни при чем. Так и быть — если он тебе так дорог, оставляю этого ублюдка в твоем распоряжении. Не хочу терять долгой дружбы из-за этого шайтанова отродья. Пусть совершит все, ради чего появился в нашем кишлаке. Посмотрим, какое наказание мы за него получим. Тогда я тебе напомню о сегодняшнем дне. Не хочу марать руки об эту нечисть. Думаю, что и тебя он окунет в свою свинячью лужу. Тогда вспомнишь, заступник, этот день. Вспомнишь...

Сайдулло и Ахмад осторожно обмыли меня на берегу. Ледяная вода обжигала и отвлекала боль. Опять надели рубаху и штаны, которые уже было стащили с меня лихие братья Вали. Однако все-таки зацепило выстрелом — несколько картечин попало в мягкое место. Потом вдвоем кое-как поставили меня на ноги. Хотя все болело, но переломов вроде не обнаруживалось. Досталось в основном почкам — помочился кровью. Поддерживая с двух сторон, Сайдулло и Ахмад довели меня до моего убежища и уложили.

Вскоре пришла Маймуна-ханум и снова занялась мной. У загородки слышался и взволнованный голос Дурханый, но ее не пускали — нечего глазеть на голого мужчину. После горячего зеленого чая с молоком перестал бить озноб. На моем привычном ложе вскоре стало тепло и спокойно. Господи, опять живой, пока живой. Надолго ли? Не таков Вали, чтобы прощать обиды.

Если Сайдулло ничего не понял из реплики Вали про голубые глаза, то мне-то теперь стало ясно, откуда ветер подул. Ясно и почему Вали ходил последнее время не поднимая глаз. Ветер принес вести из самого Ургуна. Значит, та ночная незнакомка — тоже дочка Вали. А хромоножка Азиза только повод. Первый. И, конечно, не последний. Хотя, теперь мы с Вали вроде как тоже родственники. Но об этом он, конечно, не станет рассказывать Сайдулло. Да и мне ни к чему. Действительно, все тайное раньше или позже становится явным. А мне эта тайна вылезла вот таким боком. Только бы почки не отказали.

Утром я с удивлением обнаружил рядом со своим ложем и полосатый — тоже армейский — тюфяк Сайдулло. Что — он ночевал со мной? Боялся, чтобы меня не прикончили вместе с Шахом? Слезы потекли из моих глаз. Дано мне узнать и слепую ненависть, и зрячую любовь. Хотя все может объясняться только простой заботой о своем имуществе — говорящей мотыге. Очень трудолюбивой и неприхотливой. Но хотелось верить, что для Сайдулло я все-таки кое-что значу. Ведь он тоже мог пострадать в результате ночного нападения.

Опять твердые руки Маймуны-ханум, которые нашли и сломанное ребро, втирают в меня жгучие мази. Опять горькое питье. А на следующий день я проснулся от прохладной ладошки на горячем лбу. Я открыл глаза. Заплаканное и побледневшее личико Дурханый светилось в полумраке моего жилища. Я запрокинул голову — так, чтобы ладошка прошла по носу и остановилась на губах. «Мар!» — прошептал я и поцеловал эту пухленькую ладошку. Личико моей малышки осветилось счастьем, и она тоже прошептала понятное только нам словечко.

Я опять пролежал недели две и, к большому моему сожалению, пропустил сбор винограда, на котором работала вся семья. Это был настоящий праздник, который сотворили солнце, вода и земля. Но зато столько винограда я не ел никогда в жизни. Мне приносили самые лучшие грозди, которые и вялили рядом с моей пещерой. Наверное, только благодаря винограду и козьему молоку с инжиром прошел тот нехороший — с кровью — кашель, который привязался ко мне после неожиданного избиения на берегу реки.

Скоро я уже выбирался из пещеры, куда Дурханый натаскала разных пахучих трав, чтобы я, как она говорила, не пах бараном. Хорошо было сидеть на утреннем или вечернем солнышке, а то и при полной луне. Сидеть ни о чем не думая и глядеть на тополь возле глиняного кубика Сайдулло. Тополь был стройный и уже достаточно высокий — даже успел подрасти за то время, что я здесь. Он немного напоминал березу своей белой, цвета слоновой кости, корой. Правда, не гладкой и блестящей, а мягкой, замшевой. Тополь раздвоился к верхушке, при малейшем ветре наполнялся движением и говором зеленой листвы. А ночью он так ловко притворялся худенькой березкой, что тревожил и мучил знакомым трепетом листьев, течением лунного света вдоль узких ветвей. Но только луна видела мои глаза, полные слез.

Вот уже два года я в неволе, стал тайным отцом — мальчика, девочки? Снова чуть живой, как в самом начале. Глупая попытка побега. Что ждет меня впереди? Пушечный заряд картечи или тайный удар кинжала? А может, просто забросают камнями, если какая-нибудь женщина снова повадится скрашивать свои и мои одинокие ночи. В лучшем случае лет через двадцать все дети будут с голубыми глазами, а кишлак получит двойное название — Блонь-Дундуз. То ли смеяться, то ли плакать. Неужели я обречен жить одним днем, не чувствуя, как пролетает время жизни, как крадется старость, смерть? Или, может, наркотики сократят время моих мучений? Или начать помогать Худодаду уничтожать шароп? Шурави-алкаш?

Нет, надо жить, цепляясь за каждый день, как жили деды и прадеды, спасаясь трудом и в труде. Ведь не только здесь, но и дома — всюду ждет работа, которая помогает людям не только преодолевать, но и побеждать время.

У людей нет никакого запаса дней. Каждый день надо прожить так, как будто это маленькая жизнь. Прожить, ничего не оставляя на потом. А запас, возможно, появится тогда, когда, отмеченная делом, мыслью и чувством, прожита каждая минута, отпущенная человеку. Это золотой запас мудрости, владение которым дает подлинное счастье и подлинное успокоение — перед последним, в прахе земном. Откуда пришли, туда и возвращаемся, но совершили все, что должно совершить человеку.

Ребенка я уже родил, деревья сажал, осталось только выстроить дом. Тем более что здесь это совсем просто: та же пыль, смоченная водой, перемешанная с соломой, превращается на солнце в твердый кирпич. Да еще с десяток жердей на крышу — и нет проблем. А под каждой новой крышей начинает множиться жизнь. Нет, в количестве имущества простые люди не соревнуются — все это прах земной. Единственная подлинная ценность для них — новая жизнь. Она беззаботно множится не в богатых дворцах, а в бедных хижинах.

Но все же что-то подсказывало мне: как бы долго здесь ни задержался, как бы много голубоглазых детей ни родилось от меня, как бы много деревьев ни посадил в эту каменистую землю, сколько бы глиняных жилищ ни выстроил — все же каким-то непонятным образом я вернусь на родину предков, в свою дорогую Блонь. Хотя, возможно, только для того, чтобы успокоить свой прах в родной земле, рядом с отцом и дедом.

Домой — эта мысль ушла глубоко в подсознание. Каждый поступок, каждый шаг, каждая случайность проходили проверку этой мыслью, просвечивались насквозь — нет ли в них зернышка того, что медленно и неотвратимо станет реальностью?

Домой...

Иногда, задумавшись, чертил это слово прутиком на пыли, в этой вездесущей афганской пыли, мелкой, как цемент, в которой утопали ноги и которая проникала во все щели. Домой — это слово пишется просто. Но сколько в нем тоски, надежды, мечты, сколько непрожитых дней, месяцев, лет — столько, что захватывает дух и самому себе кажется, что еще немного — и безумие навсегда раскинет черные крылья и над будущим, и над настоящим.

Иногда Дурханый заставала меня пишущего палочкой на песке это слово. Всегда одно и то же. Она внимательно изучала его начертание, потом так же внимательно глядела на меня, всегда очень невеселого в этот момент. Потом решительно проводила своей ножкой в красной самодельной туфельке — производство Сайдулло — и стирала такое плохое, по ее мнению, слово. Ведь оно делало меня печальным.

В дождливые зимние дни я особенно остро ощущал отсутствие книг. Согласен был даже на библию, что носил когда-то за поясом. Тогда она спасла мне жизнь в прямом смысле. Но жизнь, когда разум спит, едва ли может считаться человеческой жизнью. Я с тоской вспоминал свои самодельные полки, плотно уставленные любимыми книгами. Там осталось еще несколько непрочитанных томов. Из привычного домашнего уюта книги манили в неизвестность, в огромный открытый мир. Совсем не такой, как в родной Блони. Это уж точно. Теперь могу сказать со знанием дела — совсем не такой. Сейчас из этого мира, куда я заглянул не по своей воле, и гораздо дальше, чем мог бы надеяться, хотелось только одного — вернуться домой и спокойно взяться за роман Владимира Короткевича, повести Виктора Козько или том избранного Михася Стрельцова — их успел только пролистать.

Все остальные книги, уже прочитанные, обласканные моим вниманием, по-хозяйски уверенно стояли на полках, а новенькие чувствовали себя только гостями, которых могут вскоре и попросить. Да, такое случалось. Не все книги задерживались в моей библиотеке, которая с годами становилась все обширней. Первую книгу — «Полесские робинзоны» Янки Мавра — подарила мама, когда мне исполнилось двенадцать лет. Я ее прочитал раз пять, и каждый раз открывал как будто впервые.

Каждая новая книга должна была быть как можно скорее прочитана — это стало первым правилом моей библиотеки. И только после прочтения, если книга оказалась достойна этого, занимала свое видное и почетное место. Тогда в любой момент я мог протянуть руку и взять нужную книгу, чтобы еще раз убедиться — место она занимает не зря. И Пушкин, и Тургенев, и Бальзак, и Толстой, и Бунин, и Шолохов — всегда снова увлекали за собой, уводили в придуманные, но такие реальные миры.

Правда, дед Гаврилка не очень одобрял мое увлечение книгами. Он очень любил повторять: «Книга книгой, но своим мозгом двигай!» Когда я показал ему эти слова в собрании сочинений Максима Горького, он был несколько смущен: оказывается, и писатели, бывает, что-то дельное говорят.

Теперь в пещере, в темноте, под шум дождя, я вспоминал свою библиотеку. Каждая книга стояла перед глазами как наяву. А «Шагреневую кожу» Бальзака начал даже пересказывать в упрощенном варианте и Ахмаду, и Дурханый. После чего Сайдулло попросил меня не рассказывать больше таких страшных историй — девочка долго была не в себе. Зато Сайдулло рассказывал ей

короткие и поучительные сказки вроде из совсем обычной жизни — «Бык, осел и петух», «Вор и мудрец». Все они давали четкие модели поведения в разных жизненных ситуациях. Всюду побеждали скромные, добрые и мудрые герои, честные труженики, на которых всегда и везде держится жизнь.

Думаю, что моя далекая полка с книгами и стала той опорой, благодаря которой не потерял рассудок в ту зиму. Каждую ночь я мысленно заходил в свою маленькую голубую комнату с тахтой и письменным столом, зажигал настольную лампу с зеленым абажуром и проводил рукой по переплетам моих книг. На каком-нибудь одном из них задерживался, снимал книгу с полки, перелистывал, вспоминал содержание. Понемногу оживил в памяти почти все прочитанное — оно, оказывается, никуда не исчезает. Оно просто ждет своего часа, когда снова может прийти к нам на помощь.

После неожиданной и кровавой стычки с соседом Вали Сайдулло меня строго предупредил: один нигде не расхаживай. Мол, я знаю своего самолюбивого родственничка — он не успокоится, пока не добьется своего. И еще: готовься к принятию нашей веры. Если, конечно, хочешь остаться в живых. Только это может тебя спасти и как-то утихомирить соседа. А к дочке его не приближайся ни под каким предлогом. В следующий раз могу и не спасти тебя. Так и будешь доживать жизнь толстым и писклявым кастратом.

Да, от такой перспективы и сейчас пробегал мороз по коже. Я вспоминал, как Сайдулло умно и выдержанно вел разговор с Вали, как точно обозначал все угрозы, как льстил самолюбию этого недалекого человека. А если бы его природный ум получил шлифовку, которую дает образование, то из него мог бы получиться прекрасный дипломат, государственный деятель. Да и с обязанностями президента, думаю, он бы тоже справился. Я сужу об этом по тому, как спокойно, не повышая голоса, управлял Сайдулло своей небольшой семьей. Но любое его негромкое слово тут же становилось руководством к действию.

Разговор о принятии ислама хозяин начал заводить при каждом удобном случае. Только появится свободная минутка, слово за слово, глядишь — он уже оседлал своего конька. Главным было, конечно, беспокойство за мою жизнь. Я вначале пытался отговариваться, что, мол, я не могу принимать чужой религии, так как в детстве меня крестили и я, значит, христианин. То есть представитель одной из религий, которые признает ислам. Но ты ведь в церковь не ходил, обрядов не исполнял, — находил Сайдулло мое слабое место, — и значит, полноценным верующим считаться не можешь. Да дело ведь не в вере, убеждал он меня, а в соблюдении определенных жизненных правил. Именно эти правила укрепляют связь человека с другими людьми. Ты живешь с нами и должен подчиняться нашим законам, ни в чем не выделяться, быть как все. Почему нет белых ворон? Потому что их насмерть забивают черные. Не из-за самого цвета, а из-за того, что их большинство. Так забивали бы белые вороны черную.

В течение следующего года я в свободное время, которого, к счастью, было очень немного, ходил к мулле, вел с ним очень скучные беседы, слушал много непонятного, согласно кивал и, благодарно раскланиваясь, уходил. Ну и конечно, учил молитвы — с помощью того же Ахмада. Басмалу я повторял уже постоянно и тем самым немного успокоил своего хозяина. Он всем рассказывал, что я делаю большие успехи на пути к единственно верной и всепобеждающей религии. Почему-то при этих словах я улыбался, невольно вспоминая нашего замполита.

Молитвы молитвами, но ведь было еще обрезание. На эту операцию я не соглашался категорически — и так много всего вытерпел. Сайдулло только пожимал плечами: «Да через неделю все заживет! У тебя что — инструмент этот

всегда в работе?» В общем, для того, чтобы сохранить свою крайнюю плоть, никаких разумных обоснований найти было невозможно. Все они казались детскими и смешными по сравнению с главным — сохранить саму жизнь.

Но ведь с такими издержками сохраненная жизнь будет жизнью какого-то другого человека, а вовсе не Глеба Березовика. Эта неожиданная мысль пришла ко мне и никак не хотела уходить. Хотя, в сущности, я просто цеплялся за нее — она была моей последней надеждой. Да, у этих двоих людей найдется кое-что общее, детские и юношеские воспоминания, прочитанные книги, даже отец с матерью, но все же это будут уже разные люди. Я впервые почувствовал, как жизнь может делать с человеком все что захочет. И только смерть запретит ей это своеволие. Но готов ли я умереть для того, чтобы остаться только Глебом Березовиком? Тем более что уже давно стал для всех окружающих Халебом. Путь к другому человеку наполовину пройден. «Нет, — вынужден был честно сказать себе самому, — я не готов умирать только для того, чтобы сохранить привычное и простое единство личности». Значит, я должен принять те условия, которые мне диктует возможная жизнь. Единственное, что в моих силах, — постараться как можно дольше растянуть принятие этих условий. Кто знает, что может произойти. Вдруг какая-то непредвиденная случайность вырвет меня из этой беспощадно гнущей реальности. Но ведь главное — это не дать ей меня сломать, уничтожить, развеять прахом в этой всепоглощающей афганской пыли.

Я часто смотрел на корявый кедр на обрыве недалеко от пещеры. Как широко раскинул он корни, как изогнулся под суровыми зимними ветрами. Но все же каждую весну победно зеленел, продолжал жить, сеять семена своих шишек. В конце концов, даже Афанасий Никитин, когда жил в Индии, вынужден был внешне принять чуждую веру, но в душе молился своим богам. Ведь у меня нет никаких проблем с богами, все они мне одинаково чужды. Да, наше познание мира относительно, но эта относительность не абсолютна. Да, с каждым шагом знания тайна мира угрожающе возрастает, но путь познания — наш единственный путь. Думаю, что ближе всего мне буддизм с его главным грехом — отказом от познания. Человек, который отказывается познавать мир, плодит невежество, которое главная причина всякого зла. Но так ли абсолютно само знание? Ведь оно постоянно открывает бездны и умножает печаль. Да, трудна дорога свободного духа, и так соблазнительно решить все проблемы одним махом — бездумным и благостным поклонением какому-нибудь традиционному и привычному для всех божеству.

13

При молчаливом попустительстве Сайдулло официальное принятие ислама удалось оттянуть больше чем на год. Когда этот вопрос снова возникал, Сайдулло без труда находил оправдания тому, что не торопится с обращением своего раба в истинную веру. «Для человека из чужого и далекого мира, который к тому же никогда ни во что не верил, кроме как в коммунизм, — убеждал хозяин соседей и знакомых, — вхождение в дом нашей религии должно быть торжественным, запоминающимся на всю жизнь. А где это может произойти? Только в мечети, воплощающей всю несравненную красоту и вечную правоту ислама. Да и обрезание Халеб боится делать в наших антисанитарных условиях. Я тоже не хочу рисковать — потерять такого раба для меня равносильно самоубийству».

Поездка в Ургун, время для которой нашлось только тогда, когда закончился очередной трудовой сезон, и должна была, наконец, примирить меня

с пуштунской общиной нашего кишлака. Хотя общине, в общем-то, было все равно, и если бы не настырный Вали, то никто бы и не обращал внимания на мое тихое и незавидное существование. Работа, отдых, еда, разговоры с Сайдулло, игры с Дурханый, помощь Ахмаду в его автомобильном проекте — вот и все, к чему сводилась моя жизнь. Ну конечно, еще и созерцание звездного неба, которое, правда, становилось все реже. Близкие и крупные звезды стали совсем привычными и новых ощущений уже не будили. Но все же их постоянное присутствие что-то обещало и не давало окончательно расклеиться, махнуть на все рукой. Однообразные дни ускользали безболезненно и незаметно. Иногда не верилось, что я уже здесь больше четырех лет. На одном месте, с одними и теми же людьми, занятый то севом, то сбором урожая, то строительством полей, то очисткой арыков. Только великолепие и мощь первозданной природы, потрясающие рассветы и закаты как-то примиряли меня с этой жизнью. Да и ставшие привычными дары южной земли — особенно абрикосы. И еще, конечно, с каждым днем расцветающая и все глубже ранящая прелесть Дурханый.

Я понимал, что так может незаметно пролететь и десять, и двадцать, и тридцать лет. И даже вся жизнь, которая безвестно упокоится потом под острым камнем. Хотя все еще надеялся на какие-то повороты в моей судьбе и спасительные случайности. Надежды эти становились просто привычным аккомпанементом к простой и понятной песенке моей жизни. Иногда, особенно по ночам, накатывало отчаяние. И казалось тогда, что песенка моя спета, а в том, чтобы повторять ее незатейливый мотив, — нет никакого смысла. Но приходило утро, звучало знакомое «Хале-еб!», лучились счастьем глаза Дурханый и появлялись ямочки на ее упругих щечках. И сердце отзывалось на ее улыбку, оживало, снова надеялось и ждало.

В Ургун мы отправились на собственном транспорте. Дорога оказалась долгой, с остановками на ремонт, с ночевками в кишлаках. В каждом из них у Сайдулло оказывались родственники, которым он демонстрировал мое искусство произносить басмалу и читать наизусть суры Корана. Но люди были все такие же, как и в нашем кишлаке, — простые, бесхитростные, добросердечные и гостеприимные. Родственники Сайдулло одобрительно улыбались, поздравляли меня, говорили, что теперь только осталось меня женить.

В дороге застала нас весть о том, что Советского Союза уже нет. Эту новость, захлебываясь от восторга, повторяли все радиостанции и все телевизионные программы. Впервые за четыре года я увидел работающий телевизор — у одного из состоятельных двоюродных братьев моего хозяина. У него стояла спутниковая тарелка, а электричество для редких передач давала еще наша советская полевая электростанция на солярке. По случаю приезда редких гостей дизель тарахтел часа три. Для Сайдулло и Ахмада это была первая встреча с чудом двадцатого века, изобретенного, кстати, русским, а реализованным с помощью еврея из деревни Узляны, что недалеко от нашей Блони.

Ахмад надолго прилип к экрану, а когда взрослые отвлеклись на разговоры, вдруг радостно вскрикнул. Все обернулись. «Собака! Собака!» — возбужденно восклицал Ахмад, показывая на экран, на котором резвилась большая овчарка. Сайдулло тоже заулыбался: в незнакомом и страшноватом предмете оказалось что-то давно знакомое и понятное. А значит, и вещь эта не очень страшная.

Потом все смотрели новости. Кроме Кабула телевизор принимал программы Би-би-си и Си-эн-эн. Ведь мир гудел: свершилось! Тоталитарный монстр рухнул! Тюрьма народов прекратила свое существование!

Меня неприятно поразило, что мою страну уничтожили на моей родине — в Беларуси. Ее могилой стала Беловежская пуща, где мы в шестом

классе были на экскурсии и с опаской любовались могучими зубрами. Мелькало в программах жалкое лицо Горбачева и наглое, самоуверенное Ельцина. Как не похож был нынешний растерянно-немногословный Горбачев на того недавнего, певуче-разговорчивого в самом начале перестройки. Как верили ему простые люди, как многого ждали. Имея в руках огромную власть нужно было только применить ее во благо. Ведь все перемены и перестройки на этой части земной суши происходили только сверху. Вот и перестроились. В душе что-то оборвалось, и впервые я подумал о том, что ждет меня теперь на родине. Да и есть ли она у меня теперь?

«Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!» — гремела с утра пластинка на радиоузле в старой крепости Бала-гиссар. Вот и пропал этот адрес, по которому, казалось, буду прописан вечно. Вот и кончилась служба Советскому Союзу. И никому не нужна ни моя присяга, ни кровь, которую мы проливали во имя нашей великой страны. Собрались каких-то три случайных человека и одним махом решили судьбу миллионов.

Впервые я не мог сдержать слез на людях. Но и Сайдулло, и его родственники отнеслись ко мне с пониманием. Люди простые, они по-простому и объясняли происшедшее: «За грехи и кровь, что пролилась по вине тиранов в империи шурави, шайтан послал им Меченого. Его купили американцы, а сами заняли его место». Это было очень просто, но и очень похоже на правду. Сайдулло тоже попросту считал, что гибель Советского Союза — наказание Аллаха и за ту большую кровь, что мы десять лет проливали на афганской земле.

Теперь проблема с принятием ислама перестала меня волновать. Пусть не только обрезают, но и отрезают все что хотят. Рухнул фундамент моей жизни. Но ведь мама, бабушка, дед, сестричка, успокаивал себя, — они-то никуда не исчезли. Да и Блонь, видно, тоже осталась на том же месте. Но что ждет их теперь? Оккупация войсками НАТО? Рабский труд, нищета, унижения? Может, надо скорее врастать в эту жизнь и перевозить их сюда? Сколько мне ни пришлось пережить до этого, все казалось теперь таким ничтожным по сравнению с этой неожиданной вестью, которая застала нас по дороге в Ургун. В таком душевном состоянии хотелось побыть одному, дать полную волю чувствам, а здесь приходилось постоянно быть на людях, поневоле сдерживаться, улыбаться незнакомым и, не сбиваясь, читать уже осточертевшие суры Корана.

В одном из последних домов, где останавливались, нас представили полуслепому столетнему старцу, который в свое время был одним из яростных борцов против нововведений Амманулы-хана. Тот, как наш Петр Первый, пробовал заставить чиновников носить европейскую одежду и брить бороды. Да еще придумал образование для девочек. О событиях семидесятилетней давности спинжирай в белоснежной чалме говорил так, как будто они происходили позавчера. Конечно, столкнувшись с такими защитниками устоев, как наш белобородый, Амманулы-хан вынужден был бежать. С перестройкой у него ничего не вышло. Безграмотный народ его не понял. Да, совсем неграмотными людьми манипулировать гораздо сложнее — они просто стоят на своем и защищают до последнего то, во что верили их отцы и деды. Их можно только уничтожать.

Помолившись и воздав благодарность Аллаху, что тот не допустил победы нечестивца, старец поднял глаза к небу и начал рассказывать легенду о том, почему так много камней на земле Афганистана.

Мы пили крепкий зеленый чай из маленьких пиалушек и слушали уверенный голос долгожителя.

— Эту легенду про камни и скалы рассказывал мне мой отец, мир праху его. По воле Аллаха он проследовал прямо в рай, где гурии окружили его

неустанной заботой и лаской. Но ему там скучно, он ждет меня, а я вот все задерживаюсь. Моему отцу рассказывал эту легенду дед, деду — его отец. И рассказы эти повторялись много раз, и тот, кто рассказал ее впервые, теряется во мраке времен. Но единственное, что я точно знаю, — первый рассказчик был курд, как и мой отец. Он пришел в землю пуштунов и взял в жены прекрасную Дурханый.

Я невольно вздрогнул: и здесь Дурханый. Она преследует меня, как судьба. Старец продолжал:

— Случилось это много тысяч лет тому назад. Вдруг откуда ни возьмись появились блестящие сверкающие люди. Они, как саранча, заполняли нашу землю, жгли, убивали, насиловали. Они пролетали по небу на огромных серебристых птицах и огненных шарах. Нигде не находя себе укрытия, погибали люди. По земле ползали чудовищные железные телеги, грохот и рев от которых накрывал все вокруг. Плакала и горела земля наша, гибли люди, не понимая, в чем провинились они перед Аллахом. Когда от гари и пепла наступила черная ночь, холод страха повис над землей. Казалось, что отныне люди обречены — уже ничто не может спасти их. Но вдруг в голубом сиянии появился Он, Дух нашей земли, защитник и благодетель нашего рода. Он был богатырь из богатырей, из камня, серебра и золота, с огненным дыханием. Он встал на пути чужаков. От его дыхания пылали серебряные птицы и взрывались огненные шары в небе, адским огнем горели железные кони и телеги. Люди, которые остались после этой битвы, запомнили, что все чужие под взглядом Духа нашей земли и Бога справедливости стали мертвыми черными глыбами. И железные кони, и телеги, и серебристые птицы, и сами блестящие пришельцы — они все превратились в камни и до сих пор валяются по всей нашей земле, напоминая о давней и великой битве. Потом, как говорили уцелевшие люди, Дух нашей земли оседлал своего золотого коня и улетел в небо, сразу рассеяв весь скопившийся мрак. Камни остались на память о том, как много было тех, кто хотел отнять у нас наши горы и реки, озера и долины. Все они хотели отнять у нас самое большое счастье — жизнь на своей земле. Люди верили: такое больше не повторится никогда.

Но снова полыхает наша земля, и снова под стук железных телег собирает смерть урожай. Одни железные люди сражаются с другими железными. А наши люди в растерянности: почему чужаки сражаются между собой на нашей многострадальной земле? Почему не воюют они на своих землях? Или они выбрали нашу землю для войны, для крови и смерти? Битва их идет день и ночь, силы их равны, они сманивают на свою сторону самых жадных. Обещают им золото и власть. И наши люди убивают друг друга, и Дух нашей земли глядит со слезами на глазах на все, что происходит, и не может вмешаться — тогда ведь погибнут и дети нашей земли. И напрасно ждут люди своего старого спасителя. Он отказался от них. Только слезы его проливаются обильной влагой, что переполняет реки и смывает людские жилища. Сель! Грозный сель идет на нас в темной ночи, а мы спим, спим, измученные малыми заботами и суетными мыслями!

Голос старика взлетел — мурашки пробежали по спине — и бессильно опал. Выйдя из транса, в котором он причудливо соединил воинов Александра Македонского, английских колонизаторов и реальность сегодняшних войн, подкрепленную стихийными катаклизмами, старик умолк. Обведя нас прозрачными невидящими глазами, добавил совсем будничным и тихим голосом:

— Люди не должны убивать друг друга. Так говорили мои предки, так говорю вам сегодня я, переживший всех своих ровесников, переживший детей их и многих внуков. Ради этих слов и держит меня Аллах на земле...

Последняя остановка была в большом селенье возле дороги, по которой два раза в день ходил автобус и бурабахайки — разукрашенные грузовые такси. Шурави-джип оставили у родственников, где переночевали и снова представили меня как новообращенного. Выбираться в нашем джипе на дорогу было опасно — первый же патруль остановил бы и сбросил нашу самоделку в пропасть. С полицией и военными не поспоришь.

Точно сказать, когда будет автобус, никто не мог. Все говорили, что утром. Так что пришлось встать на рассвете и ждать на остановке около часа. Сайдулло периодически поглядывал на мои часы и был очень важен, когда сообщал нам, сколько мы уже прождали.

В красном довольно потрепанном автобусе оказались даже сидячие места. Публика была в основном крестьянская — ехали на базар. Кто с курами, кто с ягненком, кто с корзиной овощей. Выделялся один солидный мужчина в дорогом европейском костюме и белой рубашке без галстука. На него поглядывали недоброжелательно. На одной из остановок, когда дверь распахнулась перед какой-то совсем древней старухой в пыльных одеждах, он быстро встал, спрыгнул на дорогу и, бережно подняв старушку на руки, внес ее в салон и усадил на свое место. Его синий костюм оказался при этом таким же пыльным, как и одежды бабушки. Но это его вроде совсем не обеспокоило. Старушка что-то прошамкала и благодарно улыбнулась. В автобусе как-то сразу потеплело. Я подумал, что в нашей Блони я такого бы не увидел. В лучшем случае старушке уступили бы место, но уж на руках ее никто бы в автобус не вносил. Уважение к старости на Востоке повсеместно. Поэтому и относительно молодые женщины не стараются выглядеть моложе — ведь чем старше, тем больше уважения. Поэтому и быстро старящие регулярные роды принимают не как наказание, а как благословение Аллаха.

Пару раз автобус останавливали военные патрули, но в салон не заходили. Часть дороги шла по краю обрыва над пропастью. Но скорости водитель не сбрасывал и вел так небрежно и рискованно, что несколько раз у меня замирало сердце. Замирало оно и оттого, что справа и слева от дороги, внизу на откосах и на обрывах можно было заметить остатки нашей техники. Громадный бензовоз с цистерной лежал вверх колесами, как доисторическое чудовище. При виде искореженного и обгоревшего бэтээра я невольно думал о тех ребятах, что находились тогда внутри. Удалось ли кому-то спастись, вернуться домой? Пусть даже искалеченными, но живыми. Или их всех находили душманские пули, когда ребята показывались на горящей броне? Кусая губы, я сдерживал набегавшие слезы. Неужели люди никогда не научатся жить без войн, неужели молодые парни должны умирать, так и не распробовав вкуса жизни? Неужели богатство и алчность будут вечно править миром? Да ведь такая жизнь не может иметь никакого будущего...

До Ургуна, как деловито заметил Сайдулло, мы добрались за два часа сорок минут. Автобус остановился у базара, но Сайдулло решил сначала найти своих родственников. Здесь жил младший брат его матери, почти его ровесник. Дом оказался двухэтажным, с большим внутренним двором, крышей которому служил разросшийся виноградник. Под его сенью нас и принимали. Тот же зеленый чай с сухофруктами, миндаль, горка риса на блюде, овощи, сыр, крупные сладкие груши.

Хозяин внимательно разглядывал меня. Он уже был наслышан о наших проблемах. Я находился в состоянии апатии и соглашался со всем, что мне говорили. На следующий день пригласили человека, который был специалистом по физическому обращению в ислам. Он получил мои «да» на все свои вопросы и дал мне две таблетки. Я вскоре заснул. А когда с тяжелой головой проснулся,

то ощутил сильное жжение и неудобство. В этот день я никуда не выходил, а сидел в тени виноградной лозы, принимал обезболивающие таблетки и смотрел по телевизору новости вместе с хозяином. В стране было неспокойно. О развале Советского Союза уже не упоминали — хватало своих проблем.

Сайдулло и Ахмад ходили на базар, делали закупки. На следующий день Сайдулло принес мне с базара пакет и сказал, что это для меня. Там оказалась длинная белая рубаха, черная безрукавка, паткуль, носки и новенькие галоши. Глубокие черные галоши на красной подкладке, которые надевала, выходя во двор, и моя бабушка. Я повертел их в руках, глянул на размер и заметил клеймо — «made in Belarus». Сначала не поверил своим глазам. Потом прочел еще раз. И еще раз. Слезы брызнули из глаз, я обнял Сайдулло и разрыдался у него на плече, как ребенок. Это было напоминание о родине, которая никуда не исчезла и все еще занималась привычными, будничными и нужными делами.

Вечером Сайдулло повел меня в мечеть — просто для того, чтобы я знал, как там себя вести. Обувь сняли у входа. Просторное и прохладное помещение, ничего лишнего, полы покрыты красивыми коврами, никаких икон. Вообще, у меня сложилось впечатление, что ислам очень удобная и практичная религия. Она не лезет человеку в душу, но заставляет соблюдать приличия и здравые нормы общежития. Проведя инструктаж, Сайдулло преклонил колени вместе со мной.

На следующий день, снабженный нужными мазями от специалиста по исламу и груженный покупками, отправился со своими тоже гружеными рабовладельцами на остановку автобуса. В этот раз мы брали его штурмом. Но все же втиснулись. У Ахмада была тщательно замаскированная канистра с бензином. Запах скоро разошелся по автобусу и вызвал некоторое беспокойство. Но битком набитый автобус останавливаться не собирался. Все торопились домой. Назад доехали быстрее — не брали людей на остановках. А через сутки вечером оказались в родном кишлаке. После долгого затворничества слишком активное и поверхностное общение утомило меня. Но Сайдулло, понимая мое состояние, дал целую неделю отдыха. Я расхаживал в новых галошах, любовался их блеском и радовался, что ногам тепло и сухо. Это было тепло родины, так неожиданно отыскавшей меня.

Своей любимице Сайдулло подарил бусы из лазурита и, пользуясь случаем, рассказал легенду, услышанную на базаре от старого афганца. Когда-то злые духи задумали уничтожить небо и тут же начали свою подлую работу. С каждым днем небо становилось все меньше, и цвет его с каждым днем оказывался бледнее. Тогда люди начали прятать голубые куски неба в самых дальних горах, подальше от злых духов. Но духи, пожиравшие небо, неожиданно исчезли — никто не знает куда, а куски его превратились в самый красивый небесный камень. Он обладает волшебными свойствами — сохраняет красоту и здоровье тех, кого мы любим.

Теперь у Дурханый появилось еще одно развлечение: она указывала на мой глаз, потом прикасалась к своему ожерелью и осторожно гладила его. Видимо, это должно было означать, что мои глаза у нее на груди и она их ласкает.

Обновки Сайдулло привез и матери и жене. А на правой руке Хадиджи заблестело еще одно золотое кольцо — тоже с лазуритом. Это особенность афганских семей — чем старше женщина, тем больше на ней золота. Да и махр чаще всего предпочитают получать золотом. Неприкосновенный золотой запас есть у самых бедных семей, он переходит от поколения к поколению, приумножается и тратится только в самых исключительных случаях. Позже, когда Сайдулло открыл свои секреты, я обнаружил в его золотом запа-

се римские денарии, дирхемы Арабского халифата с ушками и еще достаточно древние и незнакомые мне монеты.

Взяв в руки денарий с профилем одного из императоров, я сказал Сайдулло, что одна такая монета в той же Америке уже целое состояние. Сайдулло улыбнулся и сказал, что у них это старье идет просто по весу. Снова бросив монеты в кожаный мешок с мукой крупного помола, — хранились в ней, чтобы не теряли блеска, — Сайдулло сказал, что монета, которая мне понравилась, отныне моя. Могу взять ее в любой момент. И, улыбнувшись, добавил: «А так как ты уже взял у меня самое дорогое, то можешь взять и все остальные монеты. Тем более что и хранятся они под твоим старым ложем в этой пещере. Ты был моим банкиром, только не знал об этом».

Думаю, что никакой миллиардер не смог бы сравниться по щедрости с бедным афганским крестьянином. Тогда же Сайдулло показал и свой дорожный сейф — внушительный и тяжелый посох. Он тоже хранился в небольшом погребе под моей кошмой. Выдавив один из сучков и сделав несколько вращательных движений, можно было снять верхнюю часть. Вторая половина представляла собой полую трубку, куда помещался весомый столбик монет. Сейчас там хранились, свернутые в трубочку, доллары.

После моего недельного отпуска Сайдулло пригласил посмотреть место для нового поля. Оно должно оказаться самым большим. Когда я поинтересовался, что будем сеять, Сайдулло замолчал. Только когда пришли домой, он показал небольшой, но тугой и тяжелый мешочек. Развязал его и высыпал немного мелких семян на ладонь. Я удивился — мак? Сайдулло сказал, что это семена специального мака, созданного большими учеными. Содержание опиума в таком маке намного больше, чем в обычном. Сайдулло аккуратно завязал мешочек, немного помолчал, а потом признался, что все покупки сделаны на аванс, который он получил за будущее сырье. Они приедут сами, примут товар по весу, расплатятся, снова привезут семена, дадут новый аванс. Это для него — да и для меня — на сегодняшний день единственная возможность иметь хоть какие-то деньги. А ведь теперь тебе надо думать о женитьбе. Я болезненно покривился только при одной мысли об этой проблеме. Он с пониманием улыбнулся и сказал, что не в данный момент, а когда совсем заживет. На твою долю я тоже откладываю. Ведь надо заплатить махр.

Вот так и я начал приобщаться к производству наркотиков. Хотя бы только в качестве помощника хозяина.

Через пару недель Сайдулло недовольно сказал, что Вали требует «смотрин». Что, мол, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Мы пришли с Сайдулло в дом Вали, где уже собралось несколько старейшин и наш толстый и лоснящийся от жира мулла. Там мне приказали снять штаны и внимательно разглядели последствия произведенной в Ургуне операции. Старцы согласились, что теперь-то они не сомневаются — ты настоящий мусульманин. И настоящий мужчина. А поэтому должен внести и свой вклад в укрепление нашего народа. Так как организатором «смотрин» был все тот же неугомонный Вали, то он и выставил угощение — плов из молодого барашка. Я дошел до того, что уже не чувствовал никакого унижения, когда меня разглядывали, как племенного жеребца, и, приглашенный разделить трапезу, с аппетитом принялся за плов.

Вали изображал само довольство и радушие. Наконец-то он добился своего. «Теперь тебе, дорогой Халеб, остается только заработать на махр. И тогда, думаю, лет через пять, мы можем тебя женить. А то и раньше, если Сайдулло материально поддержит тебя. За невестами далеко ходить не надо», — Вали кивнул на свою женскую половину и подмигнул мне. Старцы

тоже заулыбались. Но потом разговор перешел на тему, которая волновала всех по-настоящему, — неожиданно щедрые кредиты на выращивание мака. «А главное, — внушительно подвел итог их разговоров мулла, — эти деньги позволят нам, наконец, приобщиться к цивилизации и установить спутниковую антенну и ветродвигатель! Все должны внести на это благое дело десятую часть дохода».

На том и порешили. А решение старейшин — закон. Так что через год в нашем кишлаке появились и пропеллер ветрогенератора, и тарелка антенны, связавшая нас с шумным и постоянно волнующимся миром. Так что расстрел российского парламента, который показывали несколько дней по всем каналам, я смотрел, уже не отрываясь от производства наркотиков. Хотя и не употреблял это зелье ни в каком виде, картинка на экране казалась выхваченной из какого-то бредового сна: в центре Москвы до боли знакомые тяжелые танки били прямой наводкой по зданию парламента, демократически избранного и отражающего волю народа. Во всем мире такого еще никогда не случалось. Это и оказалось свежим словом новой демократической России. Весь мир приветствовал кровавую бойню и ждал еще более интригующего продолжения. Погибло, как говорил Горбачев иностранным корреспондентам, более трех тысяч человек. Но более всего меня поразило, что картину обстрела своего парламента спокойно наблюдали жители города. Для них это оказалось очередным и бесплатным развлечением, хотя снайперы находили свои цели и среди зрителей — видимо, их тоже возмущало обывательское равнодушие москвичей.

Несколько дней подряд я приходил к мулле и просил включить новости. Он отзывался на мою просьбу с удовольствием. Служитель Аллаха — милостивого, милосердного — откровенно радовался крови и смертям на улицах Москвы. И даже пророчествовал: «Это еще только начало! Воздастся им за грехи их многократно!» Я искал по всем каналам информацию из России, но то, чего я ожидал, не находил. Ничего напоминающего всенародное возмущение в стране не происходило — скрыть бы его было невозможно. Очевидно, что недавно еще бывшим советским людям абсолютно наплевать, как обходится с ними власть. Неужели это страна, в которой я жил и которой гордился? Могла ли она измениться за несколько лет? Значит, она такой была. Я просто не знал страны, в которой прожил почти двадцать лет. Как не знали и до сих пор не знают большинство ее граждан — даже те, кто прожили в ней всю жизнь. От этой страны веяло ужасом. И самым разумным оказывалось — находиться от нее как можно дальше. Что помимо воли и вышло у меня. К сожалению, эти не лучшие мои мысли вскоре подтвердились — началась жестокая война в Чечне. Наши самолеты бомбили наши города. Это все еще не укладывалось у меня в голове. Участь Советского Союза уже грозила и самой России. Тут я впервые подумал о том, что есть неведомая сила, которая избавила меня от того, чтобы проливать кровь своих соотечественников. Если эта сила Аллах — милостивый и милосердный, — я готов его вечно благодарить за то, что он избавил меня от этой страшной участи.

Если в России с помощью танков и автоматов победила демократия, то в родной Беларуси спустя всего год мирным путем — без стрельбы и человеческих жертв — к власти пришел какой-то «диктатор». За него — безобразие! — проголосовало подавляющее число избирателей. Видимо, это и не понравилось мировым средствам массовой информации. Что ж это за президент, который так нравится своему народу? Ведь его потом не сковырнешь. Должна быть стрельба, кровь, чтобы потом можно было поставить это ему в вину и быстренько поменять, если нужно. Но я-то знал, что мои земляки —

люди основательные и разумные. Их нелегко сбить с панталыку. Возможно, образования им и не хватает, но зато здравого мужицкого смысла — всегда с избытком. Знал я это и по своему деду Гаврилке, и по односельчанам. Едва ли они могли ошибиться с выбором. Тем более что впоследствии не раз его подтверждали.

14

После всего увиденного по телевизору желание мое во что бы то ни стало вернуться на родину заметно ослабело. Во всяком случае, прилагать к его осуществлению какие-то чрезвычайные усилия казалось теперь не имеющим особого смысла. От еще недавно так желанной родины повеяло холодом и враждебностью. Я должен был честно признаться самому себе: до недавнего времени родина у меня была другая. И той родины, о возвращении на которую я мечтал, больше нет.

Если до сих пор моя жизнь имела какой-то смысл и опору только благодаря неистребимому желанию вернуться домой, то теперь эта опора зашаталась и готова была рухнуть. Да, оставалась территория, на которой как-то жили мои родные, располагалась деревня Блонь, но та большая родина, благодаря которой я чувствовал себя чем-то значительным, исчезла. И то, что я вернусь на эту территорию, ничего не прибавило бы к моему самочувствию. Даже в родной Блони я оставался бы неприкаянным сиротой, не знающим куда приткнуться и чем заняться. Во всяком случае, в кишлаке Дундуз я чувствовал себя теперь куда увереннейи определенней. У меня было небольшое, но, безусловно, свое место в этом уже понятном и близком мне мире. И менять его на полную неопределенность, ждущую там, где я родился и вырос, казалось мне, по меньшей мере, неразумным.

Очевидно, что в моем сегодняшнем положении невозможно принимать какие-то ответственные решения. Остается только одно — ждать. Течение жизни само подскажет очередной поворот судьбы, естественно следующий за предыдущим.

Таким поворотом, продолжившим линию моей жизни, стала женитьба. Для Сайдулло этот поворот тоже оказался не простым: ведь в жены он прочил мне не соседскую хромоножку Азизу, а собственную любимую дочь Дурханый. Кроме всего это решение неизбежно обострило бы отношения с Вали, который становился со мной все радушнее и радушнее — как будто и не стрелял в меня и не собирался кастрировать. Его сегодняшнее радушие объяснялось просто: Азизе исполнилось уже восемнадцать, а свататься к ней еще никто и не собирался.

Сайдулло долго беседовал со мной перед тем, как отважиться на такой необычный для кишлака шаг. Главным для него было то, что его любимая дочь была ко мне явно неравнодушна и любые, даже шуточные разговоры об Азизе вызывали у нее горькие слезы. «Согласия девственницы спрашивает ее отец», — говорил Сайдулло словами пророка. И добавлял, что никому, даже отцу, нельзя принуждать к нежеланному браку. Но и кроме того, сам Сайдулло не видел лучшего мужа для своей дочери. За шесть лет он проникся ко мне почти отцовской любовью. Ежедневный совместный труд, когда мы на равных боролись за выживание в этом суровом климате, по-настоящему породнил нас. Я уже давно относился к Сайдулло, как к отцу. А то, что он хочет отдать за меня свою дочь, только подтверждало и закрепляло наши отношения. Стать мужем Дурханый — об этом я мог только мечтать. Просто находиться рядом с ней — уже было счастьем. Мне удалось встретить женщи-

ну, в которой сочетаются красота внешняя и красота внутренняя. Я был готов поверить, что это совершенство и счастье, полученное, как говорил Коран, благодаря Всевышнему Аллаху.

Но когда заикнулся о том, что не смогу заплатить даже самый малый махр, Сайдулло твердо прервал меня:

— Твой махр — это шесть честных лет работы. Я не знаю, сумел бы я поднять моих детей без тебя. Ведь уже и годы сказываются, да и здоровье, как ты знаешь, тоже подводит. То, что отдаю тебе дочь, признание не только твоей красоты и роста, твоих голубых глаз, но и высоких душевных качеств. В тебе нет ни капли высокомерия, презрения к неграмотным крестьянам, ты уважаешь каждого человека, независимо от того, богат ли он или беден. У тебя не только нет никаких пороков, но отсутствует и сама потребность в них. Ты постоянно готов учиться, узнавать новое. А главное — ты очень бережен с близкими. Я ни разу не слышал от тебя ни грубого слова, ни хулы в чей-либо адрес. По большому счету, ты невозмутимо спокоен, готов выдержать все испытания. Только любовь к далекой родине тревожит твою душу. Я думаю, что если человек, верящий в коммунизм, может быть таким, как ты, то тогда коммунизм — это просто имя Аллаха на языке твоего народа. Иногда мне даже кажется, что наш пророк нашел новое воплощение именно в тебе, человеке из другой земли, — чтобы снова испытать нас и поднять на еще большую высоту.

Я с удивлением выслушивал эти неожиданные признания моего рабовладельца и вскоре готов был заплакать от такой неоправданно высокой и смущающей оценки. Ничего особенного в самом себе я никогда не находил. Но может, со стороны действительно виднее? Послушаешь такие речи и невольно станешь задирать нос. Думаю, Сайдулло специально немного подхваливал меня, чтобы поднять настроение после всех моих переживаний. Он видел, с каким потемневшим лицом я приходил от муллы после телевизионного просвещения. Сайдулло уговаривал не ходить туда, забыть о телевизоре. Я и сам понимал, что хватит сыпать соль на раны, но все же раз в месяц выбирался и снова получал полную порцию отрицательных эмоций.

Даже по телевизору можно было понять, что идет бесстыдный и торопливый грабеж всенародной собственности. Мгновенно обесценились банковские вклады населения. Возникали и рушились финансовые пирамиды, куда наши, все еще ничему не наученные советские люди, доверчиво несли свои последние рубли. Каждый день гремели выстрелы — бандиты диктовали свои законы вчерашним хозяевам страны. Нищенские зарплаты и пенсии большинства, а на другом полюсе — победившей демократии — кучка жирующих нуворишей, бесстыдно кичащаяся своими неправедно нажитыми богатствами.

После женитьбы я перестал смотреть телевизор. Ведь на экране жизни появилась моя маленькая Дурханый. Со свадьбой долго не тянули, объявили, что Дурханый просватана, и тут же, пока еще не утихли удивленные разговоры, в конце года отпраздновали скромную свадьбу. Гостей было немного — человек пятьдесят, ну и плюс весь кишлак. Женщины угощались отдельно от мужчин. Традиционный плов и привезенная Ахмадом кока-кола. Мы скромно сидели за столиком, на который гости складывали подарки. Потом был свадебный танец. Я что-то старательно и неловко изображал, но зато Дурханый выплеснула в танце всю свою чистую и любящую душу. Седобородые старцы не стыдились слез. А когда начался общий танец — аттан — старики показали, как танцевали раньше — до упаду. Потом мы с Дурханый и самыми близкими уединились в комнате, где я пытался с ложечки накормить свою невесту, а она меня. У нее это получалось лучше.

Хадиджа, моя теща, — без паранджи она оказалась очень милой и моложавой женщиной, — глядя на нас, переживала, что все произошло не традиционно, без настоящего сватовства, когда вместо ответа родители невесты выносят красивое сооружение из искусственных цветов, конфет, блесток с фигурками невесты и жениха в центре композиции. Называется это сооружение хынча. Хадиджа видела его, когда просватали старшую сестру, на место которой она и пришла в дом Сайдулло. Был у старшей сестры и Ширин Хури, после которого они встречались с Сайдулло еще полгода, оставались наедине, разговаривали, держались за руки и даже, как она подглядела однажды, целовались.

Сама Хадиджа выходила замуж по сокращенной программе — после смерти сестры, — и потому все же надеялась, что хоть дочь удастся выдать так, как положено. Не получилось. Конечно, все эти формальности имели смысл, когда жених чужой и незнакомый человек, а не такой близкий и почти родной, как Халеб. Да и к тому же Сайдулло занемог и боялся, что если он вдруг умрет, то свадьба расстроится. Не нравилось Хадидже и то, — а это было уж совсем вне всяких правил, — что часть своего золотого запаса Сайдулло передал дочери в качестве моего махра. Но все золото, в том числе и махр самой Хадиджи, оставалось все там же, в погребке под кошмой. На свадьбу ушли только доллары из дорожного сейфа-посоха.

Тогда же Сайдулло показал мне и еще кое-что — из того, что хранилось в погребке под моей кошмой. Это стало для меня настоящим сюрпризом. Выбросив несколько плоских камней, Сайдулло извлек промасленный сверток цвета моей «песчанки». А из промасленного свертка появился на свет мой родной калаш, пять полных рожков и три гранаты. Хоть сейчас в бой. Но особого энтузиазма мой старый и верный друг во мне не вызвал. Я даже не дотронулся до него. За эти годы стала гораздо ближе и понятней простая мотыга — честное и древнее орудие созидания. Думаю, что теперь только в самом крайнем случае я смог бы взять в руки это совершенное орудие смерти. В небольшом отдельном и чистом свертке сохранились все мои документы и погоны ефрейтора. Там же лежало и последнее письмо из дома, на которое не успел ответить. Я взглянул на фотографию безусого и доверчивого мальчишки в комсомольском билете и не смог сдержать слез. Неужели я был таким чистым и простодушным дурачком? А ведь тогда казался себе очень взрослым и закаленным в боях парнем. Потом, опять со слезами, перечитал мамино письмо, на которое она так и не дождалась ответа. Из всего сюрприза самым дорогим и оказался для меня этот листок из школьной тетрадки в клеточку, исписанный строгим и красивым маминым почерком. Я хотел взять его с собой, но потом подумал, что на старом месте ему будет сохраннее. Ведь это единственное, что у меня осталось от моей родины. Зато теперь я знаю, где оно хранится, и всегда могу прочитать последние мамины слова. Возможно, никаких других слов уже не услышу. В то трудное для меня время безотчетная вера в то, что все же увижу своих родных, почти совсем угасла. И я готовился жить дальше, уже ни на что больше не надеясь.

Сайдулло, немного поглядев на мои слезы, деловито спросил: «Пострелять на свадьбе не хочешь? У нас это любят. Хотя лучше, чтобы не знали, что у тебя есть оружие». Когда я благоразумно отказался от этого мероприятия, он опять уложил мое армейское наследство на место и аккуратно прикрыл камнями. «Ну, вот, — сказал Сайдулло с облегчением, — теперь у меня нет от тебя никаких секретов. Да и у тебя тоже. О твоей ночной гостье я знал. Несколько раз замечал ее быструю тень в предрассветных сумерках. Да и о путешествии в страну цветных камней мне тоже рассказали. Все, идем на

свадьбу. Оружие и дочь Вали — твое прошлое, золото — будущее, а Дурханый — настоящее».

На свадьбу приехал и Ахмад из Ургуна — он недавно купил небольшой подержанный грузовичок. Нашу дорогу он выдержал не хуже, чем его «шурави-джип». Дела с металлоломом понемногу разворачивались. Да и невесту — богатую — Ахмад тоже присмотрел. Так что первую брачную ночь мы — «два счастливых муравья» — провели в бывшей комнатке Ахмада, а он — в моей пещере. Проводить ночь с баранами Дурханый категорически воспротивилась. И не только потому, что они пахнут, — ведь они, убеждала меня она, все чувствуют и понимают, только говорить не могут. А разве мы можем быть абсолютно свободны в нашу первую ночь под их понимающими взглядами? Впоследствии она отпускала меня к моим баранам только в те дни, когда не могла быть со мной.

Теперь я проводил в пещере только несколько дней в месяц, а все остальное время в нашем маленьком уютном гнездышке с белеными стенами и ярким прабабкиным ковром на глинобитном полу. Столько счастья сгустилось в нашей комнатке, что, наверное, она светилась в ту зиму, как одна из самых ярких звезд в ночи. И возможно, кто-то в далекой галактике видел наш счастливый огонек и тоже ловил эти странные волны абсолютного блаженства. Дурханый стала для меня всем — и женой, и матерью, и родиной, и вселенной.

До и во время свадьбы часто и хорошо «нашаропленный» Худодад слонялся по кишлаку и рассказывал всем желающим, как он спас будущего жениха, когда тот попал в страну цветных камней. А Вали еще долго жаловался, — то ли в шутку, то ли всерьез, — что Сайдулло перехитрил его — увел у него прямо из стойла такого породистого жеребца. Но, добавлял он, глядя на меня с плутоватой ухмылкой, и мы не в накладе, не в накладе. Я все-таки боялся, что он расскажет о том, что у меня уже есть ребенок от его старшей дочки. И если он не сделал этого раньше, то, возможно, с присущим ему коварством, сообщит об этом на самой свадьбе. Никаких сообщений не последовало, и я был ему благодарен за то, что ничего не огорчило мою дорогую женушку в самый радостный для нее день. Но думаю, что здесь сказалось не только добросердечие соседа, но также и опасение вызвать кровную месть — за оскорбление в такой важный для любого человека день. Обижать друг друга просто так у пуштунов не принято — так воспитали их суровые законы общежития. Да и к тому же огласка могла привести к разводу, а это пятно на всю семью. Тогда и Азизу никто бы не взял в жены.

Но, к счастью, все обошлось. Да и для Вали его сдержанность обернулась неожиданным подарком: среди гостей обнаружился и будущий жених Азизы — пожилой и богатый вдовец из Ургуна, он был когда-то женат на тетке Хадиджи. Да и приехал он на свадьбу к бедным родственникам, видно, только для того, чтобы присмотреть себе что-нибудь свеженькое и деревенское. Разглядев через отверстие в стене все прелести Азизы, — Вали не раз предлагал полюбоваться и мне, — вдовец тут же решился заплатить немалый махр и как можно быстрее стать счастливым супругом. Через отверстие он разглядел все самое соблазнительное. Хромоты, конечно, заметить не успел. Так что в конце свадебного угощения Вали объявил, что Азиза уже просватана и скоро — тоже без всяких Ширин Хури — выходит замуж. После неожиданного и удачного устройства дочери Вали стал расхаживать по кишлаку этаким горделивым и самодовольным петухом, кстати и некстати упоминая то стада овец и коз, то дома и виноградники будущего зятя, который совсем, совсем немного старше его.

Счастье подхватило меня, как полноводная река, и понесло сквозь время. С еще большей скоростью замелькали дни и недели, месяцы и годы. Все они

сливались в один, наполненный радостью и смехом Дурханый, бесконечный солнечный день. И ночь, нежная ласковая ночь была тоже одна — одна на двоих. И вот ее-то нам всегда не хватало — день заставлял разомкнуть объятья, расстаться для трудов и забот. Один муравей торопился в поле, а другой суетился дома. Теперь у меня появился смысл жизни. И мой труд из подневольного — только чтобы забыться — превратился в свободный и радостный. Я трудился с утра до вечера, но усталости не испытывал.

Благодарю всех богов, что эти дни были в моей жизни, что познал счастье разделенной любви. А в сравнении с ней все мои страдания и горести казались такими незначительными — чем-то вроде обязательного налога для каждого, кому распахивались двери земного рая. Сейчас все чаще думаю, что за двенадцать лет мы с Дурханый получили даже слишком много счастья — редко кому оно выпадает в таких количествах. И видимо, высшие силы, узрев нарушение равновесия в распределении радостей и горестей, одним махом исправили свое упущение. Но вчерашнее счастье не исчезло — оно заполнило меня до краев. Каждый день нашей жизни, пролетавший ранее незаметно — потому что завтра будет таким же счастливым, — стоит сейчас перед глазами. Счастье, хотя испытанное только однажды, навсегда остается золотым запасом души. Оно помогает выжить даже тогда, когда, кажется, и жить невозможно.

Глядя на нас, помолодели и Сайдулло с Хадиджой. Явная нежность сквозила в каждом их взгляде. Сайдулло позволял себе иногда приобнять жену при мне, чего раньше никогда не случалось. Но главное, что Хадиджа, наконец, простила мне и то, что у дочери не было ни сватовства с хынчей, ни Ширин Хури. Да и то, что обязательный жениховский махр заплатил за меня Сайдулло. Теперь, глядя на нас с Дурханый, она только украдкой вытирала слезы — счастливые. Потому что у дочки оказался по-настоящему любящий и любимый муж. А кроме этого женщине ничего не нужно. Счастье дочери делало счастливой и мою тещу. А когда через год родился первенец — тоже Халеб, Глеб (я не забыл завет деда Гаврилки), — прекратились и слезы. Тихое сияние стало исходить от лица бабушки, когда она возилась с малышом и учила обращаться с ним свою дочку. Зато прослезился Сайдулло, когда его мать, принимавшая роды, вышла с мальчиком на руках. Моих голубых глаз он не унаследовал. Малыш глядел на мир теплыми светло-ореховыми глазами моей любимой. Через два года родилась голубоглазая дочка — Регина.

Росла семья, росли заботы. Женился и вскоре стал отцом дочери Ахмад. Потом через год родилась у них еще одна дочка. Но всегда, когда приезжал к нам с кучей подарков, первым делом подхватывал на руки своего племянника. Ведь тот и похож был больше на него, чем на меня. Да и Халеб тоже любил дядю и называл его, как и меня, — дада. Всегда мне слышалось в этом слове наше трогательное белорусское «тата».

Мы сделали с Дурханый перерыв в деторождении — дочка отняла много здоровья. Зато Ахмад продолжал свои отцовские подвиги. Но желанного сына пока у них не получалось. Это всерьез расстраивало нашего Ахмада. Но после четвертой попытки он все-таки приутих — с каждой беременностью его Зульфия заметно прибавляла в весе. Ее это нисколько не тревожило, она оставалась такой же жизнерадостной и энергичной и готова была рожать и дальше, — хоть каждый год, здоровье позволяло. Но Ахмад прикинул, что если дело пойдет такими темпами, придется покупать ей отдельный автобус. Да еще и водителя нанимать. А главное — не было никакой гарантии, что в этом автобусе найдется, наконец, местечко и для сына.

Испытывая новые для меня чувства — мужа, отца, — я, радостно переполняясь ими, вдруг ловил себя на том, что кто-то внутри меня глядит на все

это счастье холодновато-отстраненно. И только голубоглазка дочка, так похожая на мою маму, заслоняла на время этого чужого и непонятного человека во мне самом. Прижимая к себе это нежное маленькое тельце, такое беспомощное в этом мире, я переполнялся тревогой.

Талибы взяли Кабул, но войска коалиции не собирались уступать, и конца ожесточенной борьбе видно не было. Небольшой отряд талибов появился и в нашем кишлаке, мобилизовали сыновей пастуха Али — Худодада и Салема, еще несколько совсем молодых парней, которым надоело работать дома и хотелось пострелять за хорошие деньги. Намеревались заодно прихватить и меня с собой, но Сайдулло отстоял — помогла и моя хромота. Но главным аргументом оказались, конечно, заслуги самого Сайдулло — он все-таки отдал родине трех сыновей.

Дурханый так переволновалась за те два дня, когда талибы рыскали по кишлаку и всеми правдами и неправдами заманивали к себе молодежь, что потеряла нашего третьего ребенка. Была уже на четвертом месяце. Маймуна-ханум долго выхаживала ее. Потом, когда Дурханый снова стала щебетать как птичка, бабушка сказала мне доверительно, что о детях пока лучше не думать — если, конечно, внучка моя тебе дорога. В наших отношениях стало еще больше нежности, замешенной на печали, на боязни потерять друг друга. Представить, что счастье может закончиться, было невозможно. А то, что после того, как закончится счастье, возможна еще какая-то другая жизнь, казалось вообще невообразимым.

Я стал иногда подумывать, что в Блони женушке было бы все-таки легче управляться с хозяйственными заботами, да и главное — всегда можно обратиться к врачу. Маймуна-ханум полечила ее, а от чего — она и сама не знала. Помню, как все удивились, когда я стал говорить, что рожать Дурханый должна в больнице — еще когда носила нашего первенца. А Маймуна-ханум даже обиделась — никто в кишлаке не принимает роды лучше, чем она. Да и где больница? Как добираться? А сколько это будет стоить, зятек наш имеет представление? Да и зачем больница? Ведь роды — это не болезнь. Всех, кто рождался, принимали умелые и опытные руки повитух. Конечно, случалось, что и умирали — и дети, и роженицы. Но тут уже на все воля Аллаха, надо покорно принять ее. Ведь и само слово «ислам» переводится как покорность. А это слово наиболее чуждое европейскому духу, постоянно соревнующемуся и с богами и с регулярно теснимой природой.

Все чаще, когда любовался своими детьми, я думал о том, как была бы счастлива мама, если бы могла видеть их. Да и бабушка с дедом Гаврилкой. Я представлял, как мы появляемся в Блони на машине и останавливаемся возле дома. Сначала выглядывает сестричка Наденька, потом мама с бабушкой, дед — они почему-то собрались в этот день все вместе. Дурханый, конечно, тоже очаровала бы их. Она часто просила рассказать о моей маме. А дед Гаврилка подружился бы с Сайдулло, бабушка Регина — с Маймуной-ханум, мама — с Хадиджой. За всеми этими наивными и потаенными желаниями скрывалось только то, что моя разорванная душа хотела соединить в одно целое всех, кто мне дороги. Все любимые люди должны жить рядом. На расстоянии взгляда, протянутой руки, произнесенного слова. Жить рядом — только и всего.

Теперь понимаю, что я хотел слишком многого от своих любимых. Ведь главным было только одно: они должны жить.

В ту двенадцатую зиму, как обычно, мы скромно отметили день нашего бракосочетания. Это был личный праздник, но понемногу к нему привыкли и все домашние. Иногда в этот день появлялся и Ахмад. Но на этот раз он

опоздал — дорога стала почти непроезжей. Каждый день шел дождь, оползни заваливали дорогу, мелкие речки становились бурными и глубокими. Когда Ахмад появился пешком, мы очень удивились и обрадовались — его не было месяца три. Оказалось, что машину он оставил в ближнем кишлаке, а к нам добрался по еще не засыпанной тропе. Выглядел Ахмад озабоченным, не шутил, как обычно. Сказал, что, видимо, на какое-то время всякая связь с нашим кишлаком прервется — прогноз погоды неутешителен. «Почему бы вам всем не погостить в это время у меня в Ургуне? Тем более что я переехал в большой дом, места всем хватит». После обсуждения этого предложения решили, что поедут с Ахмадом дети и Хадиджа. Нам с Дурханый никуда не хотелось ехать, а тем более в большой город, где у нас было бы меньше времени друг для друга.

На следующий день, который выдался солнечным, мы с Дурханый проводили наших до следующего кишлака, обняли и расцеловали на прощанье детей. Они уже не первый раз гостили у дяди. После каждых гостей долго вспоминали, как им привольно жилось, — ведь работать там их никто не заставлял. И главное — там был телевизор с очень большим экраном. Я понимал, что эти гостевания портят ребят, внушают мысли о легкой и веселой жизни, где все падает как будто с неба, без усилий. Какое-то время после возвращения дети капризничали, вспоминали, что они там ели и пили, как развлекались. Но потом снова возвращались к своим любимым козочкам и ягнятам, к играм с соседскими детьми. «Дада, как я по тебе соскучилась!» — прижималась ко мне моя маленькая синеглазка, и благодарная слеза незаметно срывалась с ресниц.

После проводов мы вернулись с Дурханый в опустевший дом. Казалось, что у нас опять все только что начинается, и мы снова обязаны его заселить, наполнить радостью и смехом. За эти двенадцать лет женушка моя немного пополнела и стала настоящей восточной красавицей, которую, конечно, без паранджи я бы никуда не пустил. Начался наш второй медовый месяц — благо шли дожди, отменявшие почти все работы. Мы снова полностью замыкались друг на друге. Такого полного счастья, казалось, я еще никогда не испытывал. И когда настали дни разлуки, поднимался в свою пещеру со слезами на глазах — а может, это были просто капли мелкого моросящего дождя, который не утихал уже третьи сутки. Близкая речка, заполненная вровень с берегами глинистой водой, грозно гудела в ночи. Дождь понемногу усиливался. Овцы в пещере тоже волновались, и даже Шах, внук моего первого сторожа, тревожно поскуливал и прижимался ко мне. Молодой еще. Пока не уснул, я гладил его по голове. Спал неспокойно, пару раз просыпался — как будто от каких-то толчков. Слышно было, как снаружи обрушиваются на землю потоки воды, а в загородке мечутся бестолковые овцы.

Я проснулся, когда в пещеру через дырочку в тростниковой занавеске заглянул луч солнца. Ну, наверное, вся вода у Аллаха кончилась. Шаха в пещере не было. Странно, такого он себе никогда не позволял. Откинув занавеску, я увидел близкую взбаламученную реку и желтую пышную пену на месте нашего дома. Дома Вали тоже не оказалось на месте. Так же, как и других близлежащих домов. Треть кишлака исчезла неизвестно куда. У оставшихся домов толпились люди. Я было рванулся к ним, но овраг, отделявший меня от них, оказался наполненным до краев жидкой грязью. Чтобы добраться до людей, надо было взбираться высоко в гору. Я замер и понял, что если бы с моими все было в порядке, то они сразу же поднялись бы ко мне. «Сель, грозный сель!» — загремели в ушах давние слова столетнего старца.

Сель отрезал от кишлака семь домов с мирно спящими людьми и похоронил их в пропасти, куда впадала наша когда-то мирная и безобидная речка.

Те дни после гибели Дурханый полностью выпали из моей памяти. Ахмад нашел меня в пещере совсем седого. Не знаю, что я ел и пил. С трудом узнал Ахмада. Ему все-таки удалось привести меня в чувство. Ощущая в себе огромную пустоту, увлекающую туда же, куда ушла Дурханый, я все же отозвался на его усилия. «Дети, — повторял Ахмад, — дети!» Я не мог ничего понять: какие дети? У меня нет никаких детей. У меня была только Дурханый.

Ахмад чем-то поил меня, чем-то кормил. Все же ему удалось возвратить меня к жизни, хотя для чего мне эта жизнь, так и не мог понять. Да и золото под моей кошмой тоже. Я вскрыл тайник Сайдулло и отдал все Ахмаду — золото, оружие. Оставил себе только мамино письмо, спрятал его в дорожный сейф. Туда же по настоянию Ахмада уложил и несколько десятков монет — плотно, чтобы не звякали. Ахмад уговаривал меня ехать к нему. Я отказался, сказал, что пока поживу рядом с памятью о Дурханый. Ахмад обещал приехать снова, говорил, что за детей беспокоиться не надо. Я согласно кивал, улыбался, кивал, улыбался...

Мы обнялись на прощанье. Я ощутил влагу на своей щеке. Это были слезы брата моей Дурханый. Свои я уже выплакал.

Больше в той жизни мы не встречались...

15

Все прошлое, вся его неизбывная горечь и вся его преходящая сладость, уже за спиной. Еще неизведанное будущее — впереди. А настоящее — только эта каменистая тропа, на которую мы свернули с незнакомцем вскоре после того, как покинули кишлак, где казнили американского летчика. Идти по дороге было очень жарко, а тропа петляла в тени под нависавшими над нами скалами. Да и к тому же на дороге можно было попасть под обстрел — с вертолета не поленились бы дать пару очередей по одиноким путникам.

Я спокойно шел за незнакомым человеком неизвестно куда, ничего не опасаясь и ни о чем не беспокоясь. Все самое страшное в моей жизни уже произошло. За те несколько часов, что прошагали вместе, мы обменялись только парой слов. Он так и не сказал, куда идет, а мне было все равно — только бы выдерживалось приблизительное направление — на северо-запад. Да, впрочем, и это не было так уже важно. Главное — не стоять на месте, двигаться, чтобы ходьба убаюкивала, успокаивала, давала хоть слабую надежду на обретение смысла. Ну и так, чтобы в итоге все же заночевать под крышей в каком-нибудь кишлаке.

Солнце уже клонилось к закату, а широкое лезвие мотыги, лежащей на плече незнакомца, все так же равномерно-убаюкивающе поблескивало перед глазами. Когда кровавый край солнечного диска коснулся вершины заснеженной горы, мы остановились у ручейка, падавшего со скалы узкой и звонкой струей. Мы напились, ополоснули лица. Потом незнакомец, пристально взглянув на меня, сказал, что будем ночевать здесь, недалеко есть тайное укрытие — думаю, что ты не предатель.

В самом дальнем углу большой пещеры, по которой я шел, держась за подол рубахи своего спутника, оказался замаскированный лаз — ну прямо как в сказках «Тысяча и одной ночи». По наклонному каналу вполз за незнакомцем в темное помещение. Пока молча стоял на месте, он возился недалеко от меня. Вдруг вспыхнул свет слабой двенадцативаттной лампочки.

У одной стены располагались спальные места, а возле другой несколько автомобильных аккумуляторов и какие-то трубы. Хозяин подвел меня к ним и с гордостью обронил: «Стингеры, еще пять штук». Теперь я понял, кто сбил самолет. «Ты — герой», — произнес я подобающие слова. «Кто-то должен их наказывать. Но одному трудно», — устало сказал он и начал устраивать постель. Наш недавний водопой оказался одновременно и ужином. Правда, я так устал, что сразу заснул. Проснулся от солнечного зайчика рядом на стене. Накрыл его рукой — тепло. Несколько узких лучей света пронизывали наш погреб. Хозяин еще мирно похрапывал в остро пахнущих овчинах. Судя по скупо оброненным вчера словам, новый знакомый надеется на мою помощь. Пока не выберусь наружу, не буду его разочаровывать. Куда только не забрасывает человека, который просто идет по земле, не зная куда. А может, стоит все-таки сбить парочку самолетов? Нет, я не мститель. Я жертва. Как и большинство людей, я распят своим временем. Мой долг — испытать всю человеческую боль, оттянуть ее на себя, уменьшить ее количество в этом жестоком и безжалостном мире. Впрочем, это уже мания величия. Хватит, хватит испытаний, не хочу быть распятым страдальцем. Хватит одного Христа. Хочу просто домой. В родную Блонь. «Я так давно не видел маму...» — была когда-то такая песня. Я зашевелился и, спустив ноги, сел на своих нарах из жердей. Храп тотчас прекратился. Хозяин тоже поднялся. Сказал, чтобы полз наверх, а там подождал у входа — он передаст мне трубу.

Я принял «стингер», поставил у стенки. Подождал, пока выберется спутник. Он подал мне еще небольшой примус на бензине и мешочек с рисом, две банки тушенки, кастрюлю. В итоге у нас получился хороший завтрак. Я немного повеселел и начал думать, как бы половчее расстаться с моим кормильцем. Не хватало еще застрять на десяток лет в афганских партизанах. Нет, стрельбы с меня хватит, пусть сами разбираются. После чая из верблюжьей колючки — мы тоже когда-то заваривали, очень хорошее дезинфицирующее средство — решил спросить, куда он собирается идти дальше. Он кивнул на трубу и, впервые улыбнувшись, сказал, что на работу — полоть сорняки в нашем небе.

Меня всегда удивляло, как образно и лаконично выражаются простые пуштуны. Может, оттого что устное народное творчество еще не уничтожено всеобщей грамотностью и нивелирующей письменностью. Как много знают они различных легенд и сказаний, песен, стихов, сказок. Это мы все спрятали в книги, отделили от своей обычной и будничной жизни. А у простого человека, да у того же деда Гаврилки или у Сайдулло, вся культура всегда под рукой. Она живет с ним, постоянно взаимодействует с реальностью, постоянно обновляется и потому не стареет, всегда молода.

— Дорогой незнакомец, я благодарен тебе за кров, за рис и тушенку, за чай, но я не смогу быть помощником в твоей борьбе с сорняками. Небо полоть придется тебе одному. Меня ждут родные люди, которых очень давно не видел. Если сможешь указать мне дорогу к ближайшему кишлаку, буду тебе очень благодарен. А в твоей работе желаю удачи. Пусть Аллах будет всегда с тобой.

— Я понял, что в тебе нет гнева и ненависти к нашим врагам. Это потому, Цыштын-дабара, — не удивляйся, тебя знают многие, — что собственное горе еще переполняет тебя и отделяет от нашей общей беды. Но первый шаг на праведном пути ты уже совершил — в тебе нет и тени страха. Ты, как и я, ничего не боишься. Покажу тебе тропу к ближайшему кишлаку — это на день пути, после риса и тушенки ты осилишь его. Но, прошу, будь осторожнее с незнакомыми людьми. Не вводи их в соблазн греха. Даже я подумал вчера, когда оказались в моем убежище, что ты не должен его покинуть. Какое-то время я стоял над тобой спящим, но не смог поднять руку, чтобы лишить тебя

жизни. Есть в тебе что-то, что размягчает сердца незнакомых людей. Да пребудет Аллах с тобой!

Потом истребитель самолетов начертил мне на песке всю предстоящую дорогу, выделив развилки, источники хорошей воды, и даже, на всякий случай, место для ночевки, которым пользуется и сам. Он прошел немного со мной — до первого поворота и обнял на прощанье. Я тоже ответил ему объятьем — человеку, который еще ночью собирался меня задушить в своем погребе. Как изменчива и прихотлива жизнь, какое колеблющееся существо — человек. И об этом знал уже Мухаммед — «человек рожден колеблющимся».

Уже один ступил я на дорогу к будущему. Сумрачные ущелья, синие, красные, бурые скалы. Голубые звонкие речки, тенистые заросли — тропка бежала и бежала, и я торопился за ней, отдыхая в прохладных пещерах, утоляя жажду из ледниковых ручьев. Как и было обещано, кишлак появился незадолго до захода солнца. Но света хватило, чтобы разглядеть меня и проникнуться доверием. Как раз одному человеку нужен был помощник в тяжелой и знакомой мне работе — строительстве небольшого поля. Муса обязался кормить и дать запас провизии на дорогу. Для начала он угостил хорошим ужином: рис, сушеные персики, изюм, зеленый чай. Хозяин был само радушие, а жена, на которую он недовольно поглядывал, обслуживала нас быстро и бесшумно.

На следующий день принялись за работу. Убедившись, что я понимаю в ней толк, Муса спокойно отлучался и только приходил вечером, чтобы увидеть итог моих усилий. Спал я на плоской крыше, снова под звездным небом, невольно напоминавшем все, что довелось испытать за эти годы под его внимательным взглядом. Первоначальное радушие хозяина понемногу испарялось. С самого утра слышал, как он кричал на жену, которая приносила мне на крышу все более скромный завтрак. Мясом не накормили ни разу. В тот день, когда я собирался закончить работу, получить расчет и двинуться дальше, его жена, с ног до головы закутанная в национальную одежду, поднявшись ко мне с блюдом риса, сказала еле слышно:

— Брат незнакомец... уходи, скорее уходи. Он убьет тебя и опозорит меня перед моими братьями, чтобы избавиться от меня. У нас нет детей. Наверно, это моя вина. Но предыдущая жена была тоже бездетна. Уходи, уходи, незнакомец...

Янтарные глаза ее грустно и с тревогой смотрели сквозь чадру. Оказывается, моя смерть должна помочь хозяину избавиться от жены, уличенной в прелюбодеянии. Несчастная женщина осталась в моей памяти как тихий голос без лица — печальный и нежный.

Я хорошо позавтракал — впрок, не стесняясь, попросил добавки. Потом спустился к хозяину и сказал, что работы осталось совсем немного, на час-другой. Дорогу к следующему кишлаку знаю, так что возвращаться с поля особой нужды нет. Думаю, что могли бы рассчитаться прямо сейчас. Я благодарен и вам, дорогой Муса, и вашей заботливой ханум, что приютили бедного путника и дали ему немного заработать. Взял бы я с собой пяток лепешек, сушеных персиков, урюк, изюм, немного овечьего сыра.

Хозяин мрачновато оглядел меня. Сказал, что хотел вечером угостить настоящим пловом, шаропом, отметить конец работы. Но, если так тороплюсь, то — что ж — собери ему, жена, чего он просит. Пока ханум собирала мешочек, мы выпили с хозяином чайник зеленого чая. Он опять стал обходительным восточным человеком, витиевато благодарил меня. Приглашал на следующий год заглянуть снова. Я даже засомневался: неужели он на самом деле способен убить невиновного человека? Видно, заповеди пророка не коснулись его дикой души. А о кодексе чести пуштунов он и слыхом не слыхивал.

Договорились, что он скоро подойдет к полю и примет работу. Но, не пройдя и сотни метров, услышал за собой торопливые шаги и визгливый голос Мусы. Он орал на весь небольшой кишлак, что я похитил честь его жены. Я ускорил шаги. Хорошо, что все мужчины были в поле и не бросились сразу к нему на помощь. Я оглянулся: размахивая топором, Муса катился за мной на маленьких ножках, как колобок. За ним, периодически вскрикивая, бесплотной голубой тенью семенила жена. Только этого отелло мне и не хватало. Я решительно свернул на тропу, ведущую в горы, но Муса припустил со всех ног и стал нагонять. Уже различимо его озлобленное лицо. Нет, это совсем не тот медоточивый восточный человек, что встретил меня неделю назад. Его почти физически ощутимая ненависть настигала. Я стал для него виноват во всех грехах. И в самом главном — в бесплодии жены. Что полностью лишало его жизнь смысла. Единственный способ вернуть этот смысл — прикончить меня и отправить жену назад к братьям, оставив у себя ее махр. Так как измена налицо.

Только бы не подпустить его очень близко — чтобы не мог воспользоваться топором на длинной ручке. Это было бы совсем глупо: столько всего пережить, чтобы погибнуть на безымянной тропе от руки хитроумного ревнивца. Но все же мое искусство всегда со мной, а камней вокруг хватает. Нас разделяло шагов двадцать. Узкое лезвие топора поблескивало на солнце. Я быстро наклонился, схватил небольшой камень и тут же метнул в преследователя. Целился в плечо той руки, в которой был топор. Слава Аллаху, не промахнулся! Муса взвыл от боли и выронил топор. Но по инерции продолжал бежать за мной. Пришлось наклониться еще раз и попасть ему по коленке. Тут он уже приземлился и стал звать на помощь свою ханум. Отставшая жена заторопилась на помощь к лежащему и стенающему мужу. То ли довольная, то ли испуганная — не разобрать. Перед тем как наклониться к мужу, обернулась ко мне и махнула рукой: иди, мол, человек, иди, незнакомец.

Я шел долго. Даже не останавливался, чтобы переждать полуденный зной, — все-таки опасался, что на помощь Мусе прибегут соседи. Но этого не случилось — видно, соседи тоже знали, что он за человек. Нестерпимо слепящее солнце висело в выцветшем небе. Я молил Аллаха, чтобы оно поскорее закатилось. Изнемогая от быстрой ходьбы на открытом пространстве, мечтал только о глотке воды из студеного ручья. Но знал, что пить пока нельзя: сразу одолеет слабость и движение придется прекратить. Только бы дождаться темноты — моего сегодняшнего союзника. Но вот, наконец, первые звезды на небе, спасительный сумрак и близкий лай собак, извещающий, что недалеко человеческое жилье, и по всей видимости, ночь проведу под крышей. Или, точнее, на крыше.

Подходя к кишлаку, что прилепился к основанию горы, думал о том, что на земле постоянно живут рядом и здравствуют добро и зло. Они сменяют друг друга, как день и ночь. Как зной и ночная прохлада. Так же и человек — одушевленное дитя природы — навсегда впитал ее противоречивость, ее вечные боренья основных стихий — мрака и света. И от этой противоречивости мается и сам человек, становясь непредсказуемо то источником зла и мрака, то света и добра.

Так и шло дальше: день — утомительная дорога, ночь — пристанище в скромном крестьянском жилище. Бывало, что и задерживался на пару дней — чтобы своим трудом хоть немного отблагодарить за кров и пищу. Ночевал, как обычно, на крыше, под надзором звезд. Только так чувствовал себя в полной безопасности.

Но не раз возникала и еще одна, самая серьезная опасность — застрять в каком-нибудь кишлаке навсегда. Почему-то меня чаще всего направляли

к тем домам, где уже не было мужчин, а только дети и женщины — вдовы погибших на бесконечной войне. Женщины еще молодые, ждущие, не устающие надеяться. Труднее всего было покидать их бедные глиняные хибарки, где каждый кусок застревал в горле под взглядами худых и явно голодных детей. Задерживаясь на несколько дней, старался помочь им в их нелегких крестьянских заботах. То приведу в порядок полуразрушенный дувал, то починю протекающую крышу. Однажды задержался на целых две недели. Женщина с двумя детьми — мальчиком и девочкой, такого же возраста, как и мои, — напомнила Дурханый своими теплыми светло-ореховыми глазами и нежным голосом. Я починил все что мог, заготовил дров на полгода и однажды на рассвете, не прощаясь, ушел. Ее надежда и ожидание становились все заметней. Если жениться, то сразу на всех обездоленных и несчастных женщинах. Или хотя бы, как заповедал Мухаммед, на четырех. Но я-то уже, наверное, больше не смогу никого полюбить. Ночуя у кишлачных вдовушек, был благодарен им, что не проявляли излишней инициативы и избавляли меня от того, чтобы отвечать им отказом. Но все чаще стали сниться мои дети — особенно Регина. Она бросалась мне навстречу, обнимала за ноги и все повторяла, как когда-то Дурханый: велблуд, велблуд. Несколько раз собирался повернуть обратно. Но все-таки ясное сознание законченности, исчерпанности той жизни снова приходило ко мне. Я понимал, что снова обрести своих детей смогу только в новой жизни — если она состоится. Так что, с болью в сердце уходя от них, все-таки шел к ним. Во всяком случае, именно так хотелось думать.

Отклоняясь то вправо, то влево от основного направления на северо-запад, в сторону Кабула, я все же продвигался, хотя и медленно, по этой нищей, измученной войной стране. Всюду, где только можно, яростно цвели алые маковые поля, их единственная надежда и спасение. В той моей прошлой жизни все маковые дела по молчаливой договоренности вел Сайдулло. Я занимался производством только продуктов питания. Так что как бы и не участвовал в полулегальном и богопротивном бизнесе.

Я шел по узкой каменистой тропе, где столетиями ходили люди, занятые своими мыслями и проблемами. Какими были их мысли — одному Аллаху ведомо. Узкая извилистая тропка — вот и все, что осталось от тысяч людей, протоптавших ее. Теперь и я вношу свою лепту в сохранение этой вековой и, несомненно, нужной людям тропы. Да и что остается от всех нас? Только малые дорожки, которые мы топчем. И поэтому они никогда не кончаются. Правда, некоторые из них превращаются в дороги. Но это исключения. Да и в том, что остается после тебя малая, но все-таки заметная тропинка, есть высшая справедливость. Тропа — скромный путь от человека к человеку, от отца к сыну, сохраняющий живой отпечаток души идущего. Дорога же безлична и бездушна. По ней не идут, но катятся в такое же безличное и пресное будущее.

Занятый этими размышлениями, я размашисто шагал по утренней свежести. На целый день у меня оставалась только одна лепешка и горсть изюма. Но, несмотря на скудность запаса, тяжелый посох мой с железным острым наконечником бойко стучал по тропе. И вдруг за поворотом возникли трое чернобородых, тоже в паткулях, почти не отличающихся от меня по одежде, но вооруженных автоматами. За плечами у них горбились массивные рюкзаки. Они стояли один за другим и настороженно ждали моего появления. Видно, мой бойкий посох заранее предупредил их об этом.

Я уже привык ничему не удивляться и, остановившись, первым поприветствовал незнакомцев. Они молча разглядывали меня. В любой момент их недружелюбное молчание могло закончиться короткой очередью. Я спокойно стоял в двух шагах от первого чернобородого и без тени страха глядел ему

в глаза. Мне нечего было скрывать — никаких умыслов относительно этой тройки они не могли прочитать в моих глазах.

Наконец первый, открыв беззубый рот, по-стариковски шамкая, неласково произнес:

— Так стучишь, что в Кабуле слышно. Куда идешь?

— Работу ищу.

— Где это ты тут ищешь работу? Скажи — мы бы тоже не прочь подзаработать.

— Иду в кишлак Кундаксаз.

— Это туда, где не осталось ни одного мужчины — только старики и мальчики?

— Ничего не знаю, говорили только, что там всегда есть работа.

— Есть, всегда есть работа, да для молодцов помоложе. Куда тебе с твоей седой бородой. Да и хромаешь вроде. Правда, глаза голубые. Кафир неверный? Шпион? Подними рубаху и опусти штаны.

— Одновременно не получится.

— А мы поможем. Джафар!

Быстро и грубо Джафар стянул с меня штаны и провел медосмотр.

— О, наш человек! Может, отпустим его в Кундаксаз? Чтоб такое добро не пропадало?

Незнакомцы заулыбались. Беззубый, видно, главный, продолжил:

— Тебе повезло. Теперь не нужно тащиться черт знает куда. С этого момента ты работаешь у нас. Возможно, это спасет тебе жизнь. Говорят, в кишлаке Кундаксаз постоянно пропадают мужчины. И никаких следов не находят. Но глазки-то откуда?

— Я из Нуристана.

— Ладно, поверим на слово.

Будь у меня мой верный «калашников», а они бы только мирно постукивали посохами по тропе, тогда у нас был бы другой разговор. Возможно, их трудоустройством пришлось заняться мне. И подшучивал бы над ними тоже я. Мог бы заставить и раздеться догола. Да, тот, у кого в руках оружие, — тот в этих горах царь и бог. А без оружия — просто раб, в лучшем случае животное.

Именно в качестве вьючного животного они и решили меня использовать. Чувствительно ткнув дулом в живот, Беззубый приказал отдать мне свой рюкзак проверявшему мой «документ» Джафару. Его рюкзак был больше всех остальных.

— А свой посох можешь выкинуть. Теперь твоя единственная опора в жизни — мы. И этот рюкзак.

— Это посох моего деда. Я с ним никогда не расстанусь. Лучше сразу пристрелите.

— Не волнуйся. Надо будет — так и пристрелим, — сказал Джафар, с явным удовольствием освободившийся от рюкзака, — твоего разрешения спрашивать не будем. Ты что — ничего не боишься? — Он запальчиво передернул затвор — дослал патрон в патронник — и уперся мне дулом в грудь.

Беззубый прикрикнул на него и отвел ствол рукой.

— Ладно, спинжирай. Храни свое дедовское наследство — видно, несказанно богат был твой дед, что оставил тебе такую суковатую ценность. Только держи его в руках, а не стучи по камням. Нам ни с кем не нужно встречаться.

Он приказал Джафару идти впереди. Меня поставили за ним, а беззубый, главный, замкнул маленькую колонну. Я держал посох перед собой — обеими руками — и, наклонившись, глядя на галоши Джафара, такие же, как и мои, шел за ним след в след.

Вот опять меня пристроили помимо воли. А шел бы себе тихонько, так, может, и разминулся бы со своими новыми работодателями. Во всяком случае, пока на плечах этот не очень тяжелый рюкзак, за свою жизнь опасаться не приходится. Да и кормить, видимо, тоже будут. Но к полудню рюкзак стал тяжелее раза в три. К дневному привалу я выбился из сил и просто молча, не снимая груза, прислонившись к скале, сполз на землю.

— Э, — опять пошутил Беззубый, — а еще в Кундаксаз собирался.

Он помог мне снять рюкзак и пригласил к небольшому костру, где варили кашу из брикетов и той же американской тушенки. Но сначала, конечно, зеленый чай. Я сидел в тени нависавшей скалы, перед глазами стояли величественные горы в белых шапках, пил зеленый чай с остатками изюма и был почти счастлив. Складывалось такое впечатление, что я равно готов к любому повороту судьбы. Если поразмыслить, то пока шел в нужном направлении и даже под охраной, милостиво выделенной мне не иначе как самим Аллахом. А что будет дальше — покажет время. Не раз убеждался, что абсолютно безвыходных положений не существует. Есть только такие, где выход обнаруживается не сразу.

За чаем познакомились. Беззубый назвался Фарузом. Он похвалил меня: «Я думал, ты уже через пару часов сковырнешься. Но борода твоя обманчива. Видно, не зря направлялся в Кундаксаз». Все опять заулыбались. Третьего, самого серьезного и молчаливого, звали Арманом. Это были мужчины самого крепкого возраста — от тридцати пяти до сорока. Ясно было, что они заняты доставкой какой-то контрабанды. А какой — думать долго не надо: той самой, что я выращивал, а брат моей жены Ахмад перерабатывал на своих кустарных заводиках. Вот я осваиваю и следующий этап наркобизнеса.

Как же так получается, что передовой демократический мир нуждается в зелье отсталых средневековых афганских крестьян? Он дает им за это зелье телевизоры и видеомагнитофоны, машины, компьютеры, а сам — все больше и больше — нуждается только в наркотиках, чтобы забыться в коротком искусственном счастье. А почему же их свобода и образование не могут производить нормального счастья, достаточного для всех людей? Почему они не могут обеспечить своих граждан не только избирательным правом, но и смыслом жизни? Ведь только с его утратой человек старается спрятаться в наркотических грезах. Нет, бороться с наркотиками надо не на территории Афганистана. Ведь он дает всего лишь то, что у него просят: а вся современная западная культура разными способами вовлекает человека в наркотическое состояние. Та же рок-музыка, то же телевизионное шаманство, приковывающее к порабощающему и оболванивающему экрану. Несколько раз я видел у муллы и американские развлекательные программы. Складывалось впечатление, что делаются они дебилами для полных идиотов. И вот эту свою культуру они несут «отсталым» народам, все еще сохранившим представление о подлинных человеческих ценностях, о смысле жизни. Не удивительно, что как отдачу они получают взамен еще более разрушительный наркотический импульс.

Судя по внешнему виду, все мои попутчики хотя и зарабатывали на жизнь доставкой наркотиков, сами их не употребляли. Им надо было содержать жен и растить детей. У Фаруза от двух жен было четыре сына и три дочери. У Армана и Джафара было пока по одной жене, но в количестве детей они не уступали командиру. Ясно, что прокормить такие семьи непросто. Я спросил Фаруза напрямую: «А мак тоже выращиваете?» Он посмотрел на меня, вздохнул и только молча кивнул. Потом добавил: «Догадливый ты парень. Но держи свои догадки при себе. И запомни: чтобы ни случилось, ты нас никогда не встречал и ничего не знаешь, что там было в этих рюкзаках. Хотя, кто там

сейчас разбираться будет. Пристрелят и тебя за компанию. Ну, что — и теперь не боишься?»

Я пожал плечами: «На все воля Аллаха». Фаруз улыбнулся: «Наш человек. Нам такие люди нужны. Если и на этот раз пройдет все удачно, я поговорю с кем надо, и не придется тебе больше ходить по кишлакам искать работу. Работа сама будет за тобой бегать».

Оказалось, что идут они в Кундуз на границе с Таджикистаном. У меня даже сердце заколотилось от радости, я готов был обнять беззубого, как брата. Пути осуществления наших желаний неисповедимы.

К вечеру мы подошли к полуразрушенной конусообразной башне. Это, как объяснили новые хозяева, сторожевой пост Тамерлана — теперь работает на нас. А дальше, немного в стороне от нашего маршрута, лежит и его разрушенный дворец. Во мне, несмотря на усталость, шевельнулось желание побывать на этих руинах. Башню украшала голубая блестящая опояска, выдержавшая напор времени. Я знал, что секрет старинной эмали давно утерян. Спутники мои привычно развели огонь на прокопченном очаге, приготовили чай. Погружаясь в сон, испытывал некоторое удовольствие оттого, что довелось заночевать в таком историческом месте. А завтра, может, взгляну и на дворец Тамерлана. Или на то, что от него осталось. Перед сном на всякий случай тяжелым щитом из жердей закрыли вход — от шакалов.

Но совершить экскурсию не удалось. На рассвете нас разбудили далекие автоматные очереди. Все проснулись. Фаруз сказал, что стреляют на нашем маршруте. Видно, опять что-то не поделили. Но ведь, вроде, договаривались — своих не трогать. Фаруз приказал не разводить огонь и почистить оружие — из него уже давно не стреляли. Попили воды с черствыми лепешками и принялись за чистку автоматов.

Пока спутники приводили в порядок оружие, я подвязал веревочками галоши, которые подарил мне когда-то Сайдулло. Берег их, надевал редко, и только иногда взглядывал на такую простую и волнующую меня надпись — made in Belarus. Именно их и обул, навсегда покидая свой кишлак. Я был уже готов к дороге и глядел, как мои спутники занимались когда-то привычным и для меня делом — чисткой оружия. Фаруз управился быстро, а вот Арман и Джафар что-то задерживались. Слышно было, как Джафар раздраженно ругается. Оказывается, в давно не чищенном стволе застрял шомпол. Джафар протянул приклад автомата Арману и попросил подержать, пока он будет выдергивать этот чертов шомпол. Я подумал, что нет на них старшего сержанта Гусева. Оба тотчас бы получили по наряду вне очереди. Правда, в последний момент Джафар догадался отсоединить магазин. Арман ухватился ручищами за приклад, а Джафар за шомпол. Одновременно резко дернули в разные стороны. Грохнул выстрел, оба упали, я вскочил и бросился к ним. Джафар держался за живот. В его глазах с расширившимися зрачками стояло удивление ребенка. Серая рубаха стремительно становилась вишнево-красной.

Патрон в патроннике — классическая ошибка новичков или полусонных солдат. Джафар забыл, что загнал патрон в патронник, когда ткнул меня дулом в живот. А проверить не догадался. Арман, дернувший что есть силы, скользнул пальцем по курку. А так как присутствовала и вторая ошибка — автомат был снят с предохранителя, — то случился выстрел. Шомпол пробил Джафара насквозь и вошел наполовину в старинную стену. «Калашников» — это не игрушки. Он запросто пробивает кирпичную кладку.

Схватившись за живот, Джафар катался по каменному полу с остатками мозаики. Я никогда не думал, что в человеке так много крови. К нему невоз-

можно было подойти, он выл по-волчьи и все перекатывался и перекатывался с боку на бок. Все медленнее и медленнее. Наконец затих.

Арман растерянно полулежал, опираясь локтями на пол.

К Джафару подошел Фаруз, немного постоял, наклонился над ним и закрыл его навсегда удивленные глаза с до предела расширенными зрачками.

Арман все еще не поднимался и растерянно глядел на Фаруза. Тот старался не встречаться с ним взглядом.

Похоронить Джафара оказалось непросто. Но не оставлять же его шакалам и грифам. В окрестных скалах нашлась подходящая щель, куда мы сумели втиснуть несчастного. Ее отыскал Арман, суетливо пытавшийся хоть как-то загладить свою случайную вину. Поместив туда Джафара, мы сначала аккуратно засыпали его мелкими камнями, а потом камнями покрупнее. Наверх удалось поместить довольно приличный валун.

Только когда были совершены все подобающие молитвы, Фаруз признался со слезами на глазах, что Джафар — его двоюродный брат.

— Что я скажу его матери, что скажу отцу? Я подбил Джафара на эту поездку, совсем обнищал мой брат. Но уж лучше оставался бы нищим, чем мертвым. Я, я виновен в его смерти. Ведь он совсем молодой, ему только тридцать четыре. Смерть искала меня, а наткнулась случайно на него.

Арман тем временем не находил себе места. Хотя Фаруз обнимал его над могилой и говорил, что он ни в чем не виноват. Родственникам обещал ничего не говорить — не надо лишних пересудов. Погиб в перестрелке с кафирами — вот и все.

Перед погребением Фаруз достал тугой сверток из кармана залитой кровью безрукавки Джафара.

— Джафар был нашим казначеем. Теперь пусть эти деньги будут у тебя, Халеб.

Так я стал сверхценным объектом: кроме рюкзака стоимостью под миллион баксов прибавилась и дорожная касса. Но прибавилось и внимания со стороны моих спутников. Теперь любое мое нестандартное действие могло быть расценено как попытка присвоить их ценности. Надо признать, что Фаруз поступил очень разумно. Вместо того, чтобы беспокойно следить друг за другом, они спокойно сосредоточились на мне. А четыре глаза всегда лучше, чем два.

Продолжив путь, мы вскоре наткнулись еще на два трупа. Они лежали у тлеющего костра лицом вниз. Левая ладонь одного из них понемногу жарилась на углях и распространяла сладковатый запах человечьего мяса. Оба были убиты выстрелами в спину. Видно, именно эти очереди и разбудили нас.

Фаруз перевернул их лицами вверх. Одного узнал — коллега. Немолодой мужчина из соседнего кишлака. Не раз пересекались на горных тропах. Однажды даже шли вместе.

— Вот шакалы! — выругался Фаруз. — Даже не похоронили. Деньги забрали и бросили, как падаль. Нет, найдет их Аллах. Куда катится мир! Ради этих зеленых бумажек готовы на все. Ты видел, сколько у меня зубов? Только восемь, и те спрятаны. Остальные выдергивали кузнечными клещами и посылали моему деду, пока он не собрал деньги на выкуп. Бандюг в наших краях с каждым днем становится больше. Война отменяет все человеческие законы. Да и до законов ли, когда сегодня жив, а завтра уже покойник. Прав тот, кто выстрелил первым. Оружие есть, патроны есть, работы нет, а жить хочется. И жить хочется хорошо. Похитить ребенка, человека ничего не стоит. Лишь бы заработать. Дед продал все что мог, даже дом. Расстался с золотым запасом. Выплатил выкуп, вернул меня живого, хотя и беззубого. Потом все-таки

выследил бандитов. Оказались дальние родственники из соседнего кишлака. Дед убил троих — вместе с главарем, но и сам получил смертельную пулю. Два месяца умирал дома. Вот такая наша жизнь, обложили со всех сторон. Если не ты убиваешь, тебя убивают.

Была в словах Фаруза и своя горькая правда, и своя сладкая ложь. Все мы склонны находить оправдание любым своим действиям.

Мы пристроили в расселинах и завалили камнями тела и этих двух несчастных. Решили пока дальше не идти, чтобы ненароком не пересечься с бандитами. Похороны утром и похороны вечером — для одного дня достаточно.

Через неделю пути мы добрались до Кабульской долины. Старались идти как можно осторожнее — в рассветных и вечерних сумерках, порою волка. Но здесь, как объяснил Фаруз, бдительность надо удвоить. Окрестности кишат войсками кафиров. У них добавочный интерес: весь героин присваивают себе, а курьеров просто расстреливают.

— Теперь ты понимаешь, Халеб, какая у нас работа? И как легко мы получаем эти зеленые бумажки? Если тебя убьют, твой рюкзак возьмет другой бедняк — потому что деваться ему некуда. А ведь пуштуны раньше выращивали и мак, и коноплю исключительно для самих себя. А вот пришла цивилизация, и все пошло по-другому. Мы вместе со всем миром покатились в пропасть, к концу света. А ведь мы могли бы еще при жизни создать настоящий рай на земле — и для себя, и для потомков. Но непомерная алчность одних ввергает в безысходную нищету других, которые готовы на все, чтобы только выжить...

Притаившись в своем укрытии и внимательно изучая окрестности, мы пролежали целый день, до сумерек. Фаруз оказался любителем порассуждать, и многие его мысли отзывались и во мне. Я подавал только отдельные реплики, но слушал очень внимательно — надо было узнать о моих нынешних хозяевах как можно больше.

Выйдя на вечернюю тропу, хорошо знакомую Фарузу, — он мог бы передвигаться по ней с завязанными глазами, — мы почти наткнулись на засаду. Тут же повисли осветительные ракеты. Началась активная и беспорядочная стрельба — явно не прицельная, а только для устрашения и самоуспокоения. Вызвал переполох камень, о который я споткнулся. Он покатился в пропасть, наполняя гулом темное и узкое ущелье.

Мы тут же вернулись на исходную позицию, где и промаялись целую ночь. Фаруз вспоминал, как хорошо было пару лет назад, когда здесь стояли итальянцы. Все было четко: платишь — проходишь. Никакого беспокойства. А сейчас пригнали новых — американцев. Стараются доказать, что они полностью контролируют Кабул и окрестности. А взрывы в городе все равно почти каждый день. И ракетные обстрелы. Но не нужны нам их законы. Англичан выкурили, шурави заставили уйти, с ними тоже скоро разберемся. Аллах не простит, что они опоганили землю пуштунов жвачкой, презервативами и своей гнусной кровью.

Фаруз сказал, что до рассвета надо выйти на другую, более высокую и менее опасную тропу, оставив Кабул как можно дальше. Я подумал, что уже и так чувствуется высота, не хватает кислорода. А что будет, если поднимемся еще выше? Но, главное, конечно, не попасть в руки войск коалиции. Фаруз разрешил подремать, а ближе к утру повел по другой тропе. Видя, что я не очень хорошо переношу кислородное голодание, разрешил делать остановки. К рассвету уже прошли самый опасный участок, когда Фаруз обеспокоенно остановился и стал прислушиваться к звукам, что доносились из ущелья под нами. Я тоже прислушивался, но понять, что беспокоит командира, не мог. Но вот неожиданно возникла пара вертолетов. Как огнедышащие драконы, они

дали ракетный залп по дальнему лесистому склону. Пламя полыхнуло среди безжизненных каменных глыб. Скорее всего, это снова была демонстрация мощи и устрашение. Но камни ожили, и сразу же вслед за вертолетами устремился самонаводящийся снаряд из хорошо знакомого мне «стингера». Его дымовой шлейф и характерный звук никогда не забуду. Вспышка над ущельем подтвердила, что ракета достигла цели и вертолет рухнул на камни, меж которых бушевала сердитая горная речка. Нашли свою смерть несколько молодых парней из штата Алабама или Индиана. Сразу лишилась смысла жизнь их матерей и отцов, дедов и прадедов.

Фаруз успел найти надежное укрытие, и мы затаились среди камней, стараясь ничем не выдать себя ни тем, ни этим. Попасть меж двух огней — худшего не придумаешь. На противоположном склоне было хорошо видно передвижение вооруженных людей. Вероятно, они знали, что все только начинается. Через минут двадцать относительной тишины за горой снова послышались рев и клекот винтокрылых птиц. Первая неудачная атака вынудила изменить тактику откровенного боя. Теперь вертолеты, на мгновенье зависнув, дружно выпустили ракеты и тут же скрылись. Это повторялось несколько раз. Противоположный каменный склон полыхал от взрывов. И после этих атак наступила тишина. Видно, все живое меж камней стало мертвым.

Фаруз следил за боем не как простой наблюдатель. Всем сердцем и помыслами был с теми, кто сражался с вертолетами армии США. Теперь он вглядывался в противоположный склон, надеясь убедиться, что сопротивление не подавлено до конца мощными ракетными залпами.

— Жаль, что я ввязался в эту торговлю. Пока я в рейсе, семья остается фактически в заложниках. Я тоже был бы среди тех камней.

А я, глядя на утреннее безмятежно голубое небо, мысленно был дома, у обелиска павшим воинам — рядом с железнодорожным вокзалом нашего райцентра. Думал о тех бесстрашных молодых парнях, которые со связкой гранат бросались под фашистские «тигры» — ради спасения своей родины.

«С нами бог!» — провозглашали гитлеровцы. Но бог в той войне оказался с нами — атеистами. Видимо, высшие силы не очень любят, когда открыто апеллируют к ним. Любое божество хочет быть тайным и свободным в своих предпочтениях. Да, как замечал старик Гегель, единственный урок истории в том, что она никого ничему не учит. Человечество с завидным постоянством наступает на одни и те же грабли. Только удар по лбу — по разуму человечества — становится все сильнее. И наркотики все активнее принимают участие в уничтожении разума. Потому что условия существования для большинства людей становятся все невыносимей. Люди лишены элементарной возможности честно трудиться и обеспечивать условия нормального существования для своих семей. Они становятся на путь преступления только для того, чтобы выжить. Но жизнь их покупается смертями тех, кто тоже еще мог бы жить — если бы не наркотики. Одна несправедливость, как камень в горах, порождает целую лавину несправедливостей. Жизнь постепенно погружается в пучину мракобесия и беззакония. Такого не было даже в каменном веке — иначе человечество давно бы прекратило свое существование.

С максимальными предосторожностями мы покинули место боя. Рюкзак со смертельной отравой не казался больше тяжелым. Он даже защищал спину от холода и держал тело в умеренном напряжении. Я готов был шагать с таким грузом хоть до самой Блони.

Мои наниматели доверили свой драгоценный груз мне, незнакомому человеку. А сами в таких же рюкзаках таскали продукты. То есть, простая пища была для них дороже, чем сверхдорогая наркота. А значит, была дороже

и собственная жизнь, которая напрямую зависела от этих продуктов. Это как-то обнадеживало. То есть ценность наркотиков не была для них абсолютной ценностью. А лишь условной, вынужденной — ценностью другого и пока еще чужого мира.

Зато мои блуждания по афганской земле все чаще казались не просто прихотливой случайностью судьбы, но неким долгом перед этим народом и этой землей. Казалось, что я должен был прочувствовать до самых малых деталей всю боль и трагедию, что выпали на их долю. Хотя, может, такое восприятие оказывалось только следствием фатализма, присущего мировоззрению этих людей и понемногу за эти долгие годы отчасти усвоенного и мной.

По скрытым от неверных тропам мы за три дня уже почти обошли кабульскую долину. Но шума над головой, который производили самолеты на малых высотах, хватило надолго. Казалось, что с помощью этого ненужного грохота американские вояки преодолевали собственный страх перед страной, в которой они увязали все глубже и глубже.

Но и мы тоже подходили к самому опасному участку нашего пути — трассе Кабул—Кундуз. Эх, прокатиться бы по ней хотя бы на «шурави-джипе» Ахмада! Но, увы, бетонное шоссе, построенное еще при помощи шурави, было не для нас. Мы только поглядывали на него со своих козьих троп. Шоссе оставалось для нас только ориентиром. По его сторонам валялось особенно много покореженной техники — память о нашем присутствии на этой земле.

— Это дорога смерти, — говорил Фаруз, — на этой дороге погибло множество солдат шурави и уничтожено немыслимое количество военной техники. Да и сегодня эта дорога тоже делает свое черное дело. Запомнят ее и американцы.

Зрелище военной техники, валяющейся на обочинах дорог, меня всегда угнетало. А в этот раз особенно: таких запасов металлолома не видел больше нигде. Но помнил, что должен владеть своими чувствами. Не хватало, чтобы Фаруз заподозрил, что я и есть тот самый шурави, которых он нещадно уничтожал в качестве моджахеда — бойца за веру.

Как постоянно подтверждает история, все самые грандиозные войны заканчивались полным крахом для тех, кто их развязывает. Все завоеватели рано или поздно терпят поражение. Эта земля проглотила и воинов Александра Македонского, и Тамерлана, и менее известных вояк.

Мои размышления прервало громкое эхо выстрела, прозвучавшего совсем рядом. Успев увидеть, как медленно опустился на колени впереди идущий Арман, я тут же упал за большой валун. Школа старшего сержанта Гусева снова спасла мне жизнь. Очередь из автомата выбила веер осколков, пролетевших над головой.

Впервые я пожалел, что безоружен и могу быть только беззащитной мишенью. Того и гляди за этим камнем найдут вечное успокоение все мои взгляды на мир и на войну. Постоянно приходят завоеватели, сеют мир и справедливость, а всходят почему-то только горе и смерть. Рядом со мной упала граната, но я тут же нырнул в щель между двумя валунами. Прогремел взрыв, и меня тяжело накрыло кучей щебня. А потом — долгая тишина.

Очнулся от контузии, когда почувствовал, как с меня бесцеремонно стаскивают драгоценный рюкзак. Именно благодаря рюкзаку с наркотиками я остался в живых — он прикрыл от осколков. Слава Аллаху, все еще жив. Но тут меня грубо перевернули на спину, и надо мной склонилось черное и настороженное лицо солдата армии США. Увидев мое беспомощное состояние, он тут же занялся рюкзаком и явно повеселел, ознакомившись с его содержимым. Он торопливо доставал аккуратные брикеты с наркотиком и старательно

рассовывал по укромным местам. Да пусть заберет сколько сможет. Но я-то оказываюсь свидетелем, как он распотрошил рюкзак. А свидетелей убирают. Эта простая мысль беспокойно замигала в мозгу. Убирают, убирают! Никакой ненависти к чернокожему парню у меня не было. Я бы отдал ему весь мешок — такое добро мне и даром не нужно. Но — я свидетель. А их убирают. Ладонь непроизвольно начала двигаться и, наконец, замерла на обломке камня размером с куриное яйцо. Солдат успел только удивленно открыть рот и тут же упал лицом на распотрошенный рюкзак. В следующее мгновенье в руках у меня оказалась их пресловутая М-16. Он отставил ее немного в сторону, у камня рядом. Вообще-то, считается, что это винтовка, хотя и с тридцатизарядным магазином. Но прибор уж очень нежный, не сравнить с нашим АКМ. Достаточно пылинки — и она отказывается стрелять. Да и чистить ее можно только в закрытом помещении.

Осторожно выглянув из-за валуна, увидел троих солдат, наклонившихся над лежавшим Арманом. Удивительно легко американские пули скосили своих же американских ребят. Это как будто снимало с меня вину в убийстве, которое я совершил в минуты ярости и гнева. Впервые я видел, кого убиваю. Один из упавших солдат вдруг шевельнулся и открыл глаза. Увидев направленное на него дуло автомата, он снова закрыл их, готовый спокойно принять свою незавидную участь. Но я уже не мог стрелять. Только бормотал: «Мародеры... Какого черта вы тут делаете?» Я быстро собрал их разбросанное оружие и закинул его за огромные камни. Пусть ищут.

К счастью, Фаруз остался жив. Пуля пробила ему плечо, но кость вроде не задела. С помощью медпакета американского солдата я сделал ему перевязку. Меня учили этому очень давно, но, как оказалось, хорошо. На всякий случай воткнул ему в руку и обезболивающее, с трудом найдя его в целом наборе ампул. Кое-как снова упаковали свой груз — уже на двоих. Я добавил в свой рюкзак и половину груза из мешка Армана. Захватил и аптечки. Поколебавшись, все-таки оставил М-16 на месте боя, но пару гранат прихватил. Шурави не сдаются. Хоронить Армана тоже не стали — надо было уходить как можно быстрее, но вместе с тем соблюдая и максимальную осторожность. Вслед нам неслись резкие и хриплые звуки из передатчиков солдат, которые уже ничего не могли ответить своим командирам. Нам пока повезло. Но груз вырос, а подстреленный Фаруз поневоле сосредоточился на своей ране. Он только показывал дорогу, которая для него самого становилась все труднее. Видно, какая-то инфекция все-таки попала в рану.

Мы шли за солнцем и быстрые сумерки в горах скрыли нас от посторонних глаз. Через пару часов показалась луна. Она тоже была как подарок. Возбужденные, схватившие большую дозу адреналина, мы шли намного быстрее, чем обычно, — понимали, что нас спасут только наши ноги. Такой темп удалось держать несколько дней. Мы почти ничего не ели, только пили. Возможно, оказали свое действие и энергетические капсулы, которые обнаружились в медпакетах. Останавливались только на пару часов во время полуденной жары. Засыпали на часок-другой и снова вскакивали, готовые к бессонной ночной дороге. Каждый рассвет встречали с надеждой, что это еще не последний рассвет в нашей жизни.

Американские солдатские медпакеты спасли Фарузу жизнь. Ну и, конечно, то, что я был рядом и всегда приходил на помощь в нужную минуту. Мою роль в своем спасении Фаруз осознавал очень четко. Но единственное, чего он не мог понять, так это зачем мне нужно перебираться через границу. Думаю, что и душераздирающая история, которую я для него сочинил, используя и факты своей биографии, не очень убедила его. Хотя он и расчувствовался до

слез. Во всяком случае, понял, что ничего больше я ему не расскажу. Меня, конечно, подмывало рассказать ему все, полностью раскрыть душу. Ведь каждый день нас караулила опасность, и Фаруз мог оказаться последним человеком в моей жизни. Но здравый смысл все же удерживал. Ни к чему ему знать подробности моей жизни. Для нормального и вполне доверительного общения хватало и того, что он знал обо мне. Не стоило без особой нужды усложнять ситуацию, заставляя Фаруза задумываться о вещах, которые никак не могли его касаться. Да и любая откровенность, даже с давним другом, очень часто вылезает боком.

Фаруз уже полностью доверял мне и не ожидал никаких подвохов. Как и прежде, я оставался самым «ценным» объектом в нашей группе. Но меня все больше беспокоила распухающая рука Фаруза. На привалах изучал захваченные медпакеты и пробовал понять, что там к чему. Знания медицинской терминологии мне явно не хватало.

Горная тропа по-прежнему вела в неизвестность. Все вокруг было новым и чужим. Но Фаруз повторял уже совсем слабым голосом, что скоро, скоро наша дорога приведет к кишлаку Махрам, где живут одни таджики. Таких таджикских поселений в этих краях много — в свое время многие бежали от советской власти, но от границы далеко не уходили. Издавна обособленно живут здесь и туркмены, и курды. Места хватает всем.

Фаруз шел всегда впереди. Я облегчил его ношу до предела, но все же с каждым днем идти ему становилось все труднее. И обещанное «скоро» все никак не наступало. И вот пришел день, когда Фаруз не смог подняться после короткого привала. На какое-то время он потерял сознание. Я был в растерянности. Но, к счастью, он очнулся после того, как я плеснул ему водой в лицо.

— Не бросай, не бросай меня здесь... еще немного... скоро таджикский кишлак... там можешь меня оставить... только никуда не сворачивай... прямо... прямо...

Фаруз опять потерял сознание. Бросать человека в беде, тем более, когда у него вся надежда только на тебя, так поступать меня не учили. Но ясно было, что с нашим грузом дойти до кишлака я не в состоянии. Я сделал Фарузу укол из последней ампулы — с глюкозой — и начал искать место, где бы мог оставить наш бесценный и опасный груз. Главное, чтобы потом сам мог найти это место. Завалив щель с рюкзаками увесистыми обломками, запомнив ориентиры, я взвалил вконец обессилевшего и отощавшего Фаруза себе на плечи. Он иногда приходил в себя, просил пить, взглядывал бессмысленными глазами на меня и снова проваливался в забытье.

Через сутки, сам еле живой, я опустил Фаруза на землю у первой глиняной хибарки, видимо, того самого кишлака Махрам, на который так надеялся мой спутник.

В дом таджика Рахмана мы вошли как невинно пострадавшие на опасных дорогах войны. Какими бы ни были люди гостеприимными, как бы ни были они преданы традициям своего народа, жизнь сделала их осмотрительными, осторожными и даже меркантильными. Я не вижу в этом ничего предосудительного. Жизнь постоянно лепит нас, как ту глину, из которой вылепил нас и сам Господь. Лепит и обжигает. А тех, кто не выдерживает обжига, выбрасывает на помойку. В жизни нет места слабым. Слабостью может иногда оказаться даже излишняя твердость. Все живое — гибко.

Рахман вначале пребывал в некоторой растерянности от таких неожиданных гостей — явно было, что он не знает, как с нами поступить. Тут зеленым чаем и даже пловом не обойдешься. Я решил облегчить ему непростую задачу, представив себя на месте бедного крестьянина. Он сразу оживился, когда

я вложил в его грубую ладонь три купюры по 50 долларов. Лицо приняло осмысленное выражение. Он начал внимательно изучать их, убедился в подлинности — каким-то ему одному известным способом, — отнес деньги в дом и тут же заторопился за врачевателем.

Вскоре Рахман возвратился с высоким худощавым мужчиной неопределенного возраста и редкой седой бородой. Фаруз все это время пребывал в забытьи, только изредка приоткрывая ничего не понимающие глаза. Я отдал врачу остатки наших аптечек, вручил сотню баксов, которые он принял небрежно и как само собой разумеющееся. Несколько дней, пока Фаруз не пришел в себя, я помогал врачу поить его отварами и смазывать мазями. Но сначала пришлось вскрыть большой гнойник, отравлявший моего спутника. Тут пригодились и я, и Рахман, и перевязочные материалы, которых было в избытке, и склянка с медицинским спиртом.

Все это время мы жили в отдельной комнатке, отданной в наше распоряжение. Кормили хорошо, каждый день плов, овощи. Через неделю Фаруз пришел в себя. Еще несколько дней он набирался сил. Я начал узнавать прежнего, жизнерадостного и насмешливого Фаруза. Прощаясь, я вручил еще две сотни Рахману и две врачу. Они немного поупирались для приличия, но деньги все же взяли. Гонорар по здешним меркам очень приличный. Но ведь на карту была поставлена жизнь.

Когда собрались в дорогу и я вышел за дувал Рахмана налегке, Фаруз непонимающе уставился на меня. В испуганных глазах был один и вполне понятный вопрос: где? Мне вполне понятен был его страх: потеря груза означала потерю всего. Я непринужденно обнял его за плечи и успокоил: в надежном месте. За это время можно было перетащить к Рахману и наши рюкзаки, но я отказался от этой мысли — из соображений общей безопасности, как нашей с Фарузом, так и Рахмана. Не надо вводить в соблазн ближних своих.

Провожая нас у своего глиняного забора, Рахман, мешая таджикские слова с пуштунскими, очень сердечно произнес:

— Пусть таких дней в вашей жизни будет как можно меньше. Пусть всегда сопровождают вас мир и покой. И в доме, и в дороге. Идите с Аллахом. Он вас не оставит.

Когда немного отошли, я еще раз оглянулся, чтобы махнуть Рахману рукой. У соседских домов, как и у дома Рахмана, стояли люди и махали нам руками. Также махали нам и ребятишки на крышах. Я вспомнил, как махали мне — родные, соседи, друзья — еще в моей Блони, когда я высунулся из открытого окна автобуса и в последний раз махнул им рукой. И тогда, как и сейчас, на глаза навернулись слезы. Но показать их Фарузу мне было неловко. Поэтому немного ускорил шаг и пошел первым по тропинке, которая вела нас к нашим припрятанным рюкзакам. С ними оказалось все в порядке. Хотя и нашел я их не с первого раза. Только увидев свое богатство, Фаруз успокоился окончательно и благодарно обнял меня. Он не сказал мне ни слова, но его взгляд был красноречивей всяких речей.

16

Через двое суток, прошедших, слава Аллаху, без приключений, — норму перевыполнили — показались первые дома Кундуза. Теперь мы уже прятали наши рюкзаки вместе. Вернуться за ними должны были с заказчиком. А с его легкой руки это зелье пошло бы в широкий мир, неся кому-то краткое счастье, кому-то забвенье от горя, кому-то долгожданную, освобождающую от всех тягот смерть. Когда же, наконец, жизнь станет достойной человека? Да

поможет нам всем Бог, Аллах, Будда и тысячи других богов очистить землю от нечисти, а небо от железных птиц, неустанно сеющих смерть.

Налегке мы вошли в Кундуз, заглянули на базар, бесконечно тянущийся с запада на восток под навесами от солнца. Тут кто-то хлопнул Фаруза по левому, многострадальному плечу. Он охнул и присел от боли. Но тут же начал улыбаться — приложил его давний знакомец.

— Дорогой, обниматься не будем. Здоровье не позволяет. Добра и мира твоей семье!

— Добра и мира и твоей семье! Покой ушедшим! Времена теперь неспокойные, береги себя, дорогой Фаруз! Чтобы в следующий раз я смог тебя обнять, как бывало.

Мы со знакомцем Фаруза тоже обменялись приветствиями и пожеланиями добра и мира.

Родные Фаруза приняли меня как сына. Как могут принять человека, который спас их брата от гибели? Хотя, конечно, ничего сверхъестественного, по моим понятиям, я не совершал. Но дело было в том, что в этом неестественном мире я отваживался жить по естественным человеческим законам. По законам, которые вошли в меня с молоком матери, со словами деда и отца. Жить вопреки этим законам было просто невозможно. Да и в конце концов, в моих интересах было пройти этот смертельно опасный путь с Фарузом, Арманом, Джафаром. Нам с Фарузом повезло. Ведь кто-то же должен выжить и на этих горных тропах — чтобы жизнь продолжалась.

Как Фаруз передал рюкзаки с наркотиками заказчикам — не знаю. Он справился с этим без меня, не хотел засвечивать, потом могли бы возникнуть какие-нибудь проблемы. Чем дальше ты будешь от этого дела, тем лучше. Даже малейшее подозрение на твой счет может стоить тебе жизни. Он также предупредил, чтобы никому, даже его родным, не проговорился о гибели двоюродного брата и Армана. В свое время он им все расскажет. А пока будем говорить, что они задержались в пути. Их долю получат родители. Признаться, я немного сомневался в этом, наблюдая, каким быстрым и расторопным стал мой еще недавно чуть живой спутник. Он постоянно пропадал на базаре, о чем-то договаривался, кому-то что-то обещал, а у кого-то даже требовал. Я понял, что в своем бизнесе Фаруз не из последних.

Получив деньги, Фаруз разделил их на четверых — поровну всем, в том числе и мне. Я начал отказываться:

— Ты превращаешь меня в наркодельца! Я не хочу зарабатывать на этом деньги.

— Хочешь не хочешь, а заработал. Только благодаря тебе мы доставили груз. Только благодаря тебе я живой. Нет, ты должен взять деньги. Ведь у тебя впереди новая дорога. Кто знает, что тебя там ждет? А доллары и у таджиков доллары. Перестань упрямиться. Считай, что это доллары не за наркоту, а за мою благополучную доставку. Ты же мог и не знать, какой у меня товар. А вообще-то мир сошел с ума: мы ненавидим американских кафиров, травим их наркотиками, но в то же время больше всего ценим их деньги. Нет, я не хочу больше ни о чем думать — можно голову сломать.

На базаре я купил китайские кроссовки с намерением прошагать в них до самой Блони. Когда снял в последний раз свои галоши родного производства — красная байковая подкладка уже вытерлась, резина потрескалась — на глаза навернулись слезы.

Расхаживая по городу, я обнаружил там и баню. На следующий день мы с Фарузом посетили это заведение. Конечно, температуры там не наши, больше горячего тумана, но все равно было приятно впервые за много лет

испытать почти забытое наслаждение. Выйдя из бани, одетый во все чистое и новое, я почувствовал себя моложе лет на десять и ощутил прилив сил и уверенности в том, что все будет хорошо. Так что же я медлю?

Тут же напомнил Фарузу о своей единственной просьбе — помочь организовать переход в страну таджиков. И как можно быстрее. Веками так сложилось — не только здесь, во многих странах мира, — что вдоль границ между государствами с двух сторон живут представители одной и той же нации. Но связь между родственниками, несмотря на все преграды, никогда не прерывалась. До сих пор умерших на одной стороне могут хоронить на родовом кладбище с другой стороны границы. Конечно, традиция эта поддерживалась и теми, кому организация таких похорон была выгодна. Контрабандисты всех мастей издавна использовали этот канал для своих целей. Разумеется, при явном попустительстве пограничных властей. Ведь они тоже имели некоторый приработок на таких аферах.

Переправить меня на тот берег Пянджа было решено в качестве покойника. Вначале меня это несколько встревожило. Но, познакомившись с деталями операции, признал этот путь вполне приемлемым. Тем более что операция была отшлифована до мельчайших деталей. Хотя властям все было известно и, казалось, можно проводить церемонию не так убедительно и достоверно. В какой-то мере такие похороны становились развлечением для всех, кто принимал в них участие. Поэтому достоверность происходящего ценилась превыше всего.

Через несколько дней, которые Фаруз провел неизвестно где, он вернулся усталый, но довольный:

— К похоронам все готово. Ждут только покойника. Но, может, ты бы еще не умирал, погостил у нас? Мне так не хочется расставаться с тобой. Ты стал мне как брат.

— И ты мне стал как брат. Но там меня тоже ждут.

— Тогда в понедельник утром нам в путь. Как сурово говорят: в последний путь. В понедельник мы станем участниками большого спектакля. И главная роль будет принадлежать тебе — уважаемому покойнику, которого быстро несут, постукивая посохами. Кстати, чтобы тебя не обидеть, как говорят на Востоке, с тебя тысяча долларов. Хотя переправа на тот берег стоит дороже. Остальные расходы беру на себя. Людей надо кормить, нанять транспорт, немного отстегнуть пограничникам, чтобы не тыкали покойника щупом. А главное, надо не обидеть женщин-плакальщиц. Они могут так выть, что все похолодеют и никому не придет в голову проверять — жив покойник или не очень. Должен сказать, что ты не первый и не последний, кто переходит на ту сторону самым надежным способом. Можно было, конечно, сэкономить — ночью перебраться через реку вплавь. Но тут нет гарантий, могут подстрелить. А скорее всего, так замерзнешь в ледяной воде, что прямиком отправишься на тот свет. Станешь настоящим покойником. Кладбище, куда тебя повезут, находится довольно далеко от границы. Там уже никаких постов. На тебя наденут белый саван, завернут в ковер, сверху атласное зеленое покрытие, положат на носилки, поместят в кузов и довезут до моста. Там снимут и понесут через мост. Дело пограничников подсчитать людей — их количество на обратном пути должно остаться точно таким же. Ты можешь спокойно дышать и даже чихать. Потому что переход с границы и до кладбища люди будут нести твой «труп» почти что бегом. Такова традиция захоронения — если умер ночью — то надо хоронить до обеда. А если утром, то до захода солнца.

Я выслушал план Фаруза, все было разумно, но что-то во мне сопротивлялось такому преодолению границы. Уж лучше ночью через ледяную реку. Почему-то меня очень смущал саван.

— Я на голое тело его не надену.

— И не надо, — согласился Фаруз, — будешь в одежде, как и все.

— И посох должен быть со мной. Это мой талисман.

— Я положу твой талисман рядом, раз он тебе так дорог. Ты что, собираешься там овец пасти? Зачем тебе посох?

— Он еще мне пригодится, много злых собак на дорогах.

— Ты хорошо сказал про злых собак. Я бы сказал: еще много бешеных псов, которым надо хорошо приложить. Ну, тогда Аллах нам в помощь...

В понедельник все произошло именно так, как рассказывал Фаруз. Женщины-плакальщицы так громко голосили свои жалобные и хорошо вызубренные песни, что мне самому — в саване, в ковре, с посохом — становилось не по себе. Мужчины редко, но подхватывали отдельные слова. Очень быстро под общий хор печали мы оказались за границей. Фаруз шел рядом и вел прямой репортаж с моих похорон:

— О Аллах! Ты видишь наше горе... мы переходим мост через речку... И слуга твой предстанет скоро перед тобой. Помилуй его и прости. О Аллах! Мы поднимаемся на пригорок, а там, скрытый от глаз слуг государства, найдет твой слуга свой вечный покой...

Наверное, впервые за последние годы мне очень хотелось смеяться. Попросту хохотать — да так, чтобы слышали в родной Блони. Единственно, чего опасался, когда меня несли тряской мелкой рысью, так только того, что кто-нибудь споткнется и меня уронят прямо на глазах всех зрителей проплаченного спектакля. Только не это. Только бы не сорвать это так хорошо подготовленное Фарузом представление.

На кладбище мужчины бережно опустили носилки с моим телом, сняли атласное покрывало, развернули ковер и сняли с меня саван. После некоторых колебаний саван положили в могилу и присыпали ее. Ковер и покрывало забрали с собой — еще пригодятся. Все участники погребального шествия подходили ко мне, пожимали руку, желали здоровья и долгих дней. Последнее объятие было с Фарузом. Оба прослезились. Понимали, что больше не увидимся.

— Иди за солнцем, иди днем и ночью. Придешь в главный город таджиков — Душанбе. Там уже другой мир. Стрелять там давно перестали. Ты стал мне братом, а с братом расставаться всегда трудно. Помни, что двери моего дома, двери дома моих родителей для тебя всегда открыты. Да хранит тебя Аллах! Дай нам силы пережить страдания нашего народа! А это тебе на дорогу, — прозаически завершил Фаруз, протягивая мне узелок, — надо же в дороге как-то питаться.

Я умер и снова воскрес. Умер для прошлой жизни и родился для новой. Мой способ переправки через границу казался теперь очень символичным. Испытывая неожиданный прилив сил, — впрочем, столь естественный для новорожденного, — с посохом на плече и узелком на посохе, я шел в направлении, указанном Фарузом, — за солнцем. Моей главной задачей было отойти как можно дальше от бывшей советско-афганской границы. Теперь, конечно, граница была чистой условностью. Зараза бизнеса постепенно завоевывала себе новые пространства. Складывалось впечатление, что в недалеком будущем все нравственные ценности и духовное богатство народов станут никому не нужными. И человек окончательно потеряет с таким трудом освоенную человечность. Все благое и доброе сойдет на нет.

Но несмотря на невеселые мысли, я все же надеялся, что все в моей жизни теперь складывается как надо. Вскоре вышел на трассу, которая вела

к городу Курган-Тюбе. Двигаясь по обочине, с удивлением наблюдал оживленную дорогу, заполненную в основном огромными фурами, украшенными английскими и китайскими надписями. Я даже не пытался их останавливать: они пролетали мимо, натужно и сердито рыча. Но через час оказался у одной из них, притормозившей зачем-то на обочине. По огромной надписи на боку я понял, что она из Румынии, из Бухареста.

— Салам алейкум! — поприветствовал стоящих у кабины двух чернявых мужчин.

— Алейкум вассалам! — откликнулись они, явно разглядывая меня как местную достопримечательность. Я нарочно разговаривал с ними на пушту, чтобы не возникало ненужных вопросов.

Тот, что постарше, спросил по-русски:

— Куда направляетесь, дедушка?

Я сделал вид, что не понял вопроса. По акценту его можно было принять за прибалта. Видно, русский осваивал еще в школе. Тогда мужчина показал на кабину и еще раз спросил:

— Может, подвезти?

— Курган-Тюбе — ответил я, как будто что-то понял.

— По дороге, берем.

Они помогли мне взобраться на своего монстра и через некоторое время, докурив, тоже заняли свои места. Тот, что постарше, сел за руль, а молодой и не очень приветливый улегся за нашими спинами, задернув шторку. Видно, он только что отсидел свою смену и теперь должен отдыхать.

— Так что, отец, русский уже забыли?

— Немного понимай. Говори плохо.

— Хорошо, что понимай. А то пришлось бы по-английски. Едем мы из Кабула, привезли им помощь, не знаю, правда, кому она там достается. До бедных, конечно, не доходит. Ну, это не мое дело. Я простой человек, кручу баранку туда, куда скажут. Семью-то кормить надо. Думали, когда скинули Чаушеску, что тут же райская жизнь начнется. Сейчас работаем в десять раз больше, чтобы удержаться на том же уровне, что и при нем. Куда только не забрасывает нас судьба — и все только ради несчастного заработка. Про мошенников разных не говорю. Им всегда хорошо. Ну скажи, отец, почему это так, что честному человеку нет в жизни дороги?

Возле поворота на Курган-Тюбе меня высадили. Я с благодарностью пожал руку водителю:

— Большой спасибо, Мирча. Добра и мира тебе!

Первым делом я отправился на базар. Там чувствовал себя абсолютно защищенным. Приглядываясь к людям вокруг, понял, что немного выделяюсь одеждой. Чтобы обновить свой гардероб, разменял сто долларов на сомони. Прошелся по рядам и приобрел, не торгуясь, не вступая в разговоры с продавцами, все, что показалось нужным: брюки, чапан-халат местного образца, тюбетейку и красный платочек руймол — чтобы подпоясываться. Переодевшись за палаткой, я стал внешне таким же, как все, и ничем не выделялся из базарной толпы. Это давало дополнительное чувство покоя и защищенности. Чтобы укрепить это чувство, заглянул в небольшую забегаловку, не блещущую чистотой, и взял две порции мантов — больших пельменей. Посетил и туалет. Он оказался таким же грязным, как и на афганских базарах.

При выходе из торговых рядов меня опять удивило изобилие импортных машин — японские, немецкие, французские. Из советских чаще всего попадались черные «Волги» и армейские уазики. Да и сам базар, хотя и не такой вытянутый, как в Кундузе, тоже поражал разнообразием товаров. Очевидно,

что с дефицитом на территории бывшего Советского Союза было покончено. Но неужели для того, чтобы избавиться от дефицита, надо было уничтожать великую страну?

Обследовав окрестности базара, обнаружил и автобусную станцию. Оказался там и микроавтобус с надписью «Душанбе». Оставалось как раз одно свободное место. Расслабившись в непривычно удобном кресле, начал поклевывать носом, а потом, привалившись к оконному стеклу, просто заснул. Так что дорога до главного города таджиков пролетела незаметно. Снилось мне, что водитель объявил: «Те, кто до самой Блони, остаются на своих местах». Но тут же почему-то начали будить.

— Дед, подъем! — молодой водитель бесцеремонно тряс меня за плечо. — Душанбе! Базар! Конечная!

Да, с уважением к старшим на бывшей территории Союза слабовато. Моих сомони на оплату дороги не хватило. Но парень согласился и на доллары. Хотел даже дать сдачу с двадцатки — в местной валюте. Я отмахнулся. С явным уважением он распахнул дверь. Я вышел полусонный, еще витающий в приятных сновидениях. Не успел сделать пару шагов, как водитель догнал меня.

— Отец, палку свою забыл. Увесистая.

Меня несколько покоробило: «палка»! Думаю, если бы он знал, что дает ей вес, то отнесся бы к моему посоху с большим уважением.

— Отец, назад поедешь, найди меня. Я буду тут через три часа.

После двадцати долларов я на порядок помолодел — сразу перешел из дедов в отцы. А если бы кинул сотню, так стал бы и братом. Очевидно, что американская зараза добралась и до Таджикистана.

Базар, собственно, мне был уже не нужен. Но у входа продавали много разной вкусной и дешевой всячины. Решил попробовать самбус. Убедился, что это очень вкусно. Взял еще порцию. Потом позволил себе и слоеный пирожок. Нет, надо уходить отсюда, а то просто объемся. Теперь мне нужно что-то другое. Не знал точно, но чувствовал, что оно должно быть где-то рядом. Медленно обходя базарную площадь, разглядывал вывески.

Остановился у парикмахерской. Не мешало бы принять более цивилизованный вид. Хотя нет, еще рано, это можно отложить на потом. Прихотливо блуждающий взгляд неожиданно замер на неказистой вывеске «Автозапчасти». Я подумал, что вот заведение, в котором мне действительно ничего не нужно. Чтобы быть абсолютно в этом уверенным, поднялся по выбитым ступеням и толкнул тяжелую массивную дверь. С озабоченным видом расхаживал между полок, задерживался, снова разглядывал абсолютно ненужные мне вещи.

Наблюдая мою нерешительность, продавец лет сорока в халате и тюбетейке подошел и поинтересовался, не может ли чем-нибудь помочь уважаемому аксакалу. Он спросил меня на чисто русском, с вологодско-владимирским оканьем. Таким же, как и у старшего сержанта Гусева. Его голубые глаза доброжелательно разглядывали меня. Заколотилось сердце. Я понял, что это тот шанс, который я не должен упустить.

— Да, да. Много помогать. Надо... надо для ишака руль купить. Колес купить. И еще много стекол, — намеренно шутил я, зная, что хозяин принимает меня за самого настоящего таджика.

Продавец сразу понял и принял мой юмор.

— Дедушка, в Душанбе ишаки сами знают, куда идти, без руля. Руль сидит на ишаке и дает команды. Колеса не надевают на ноги ишаку, а подковывают. Насчет стекла ты совсем ошибся. Может быть, защитные очки для ишака?

Продавец, улыбаясь, ждал ответной реакции. От переполнявшей самому еще не понятной радости, я совсем разволновался и какое-то время не мог ничего сказать. Неожиданно вырвалось:

— Сколько тебе лет, сынок?

— Скоро 37.

— Ну вот, дорогой, и мне тоже будет скоро 37. Так что в дедушки тебе не гожусь.

Продавец оторопел. Он внимательно изучал мой наряд, бороду. Потом посмотрел по сторонам — в дальнем углу о чем-то спорили двое мужчин в халатах и тюбетейках — и, понизив голос, спросил:

— Так ты не местный?

— Нет, дорогой, извини за шутку. Я из Советского Союза. А в нем была такая страна — Беларусь. Слыхал?

Он опять заулыбался, расслабился.

— Я тоже из Советского Союза. Русский. Владимир из Владимира. В госпитале приглянулась одна сестричка. Наполовину русская. Увез домой, а тут началась гражданская война. «Вовчики» пошли на «юрчиков». Двести тысяч народу укокошили. Сейчас осел здесь, жена не смогла привыкнуть к российскому климату. В Россию регулярно мотаюсь за запчастями для «Волг» и «Жигулей», даже для тракторов «Беларусь». Привожу по заказам и запчасти для иномарок. Так что на жизнь хватает.

— А я Глеб, Березовик. Ты что — тоже был в Афгане?

— Пять месяцев. На дембель из госпиталя ушел.

— А я вот возвращаюсь только сейчас.

— Подожди, подожди! Ты что, серьезно?

— Серьезнее не бывает, брат. Не бывает серьезнее. Восемнадцать лет русской речи не слышал.

Володя быстро повесил табличку «Закрыто по техническим причинам» и провел меня в заднюю комнатку. Там за традиционным зеленым чаем с владимирским медом мы и продолжили наше знакомство. Оказалось, что и в крепости Бала-гиссар он был, и в Бамиане, и в Джелалабаде, — только на полгода раньше, призывался осенью 1985-го. А однажды они выскочили даже в Пакистан. Только когда увидели поезд, сообразили, что попали куда-то не туда, — в Афганистане железных дорог нет. О том времени у него сохранились самые лучшие воспоминания. Все плохое забылось. А те, кто вернулись, говорил он, психологически были уже готовы и к той жизни, которая обрушилась на них дома.

— Конечно, некоторые ломались. Некоторые ушли в криминал, но основная масса выстояла. Я, например, создал семью, родил детей только потому, что получил опыт выживания на той непопулярной войне. Пойми, Глеб, если бы не мы, те, кто прошел Афган, от России, может, уже ничего и не осталось бы. И от Беларуси твоей. Куда ни ткнись, на всех ключевых постах среднего уровня, где все и решается, сейчас наши люди. Ведь это около полумиллиона молодых и сильных мужчин, знающих, что такое долг, порядок, дисциплина. И тут поневоле начинаешь задумываться: а может, наше престарелое Политбюро, само того не подозревая, последним и как будто безумным решением все-таки подготовило страну к сегодняшней жизни?

Внимательно выслушав мою историю, задавая неожиданные вопросы и получая на них простые и ясные ответы, Володя успокоил меня:

— Если все, что ты говоришь, правда, то никаких проблем я не вижу. Максимум за неделю сделают тебе документы, и покатишь спокойно в свою родную Беларусь. Сегодня же я сведу тебя с одним парнем из посольства,

тоже афганец. Классный мужик. А я тебе верю — каждому твоему слову. Да, жить будешь у меня. Точнее, рядом со мной. Теща недавно умерла и завещала квартиру внучке. Правда, пока жить отдельно ей рановато, а вот тебе квартирка в центре города пригодится. За один день такие дела не делаются. И помни, часто все решает первое впечатление: если тебе поверят, то необходимые формальности пройдут довольно быстро. А вот если усомнятся, то проверять будут долго. Может, заглянут и в картотеку ЦРУ. Как, ты готов сегодня к неофициальной встрече?

Я немного замялся. Он понял мою нерешительность и сказал, что сегодня отдых — ведь еще утром ты был на той стороне. Главное — выспаться и быть к завтрашнему дню как огурчик. Володя критически оглядел мой наряд и сказал, что прикид пока менять не надо. Он тоже работает на достоверность. «По тебе видно, что ты к нему привык, а не переоделся перед появлением у нас, чтобы вешать лохам лапшу на уши. — И неожиданно захохотал: — «Руль для ишака!» Нет, не могу я с этим березовым белорусом».

Включив холодильник и разместив там купленные на базаре продукты, — тот же самбус и манты, — Володя обнял меня и ушел домой — в соседний подъезд. Впервые за много лет я оказался совершенно один в благоустроенной, со всеми удобствами квартире. Я дергал ручку унитаза и слушал журчанье воды, открывал кран в ванной комнате и снова закрывал. Текла то горячая, то холодная вода. Обычные блага цивилизации казались мне чудом. Наполнив ванну, я так разнежился в ней, что уснул. Проснувшись, осторожно перебрался на тахту и отключился от реальности еще часов на десять. Поспал бы дольше, если бы не телефонный звонок. Володя приглашал завтракать.

Можно сказать, что это был деловой завтрак. Жена ушла на работу — она у него врач. Работает в том же госпитале, где когда-то начинала медсестрой. Образование получила в России. Дочка — в школе, заканчивает девятый класс. Володя постоянно звонил по своему мобильному телефону. Я тоже подержал в руках этот маленький изящный прибор. Надо же, всего за двадцать лет громоздкие приборы превратились в карманные безделушки. А кроме этого в комнате дочки я увидел портативный компьютер — ноутбук. Из Интернета можно было скачать любой фильм, записать его на диск. На небольшом таком диске спокойно умещалось три фильма. Я еще не знал, что компьютер скоро тоже сыграет свою роль в моей жизни. При мне Володя связался с майором и подтвердил, что мы будем у него в точно назначенное время.

— Иногда, — заметил Володя, — самые сложные дела решаются очень просто. Если, как говорится, они попадают в ритм осуществления. Мне кажется, что ты попал в этот ритм.

Возможно, это именно так, как говорил Володя. Первый толчок этого ритма я ощутил, когда оказался возле магазина запчастей. Видно, Аллах самолично передал меня в руки Володи. Чтобы больше со мной не возиться — слишком много хлопот я ему доставил.

В кабинете майора Игнатова мы начали с черного чая, большим любителем которого он был. Выпив пиалушку, Володя оставил нас. Я снова рассказывал свою историю, ощущая на себе пронзительный взгляд профессионального разведчика. Но этот взгляд меня не смущал — скрывать мне было нечего. Я не повторял постоянно, как вчера у Володи, что все это правда. Я знал, что мне нечего скрывать, а они сами разберутся — все-таки профессионалы.

Потом написал заявление, заполнил анкету, где указал место призыва. Также упомянул командиров роты, взвода — и тут не отпускает меня мой старший сержант Гусев. Назвать точно место, где попал в плен, не смог. Легко

ответил, где проживал все это время. В графе «семейное положение» написал непривычное для меня слово «вдовец». «Сотрудничал ли с иностранными разведками? Привлекался ли к участию в военных операциях против ограниченного контингента советских войск?» Прочитав эти вопросы, я возмущенно поднял голову на майора.

— Это не я придумал. Стандартная анкета. Думать не надо. Да — нет.

Потом меня сфотографировали, фотографию перенесли на компьютер. Майор пояснил, как они удостоверятся, что я — это я.

— Мы пошлем запрос в военкомат по месту призыва. Там должно храниться твое личное дело. Они пришлют нам его по факсу. А главное — пришлют и твою фотографию.

— Но я ведь очень изменился! — не выдержал я.

— А вот для этого мы тебя сфотографировали. Компьютер сравнит твои фотографии и скажет нам, что они принадлежат одному и тому же человеку — Глебу Березовику. Если, конечно, ты не засланный казачок и только выдаешь себя за Глеба Березовика. Но должен сказать сразу: я не компьютер и мне не нужно ничего сравнивать. По глазам вижу, что ты говоришь чистую правду. Да и все жесты, которые непроизвольно совершал, говорят о том же.

После того как заполнил все бумаги, майор Игнатов отвел меня к послу. Он тоже внимательно окинул меня взглядом и решительно протянул руку:

— С возвращением! Как говорится, лучше поздно, чем никогда. — И, повернувшись к майору, распорядился: — Сфотографировать для истории, побрить и переодеть. А там будет видно. Обеспечить жильем, питанием, выдать денежное пособие в размере... в размере... там уточнишь у бухгалтера, сколько можем потратить на нашего возвращенца. По максимальной. Запрос послать сегодня же. Кстати! С вами хотела бы побеседовать известная московская журналистка Людмила Синицына. До событий она жила в Таджикистане, объехала весь мир, а вот в Афганистане бывать не довелось. Вы не против?

— Ну не съест же она меня.

Посол рассмеялся.

— Может, и не съест, но уж выпотрошит — это точно. К тому же она очень интересная женщина. Будьте бдительны — чтобы потом не возникло проблем. А то до Беларуси своей не доберетесь.

На прощанье посол еще раз пожал мне руку. Чувствовалась в нем армейская косточка — и по разговору, и по штатскому костюму, сидевшему на нем, как мундир.

Потом в кабинет майора набились сотрудники: всем хотелось посмотреть на человека, вернувшегося с войны спустя 18 лет. Я был смущен таким вниманием к моей особе и был просто благодарен журналистке, которая вытащила меня из этой прокуренной комнаты.

17

Рядом с ней я вдруг почувствовал себя в своем, как говорил Володя, «прикиде» вахлак вахлаком. Впервые ощутил прелесть уже не молодой, но очень обаятельной, стройной и душевной женщины. Раньше с такими женщинами встречаться не приходилось. Она предложила мне просто прогуляться по ее все еще любимому городу, где она была так счастлива когда-то. Она ни о чем не спрашивала, только периодически задерживала на мне взгляд. Мы подошли к дому, где до войны у них была большая трехкомнатная квартира, которую вынудили отдать за две тысячи долларов. «За эти деньги в Москве можно купить половину квадратного метра — только чтобы стоять рядом друг

с другом. С тех пор так и стоим. Вот уже лет двадцать то снимаем, то ютимся у друзей». Заработать на жилье практически невозможно. А она в основном живет в дороге. Вот недавно прилетела из Америки, проехала на автобусе от океана до океана и увидела Америку, которую нам не показывают — страну бедных и жестко выдрессированных людей.

Мы присели в тенистом парке на скамеечку, с которой виднелись горы, окружавшие город. Не знаю почему, — может, от сочетания привычного афганского горного пейзажа с непривычным обаянием незнакомки, — но я вдруг заговорил с ней так, как никогда не говорил ни с кем — ни до, ни после этого. Прорвалась какая-то невидимая плотина. Я говорил быстро, взволнованно. Слова находились сами — яркие, убедительные. Она слушала меня три часа. За все это время я не уловил и тени скуки, притворной вежливости — меня слушали так, как иссохшая земля впитывает долгожданную влагу.

Когда я наконец замолчал, она осторожно приложила к глазам уже совсем промокший платочек. Хорошо, что она не пользовалась тушью, а то все лицо было бы в грязных потеках. Немного помолчала, ожидая, что еще что-то добавлю. Но я выплеснулся весь. Тогда она сказала, что я должен обязательно написать обо всем, что пришлось пережить. «Судя по рассказу — у вас это должно получиться».

Написать? Мне это пока не приходило в голову. Я ведь жил не для того, чтобы писать об этом. Но, кто знает, может, когда пережитое немного остынет и не будет так обжигать душу, все-таки попробую и написать. Но хорошо ей говорить об этом — ведь она профессионал. А кто я? Недоучившийся студент. Бедный афганский крестьянин. Наркокурьер.

Людмила записала мои координаты — белорусские. Дала свой московский адрес, телефон. И пообещала прочитать все, что я напишу. Расстался я с ней окрыленный. В конце концов, а почему бы и не написать? Не боги горшки обжигают. В таком приподнятом настроении я появился в магазине у Володи. Как раз к обеду.

Обедать решили в ресторане — я достал 100 долларов.

— Черт с ним, с эти бизнесом! Такое событие надо отметить.

Володя позвонил майору Игнатову. Тот перезвонил своему приятелю — моему земляку из Бреста — Грише Антиповичу, уже подполковнику, тоже моему ровеснику. В конце концов встречу перенесли на вечер в моем новом жилище — без лишних глаз и ушей. Холостяцкий ужин прошел в теплой обстановке. Расходились далеко за полночь, немного хмельные, не столько от выпитого, сколько от разговоров. Зрелые, много испытавшие за последние годы мужчины — за спиной у Гриши была еще и Чечня — говорили все, что думали, а думали они о многом. Заодно просвещали меня и о положении в стране. О том, что наконец в России пришел к власти не безответственный трепач или пьянчужка-дуролом, но человек дела. Кстати, в Беларуси такой человек уже давно у штурвала. Да другого президента белорусы и не держали бы. Последний бокал шампанского — в таком климате это единственно приемлемый напиток — был за белорусов, которые, по выражению Гриши, просто последняя надежда человечества. Потому что у них водятся такие Березовики. Или Подберезовики?

Совместными усилиями мы усадили Гришу в такси и, еще раз обнявшись, разошлись по домам. Я впервые почувствовал, какое это счастье — свой, хотя и временный, дом. Мне вспоминались многомесячные ночевки под открытым небом, когда был счастлив только тем, что удается хоть немного согреться и уснуть. А теперь я могу принять ванну — и снова принял ее, и снова уснул в ней.

Факсы пришли через три дня. Петя, то есть майор Игнатов, пригласил меня присутствовать при сличении фотографий. Он ввел в компьютер, где уже была моя сегодняшняя фотография, только что полученную фотографию молоденького парнишки. Включил программу сличения, и через три минуты получил результат: совпадают на 99,99%. Чему майор ничуть не удивился.

— Ну, теперь можно стричься, переодеваться. И еще раз сфотографироваться. Для нового документа. Ведь у хорошего парня должны быть хорошие документы. Иначе могут подумать, что он плохой парень. Все остальные получишь дома. Да, через день планируется армейский борт на Москву. Постараемся воткнуть. Думаю, ребята будут не против. А не хочешь посмотреть, как ты будешь выглядеть через тридцать лет?

Я непонимающе взглянул на него.

— Темнота, сразу покупай комп и осваивай. — Он снова открыл мои фотографии. Выделил последнюю. Быстро пощелкал, и через минуту на экране возникло лицо моего деда Гаврилки. Таким он был, когда я уходил в армию. Потом Петр произвел такую же операцию с моей юношеской фотографией. Состарил ее на сорок восемь лет. Возник опять дед Гаврилка, но только не такой изможденный, как на первой.

Потом майор Гаврилов занялся моими «хорошими» документами. Но что-то у него не выходило. Он бегал по кабинетам, что-то доказывал, согласовывал, два раза разговаривал даже с Москвой — предварительно попросив меня немного погулять во дворе. Все же через три часа, довольный, он показал мне настоящий военный билет — правда, пока без фотографии. Из этого документа узнал, что мне присвоено звание капитана. А время пребывания на чужой земле включено в срок моей военной службы. Получалось, что, трудясь на террасных полях Сайдулло, выращивая помидоры и огурцы, я одновременно выращивал и звездочки. Когда поднял удивленные глаза на Гаврилова, он успокоил меня:

— Нормально. Это чтобы не создавать тебе, да и себе, кучу бумажной волокиты. Небольшое искажение реальности во благо. По этому билету ты быстро получишь и гражданство, и паспорт. Тем более что со временем захочешь снова побывать там, где оставил свои лучшие годы. Ведь детей навещать надо? Я прав? — уже майор Гаврилов, а не приятель Петя твердо и требовательно глядел на меня.

Возразить майору Пете Гаврилову мне было нечего. Понял, что мой новый друг одним выстрелом убил двух зайцев — оказал большую услугу новому знакомцу и одновременно ведомству, в котором служил. Видимо, для этого ведомства я представлял определенный интерес. А пока он отправляет меня в долгосрочный отпуск. С соответствующим денежным содержанием. Но может истребовать меня оттуда, когда возникнет оперативная необходимость. Теперь я понял, почему он дотошно выяснял, на каких афганских языках я могу общаться. Для проверки задавал мне в шутку вопросы и на пушту, и на дари.

Честно говоря, все это мне не очень нравилось — у меня опять появился хозяин. Но возражать Петру не мог — после всего, что он для меня сделал. Да и Володя, видимо, тоже причастен к их непростым делам. Чистым мог быть только Гриша — он вел себя на нашей дружеской пирушке наиболее раскованно. А Володя и Петр все же не позволяли себе расслабиться окончательно и пили, как и положено в их конторе, не пьянея. Но меня им напоить не удалось: видимо, возбуждение сжигало алкоголь. Да я большей частью только делал вид, что пью с ними на равных.

Я подписал еще одну бумагу — о неразглашении конфиденциальных сведений личного характера. «Никому, — выразительно подчеркнул Гаври-

лов, — в курсе только ты и я». Потом майор отвел меня в бухгалтерию — за отпускными, как пошутил он. Я расписался в двух ведомостях и получил нераспечатанную пачку американской валюты. Теперь я не знал, что с ними делать. Поделиться с моими новыми друзьями? Майор читал меня как открытую книгу. Выйдя со мной во двор, приобнял меня за талию и отвел подальше от главного входа, в тень смоковницы, почти такой же, как во дворике Сайдулло.

— Глеб, успокойся. Эти деньги твои. Хотя, возможно, тебе придется их отработать — после того, как ты пройдешь полную официальную проверку. Так требует Москва. И, кроме того, для будущего разведчика ты не очень внимателен. Ведь ты получил деньги только по одной ведомости. Хорошо, что я стоял рядом. Деньги по второй ведомости, — он достал такую же пачку, — пойдут выше. Передашь их полковнику. Не я завел этот порядок и не мне его менять. Сейчас такое время. Ведь вопросы надо решать любыми способами. Такого перспективного кадра, как ты, я не мог выпустить из своих рук. Думаю, что и белорусское КГБ тебя бы сразу приватизировало. А ты мне, в самом деле, очень понравился. У тебя, как у прирожденного разведчика, очень высокая проникающая способность и потрясающая интуиция. Знаешь, что у меня вызвало самое большое подозрение? То, что ты сразу вышел на Володю, а не поперся прямиком в посольство. Надеюсь, что со временем тебе можно будет доверять самые сложные дела. Кстати, уже одно дело получило твое имя — «Привет от Халеба». Думаю, что сможем завербовать и привлечь Фаруза. Нам нужен полный контроль над путями транспортировки наркотиков. В этом деле ты видишься мне одной из ключевых фигур. Я уверен, что тебя не смогут перевербовать ни за какие деньги. Ты, как и я, тоже из Советского Союза. Думаю, что к пенсии мы дослужимся с тобой до полковников. Если, конечно, доживем. А вообще ты родился в рубашке. Весь твой взвод, попавший в засаду, погиб. Но человека, который продал вас, скоро вычислили и расстреляли. Теперь дуй к Антиповичу. Он должен тебя привести в европейский вид. Но форму получишь только полевую. В ней и подойдешь к нашему фотографу. Встречаемся вечером в ресторане — просто веселимся, никаких разговоров. Мы будем с женами, а ты мог бы пригласить и журналистку. Уж очень ты ее разжалобил. Чего ей одной скучать в номере? Да, ресторан за твой счет — чтобы тебе не было обидно, как у нас говорят. О, черт, забыл еще предписание для железной дороги!

Мы еще раз заглянули в посольство, я получил нужную бумагу и отправился на переодевание. Но сначала Антипович послал меня в парикмахерскую, а потом, когда я помолодел лет на двадцать, отправил в каптерку к старшине. Тот быстро подобрал новенькую песчанку — почти такую же, как была у меня когда-то. Кликнув дежурного по роте, старшина приказал ему, чтобы нашли кого-нибудь пришить мне погоны. Но я отказался, пришивал сам и снова чувствовал себя новобранцем. Показалось, что мне снова девятнадцать и вся жизнь впереди. На глаза навернулись слезы. На погонах скромно зеленели четыре маленькие звездочки. Из ефрейторов — в капитаны. Все же стремительный ритм изменений, которому подчинялась сегодняшняя жизнь, мне очень нравился. Мы попрощались с Гришей до вечера. Я шел по улице, привлекая к себе взгляды прохожих, особенно женской половины. Да и действительно, выглядел я очень мужественно: бронзовое лицо с выразительными чертами, высокий, подтянутый, широкоплечий. И под ранней стальной сединой — голубые глаза.

Сфотографировавшись, отправился в гостиницу. Людмила Синицына сидела в холле и просматривала местные газеты. Она скользнула по мне

взглядом и не узнала. Я подошел к ней и представился. Она вскинула удивленные глаза:

— О, уже капитан! Думаю, что через неделю вы будете генералом. Правда, не знаю, какой именно армии.

Ее ирония несколько задела меня. Я попытался что-то сказать.

— Нет, нет! Не надо слов, мой Штирлиц. Вы так великолепно провели старую дуру, что я вами по-прежнему восхищаюсь.

От ресторана она отказалась:

— Я вегетарианка, и глядеть весь вечер, как кругом уничтожают мясо бедных животных, выше моих сил. Да и работа ждет. Всего вам доброго. До встречи в... Честно говоря, даже не представляю, где мы с вами могли бы еще встретиться. И главное — как вы тогда будете выглядеть. Ну, белорус, ну, Березовик! Я ошарашена — вот то слово, которое может отчасти передать мое состояние. Или даже шандарахнута. Такого впечатления не производил на меня ни один мужчина. Считайте, что это комплимент.

Я пытался ей что-то объяснить, но она ничего не хотела слушать. Я вышел из гостиницы вконец расстроенный. В ее зеркальных стеклах действительно отражался какой-то супермен. Нет, форму надо снимать. В ближайшем универмаге я с помощью молодого обходительного продавца-таджика подобрал себе скромный светло-серый костюм — в тон седине. К нему пришлось купить и приличные туфли. А для моей формы — модную сумку. Столько денег я никогда сразу не тратил. На эти средства в кишлаке Кундуз вся семья могла бы жить целый год.

Когда вечером Володя зашел за мной, то очень удивился.

— Куда же ускакал, мой аксакал? Видно, дал ишаку пятками по бокам, и тот, не слушаясь руля, снова рванул в предгорья Гиндукуша. Глеб, ты обольстишь всех наших жен. Мы так не договаривались!

Выйдя из подъезда, мы немного подождали его Машу. Светло-русые волосы и высокие таджикские скулы сразу привлекали к ней внимание. Она тоже сказала, что я совсем не похож на того моджахеда, о котором рассказывал муж. Она взяла меня за руку и быстро повела в подъезд. Там ловко перевязала мне галстук. Когда мы через пять минут вышли, Володя все еще стоял с открытым ртом.

К ресторану все три пары подошли одновременно — видимо, к военной дисциплине удалось приобщить и жен. Синеглазая толстушка Настя — жена Гриши, тоже белорусочка, — сердечно улыбаясь, сразу протянула мне пухлую ладошку. Жена Гаврилова — Наташа — была сдержанна, но тоже вполне благожелательна. Меня тронули ее теплые ореховые глаза. Все же я чувствовал себя не очень комфортно, не совсем представляя, какую роль должен играть в этом новом для меня обществе. К тому же портила настроение и мысль о том, как меня ловко и быстро пристроили к новой службе.

Но опасения мои оказались напрасными. Маша, чувствуя, что я не в своей тарелке, взяла надо мной шефство. Другие женщины тоже бросали на меня любопытные и поощряющие взгляды. Все по очереди танцевали со мной. Рассказывали о своей жизни — в самые трудные, девяностые годы. О том, что утром, провожая мужа на службу, никогда не были уверены, что встретятся вечером. О том, как жили без зарплаты, на армейских консервах и кашах. Когда служили в Забайкалье, то ловили рыбу, собирали ягоды и грибы, держали огороды и замерзали зимой в заброшенных военных городках.

Под конец вечера я немного повеселел и даже предложил поднять бокалы за старшего сержанта Гусева, за его суровую науку, которая помогла мне выжить. И вообще — за нашу армию, за солдат, сержантов, офицеров! И главное — за их героических жен! Мои новые друзья пили стоя.

К счастью, опасения насчет вечера не оправдались. Все получилось очень удачно. А на прощанье мы с Гришей даже исполнили нашу белорусскую песню «Касіў Ясь канюшыну, паглядаў на дзяўчыну...». После нее мы обнялись, попрощались — завтра уже не увидимся. Жалко было покидать новых друзей. Да и старых у меня никогда не было. Когда расходились, Гаврилов предупредил, чтобы я завтра в 8.00 стоял у подъезда. Пожимая руку на прощанье, шепнул, что еще один маленький экзамен я сдал на «отлично». Я вопросительно взглянул на него.

— Штатский костюм, — улыбнулся он, — и по моде завязанный галстук.

Утром разбудил телефонный звонок Володи. Через полчаса заглянул и хозяин с пакетом кефира. Кефир оказался кстати. Но все же на сердце было печально: расставаться не хотелось. Похожие чувства испытывал, видимо, и Володя. Я все-таки внес какое-то оживление в их уже привычные и скучноватые будни. Взял сумку, постоял в прихожей у зеркала, привыкая к своему новому отражению, — я был в штатском, — и быстро вышел. Немного позже спустился и Володя, держа в руках мой посох.

— Что — инструмент уже не нужен? А дубинка ничего. Железное дерево?

— Вроде того. Спасибо, что захватил. Сколько мы с ним прошли, сколько пережили. Будет со мной как память.

Подкатил джип с Гавриловым. Мы с Володей обнялись. Он неожиданно отстегнул свои красивые часы и надел мне на руку.

— Чтобы минуты твоей новой жизни летели не торопясь.

— Ну-ну, — пошутил Гаврилов, — только без поцелуев. К машине!

Устроившись рядом со мной на заднем сидении, он передал мне военный билет и тихо сказал, что полечу обычным гражданским рейсом. Чтобы избежать возможных встреч с сослуживцами и ненужных знакомств в долгом полете. Я же знаю наших солдафонов — там без большой пьянки не обойдется. А потом от таких друзей-собутыльников так просто не отделаешься. В итоге обидеться на тебя могут смертельно. А это уже повышает уровень опасности, что в твоем новом качестве недопустимо. Да и вообще, главное теперь — нигде не засвечиваться. С твоей внешностью это не так просто. Но ты должен обращать на себя внимание только там, где нужно. Да, в Москве тебя встретят, побеседуют. Зададут несколько вопросов. Возможно, пропустят по детектору лжи. Там это у них сейчас модно. На всякий случай купи в аэропорту валерьянки. Или корвалола. Билет тебе уже заказан и оплачен. Тебя проведут без досмотра. Да и что у тебя осматривать. Эту палку ты не хочешь выбросить?

— Нет, это память, она должна дойти со мной до родного дома.

— Думаю, что дойдет. Главное, не бери к сердцу все режущие глаз и ухо перемены. Как говорил незабвенный Козьма Прутков: зри в корень. Телевизором тоже не увлекайся. Ну, все!

Майор пожал руку, потом обнял меня и сказал, что очень на меня надеется. Когда понадоблюсь, со мной свяжутся. Пароль — Фаруз. «Если возникнут проблемы — звони». Он протянул мне свою визитку.

В самолет на рейс Душанбе—Москва меня провели первым и усадили в отдельном отсеке. Я летел на самолете третий раз в жизни. Но тогда это был громадный транспортный «Антей». Там особенно в иллюминаторы не наглядишься. Да и летели-то больше ночью. А теперь я приник к иллюминатору, как ребенок, — благо в отсеке больше никого не было. Отвлекала меня только стюардесса, постоянно что-то предлагая. Вот и не увидела моя Дурханый этих женщин, которые ходят в летающих самолетах. На рабочем месте я и сам видел их впервые. Насмотревшись на землю, согласился на бокал красного вина и бифштекс с салатом. К этому времени землю затянуло облаками, а меня потянуло в сон.

На высоте десять тысяч метров спалось так же сладко, как и в пещере кишлака Кундуз. Однако по пробуждении ждала снова неизвестность. Меня встретили возле трапа и тотчас отвезли куда надо. Даже со спецсигналами черная «Волга» продвигалась очень медленно. Сложилось впечатление, что все машины в Москве стоят. Тогда зачем люди садятся в них? Москва, вспоминая Людмилу Синицыну, меня просто ошарашила. Или даже шандарахнула. Особенно, когда прошел по бывшей улице Горького от Главпочтамта до Белорусского вокзала. Вездесущая и навязчивая реклама погребала под собой город. Встреча с лысым полковником прошла быстро. Он выглядел как настоящий чекист: уже через час я забыл его лицо. Полковник какое-то время разглядывал меня, потом тихим голосом задавал вопросы. На детектор лжи меня отправлять не стал — после Гаврилова эта процедура совершенно излишняя. Да и рабочий день уже закончился. Правда, отпечатки пальцев с меня сняли. Я передал пакет от Гаврилова. Он небрежно столкнул его в выдвинутый ящик письменного стола. В восемь я был уже свободен.

По дороге к вокзалу мне хотелось поскорее оказаться или в своей Блони, или снова в пещере. Вспомнил наши вечера с Сайдулло, зеленый чай с изюмом, «велблуд» моей малышки, сказку про девочку-муравья. Слезы текли из глаз. Я шел в потоке людей, которым не было никакого дела ни до меня, ни до моих слез. Заглянув в платный туалет на вокзале, обнаружил, что афганцы не забыты, — они могут пользоваться этой услугой бесплатно. Мне захотелось взорвать туалет вместе с вокзалом.

Я купил самый дорогой билет — в СВ. На душе было отвратно. Вот, значит, для чего мы проливали кровь. Не хотелось никого видеть. Да так и получилось, что никого больше ко мне не подсадили. Вагон был полупустой. Голубоглазая, стройная, как стюардесса, проводница оказалась предельно вежлива и заботлива. Но поняв, что мне ничего не нужно, — только чтобы не беспокоили, — направила свою заботу на других.

Проснулся рано, еще не доезжая до Орши. Родная, непривычно плоская земля, бесконечные дали. Ели, березы, малиновый иван-чай на откосах, ряды темно-зеленой картошки с редкими белыми цветочками. Домики путевых обходчиков. Копны сена. Спокойные, прихотливо изгибающиеся реки. Я глядел и глядел. Слезы текли и текли.

— Вам плохо? — испуганно спросила проходившая мимо проводница.

— Нет, дорогая, нет, мне хорошо, хорошо. Просто я так давно не видел всего этого. Простите, что беспокою. Как вас зовут?

— Лена.

Я умылся, попросил у Леночки чаю и снова, уже умиротворенно, стоял у окна с крахмальными занавесками и глядел на родные пейзажи, на лощинки, затянутые туманом. Глядел и глядел.

Попрощавшись с Леночкой и поймав напоследок ее любопытный взгляд, я, наконец, ступил на перрон моего Минска. Почему-то никаких особых чувств не ощутил. Поколебавшись, опираясь на свой посох, поднялся по длинной лестнице в здание нового вокзала. Тяжеловато. Хорошо, что я без чемоданов. Сразу же обнаружил пункт обмена валют. Даже два. За считанные минуты стал миллионером. Ощущая приятную, хотя и бумажную тяжесть во внутреннем кармане, спустился на эскалаторе вниз. Московский вокзал показался провинциальным по сравнению с нашим. Но, к счастью, город остался прежним, и две башни с часами все так же основательно сторожили вход. Хотелось и глянуть на Минск, и одновременно как можно быстрее оказаться в родной Блони. На выходе из вокзала окружили частники.

— Командир, куда? Доставим со скоростью звука!

— А я со скоростью света! — уцепился за меня мужик лет пятидесяти с основательным, как у отца, животом. Мне понравилась его находчивость.

— А за город повезете?

— Да куда скажешь. Хоть к черту на кулички!

— Туда не надо, уже был. Блонь — такое название слышал?

— Нет проблем. Сотню кинешь?

— Только сначала надо заглянуть в хороший магазин.

— Сделаем.

— Вроде был хороший продуктовый на Ленинском проспекте, возле ГУМа.

— Магазин остался. А вот Ленинского проспекта, извини, уже нет. Теперь проспект Скорины. Давненько ты, командир, на родине не был.

Несмотря на ранний час, улицы были запружены автомобилями. Разнообразие не меньше московского, только вот черных мерседесов с тонированными стеклами и мрачных джипов видно не было. Доехали без пробок. Я попросил водителя немного помочь с покупками. Витрины ломились от продуктов на любой вкус, но очередей почему-то не обнаруживалось. Через полчаса с пакетами в обеих руках мы, наконец, загрузились в нашу ауди. Всю дорогу водитель развлекал меня байками, а я пил очень вкусный кефир из пакета и глядел по сторонам, чувствуя, что внутреннее напряжение, так долго державшее меня, понемногу отпускает. «Я дома, дома!» — стучали в голове самые лучшие, самые желанные слова.

Вот и моя Марьина Горка, вот и нарядная церквушка, явно подновленная, блестящая позолоченной крышей. Такой милотой и уютностью повеяло от этой церковки, что на глаза невольно навернулись слезы. Церквушка так органично вписывалась в пейзаж, что, казалось, она появилась здесь вместе с этой рекой, этим полем и лесом.

Вот и поворот на мою Блонь. Наше деревенское кладбище. Меня неприятно поразило, что кладбище за эти годы подошло почти к самой дороге. Я попросил остановить. Выйдя из машины, постоял, опираясь на посох, пытаясь сообразить, где находится отцовская могила. Нет, видимо, сейчас я ее не найду. Потом сходим с мамой.

Водитель тактично приумолк. Вот появились и первые дома. Нашего пока не видно, он немного в сторонке, на боковой улице. Я попросил ехать помедленнее. Блонь тоже преобразилась. То и дело рядом со старыми избами красовались двух-, а то и трехэтажные коттеджи. Два таких возвышались и на нашей улице. Наискосок от одного из них заметил наш маленький и неказистый, по сравнению с роскошным соседским, домик. Комок подступил к горлу — да неужели он таким и был? Или это я вырос?

Машина притормозила у калитки. Выходя, я обернулся и понял, что большой красивый дом стоит на том месте, где жил мой одноклассник Егорка. А рядом с ним скромно, за густой живой изгородью прятался дом Аннушки.

Наконец-то я у родного дома. Сколько лет мечтал об этой минуте! Как войду, что скажу? Глухо бухает сердце. И только одна мысль: мама! Ради всех богов, хочу только одного — чтобы мама была жива и здорова. Опираясь на посох, прихрамывая, подхожу к калитке, распахиваю. Медленно поднимаюсь на крыльцо. Дверь отворяется, выглядывает молодая девушка, очень похожая на отца. Наденька...

Я стою, гляжу на нее и ничего не могу сказать.

— Вам кого? — осторожно спрашивает она. В ее голубых глазах любопытство и больше ничего.

— Мама... — выдавливаю я. — Мама...

— А мама на работе, в конторе.

— Наденька...

— Кто вы? — пугается она.

— Наденька, я твой брат Глеб...

— Ой, не может быть! Мама снила вас сегодня! Говорила, что весточка будет. Ой, надо маме позвонить скорей! Глеб, Глеб, как же вы...

— Наденька! Не надо на «вы»! — я обнял ее за плечи. — Едем к маме. Только разгрузимся.

Вместе с водителем перенесли пакеты в хату, захватили сестру и подъехали к конторе. Думали как лучше: сначала Наденька сообщит или сразу появлюсь я? Решили зайти в кабинет с табличкой «Главный бухгалтер» вместе. Водитель дал на всякий случай пузырек корвалола. Он тоже был немного взволнован. Ведь не каждый день становишься свидетелем таких сцен.

Наденька заглянула в кабинет первой.

— Мама!

Мама оторвалась от экрана компьютера и вопросительно взглянула на нее. Сняла очки и положила на стол.

— Мама! Твой сон сбылся! Мы получили весточку, Глеб жив!

Наденька распахнула дверь, за которой стоял я.

Какое-то время мы молча глядели друг на друга, словно убеждаясь, что это на самом деле мы. Мама похудела, постройнела. Длинные каштановые волосы заменила стрижка с сильной проседью. Появились очки. В них она казалась очень строгой и недоступной. Но вот лицо ее дрогнуло, ослабело. Она попробовала встать, но снова опустилась на свой компьютерный стул.

— Сынок...

Я бросился к ней, упал на колени.

— Мама! Прости, что так долго ждала меня, мама!

— Сынок... сынок, — повторяла она, и ладонь ее ныряла в мои волосы, — мальчик седой мой, я так боялась тебя не дождаться... и бабушка дождалась... и дед Гаврилка до последнего верил, что ты вернешься...

Из кабинета я вынес ее на руках, она прятала заплаканное лицо у меня на груди. Мы еще заехали к бабушке Регине, она тоже пролила слезу. Попричитала, поблагодарила Бога, что внял ее молитвам, дал счастье дождаться любимого внука. Но тут же весело блеснула глазами: «Помню, все помню! Как ты в меня этим яблоком зашпандорил!»

Все вместе вернулись домой, отпустили, наконец, водителя, — он с чувством пожал мне руку на прощанье, протянул визитку, — а мама все плакала и плакала тихими и счастливыми слезами.

— Не плачь, мама, не плачь!

— Не плачу, Глебушка, они сами текут. Слишком долго тебя не было, вот и накопилось это бабье богатство, эти вечные наши слезы, то в счастье, то в горести.

Весть о моем возвращении быстро побежала по деревне. Люди шли и шли, все хотели меня увидеть, потрогать, убедиться, что это действительно я. Оказывается, даже находясь в нетях, я занимал какое-то место в сознании своих земляков, они иногда вспоминали обо мне, а теперь вот искренне радовались моему чудесному появлению.

Первой заглянула Аннушка со своим Глебом. Он был уже с меня ростом, крепкий, голубоглазый. Парень с интересом разглядывал маминого школьного друга, в честь которого получил свое имя. С Наденькой они тоже дружат, сейчас вместе сдают выпускные экзамены — Глеб пошел в школу шестилетним. Аннушка все-таки закончила свой истфак, преподает в нашей старой

школе. Я чуть было не ляпнул: работает Мырмыром. Но вовремя прикусил язык. Замуж, как сказала мне мама, так и не вышла. Первое время за ней все Егорка увивался, да ничего у него не вышло. После этого он расхаживал по деревне и говорил, что не нужна ему баба с прицепом.

По сравнению со мной Аннушка казалась совсем девочкой. Как будто для нее и не было этих лет. Они пробились сединой только в моих волосах. Когда шла вместе с сыном, ее можно было принять за его девушку. В тот вечер мы так толком и не поговорили, она казалась спокойной и ясной, в меру радостной и оживленной. Но от этого покоя и ясности веяло осенней печалью. Холмики ее грудей выглядели такими же аккуратными и упругими, как и тогда на моей сосне, когда мне так хотелось осторожно накрыть их ладонями.

Егорка долго занимался каким-то полулегальным бизнесом, сорил деньгами направо и налево, устраивал постоянные гулянки, гремевшие на всю Блонь. Выстроил коттедж, в нем живет теперь бывшая жена с двумя детьми. А сам скрывается где-то за границей. С помощью чертика в заднице большими делами ворочал. Но, как сказала моя бабушка, если нет бога в голове, то и черт в заднице не помощник.

Когда разошлись все гости, бабушка вроде тоже засобиралась домой, но мы ее не отпустили. Я сидел на диване между двумя Регинами. Обнимал их за плечи, слушал их рассказы, сквозь слезы и смех, и тоже рассказывал им о своей афганской жизни — в первом, как говорится, приближении к реальности. Ведь и сам не выдержал бы всего того, что пришлось пережить, если бы это обрушилось на меня в одночасье. А уж тем более мои дорогие Регины, которым и так хватило переживаний с моим долгожданным и неожиданным появлением.

Наденька сидела за столом напротив нас и не пропускала ни слова. Впервые она погружалась так глубоко в историю своей семьи. Оказывается, даже об отцовском таймене она узнала только сейчас.

Так и началась моя новая жизнь — с воспоминаний о прошлой.

Только бабушка все печалилась, что дед Гаврилка не дотянул совсем немного до сегодняшнего радостного дня, ушел на исходе марта — как раз в то время, когда я начал свой долгий путь домой. А в том, что этот день придет, он никогда не сомневался и заражал своей верой всех остальных. Незадолго до своей смерти, уже почти без сил, все повторял своим Регинам: «Мы же не зря назвали его Глебом. Он обязан вернуться к своей земле-матери, к своей глебе. Я уйду в землю, а он на нее вернется».

Если и была в его словах логика, то лишь логика желания и веры.

Неодолимая логика всегда побеждающей жизни.

Минск—Руза
2009—2010

Перевод с курдского Валерия Липневича.





ИЗЯСЛАВ КОТЛЯРОВ

Я растворен в пространстве и во времени...

* * *

Я растворен в пространстве и во времени,
мне даже тот пребудет этим свет, —
и без меня (скажу теперь уверенней)
ни времени и ни пространства нет.
И объяснит вам это время временем,
пространство вам пространством объяснит…
Я все еще под жизнью, как под бременем, —
и жизнь моя не мне принадлежит.
Прости, Господь, мое предощущение, —
гордыня или гордость ни при чем, —
продолжится мое стихослужение
в пространстве и во времени земном.
И что мне там, в аду или под кущами, —
боюсь, а может, не желаю знать.
Тобою было больше мне отпущено,
чем я сумел почти всей жизнью взять.

* * *

Все зависит от первой строки, —
ею стала (случайно ли?) эта…
Коль поэт выявляет стихи,
то стихи выявляют поэта.
Взгляд мой плещется вместе с рекой, —
хорошо ему в струях плескаться…
Тень руки я поглажу рукой,
если только ее не касаться.
Что-то в этом таинственно есть, —
вот уже даже мысли пугает, —
будто все, что мне видится здесь,
если я прикоснусь, исчезает…
Счастлив тот, кто безумием смел,
чья душа для души не воскресла.
Тень руки я погладить хотел,
но она под рукою исчезла.
Сумасшедший, наверное, день…

Взгляд река или вечность мне студит?
Может, жизнь моя — тоже как тень:
прикоснусь… прикоснусь — и не будет?

* * *

Что надо еще для успеха?
Есть в зиму укутанный дом
с прозрачными волнами снега,
с метелью за белым окном.
Как призраки, сосны и ели,
но если душою хотеть,
то можно сквозь волны метели
Отчизну свою рассмотреть.
Не ветви, а инея гроздья
и в свет превращаемый снег
вон там, где сверкнули полозья
и давний оставили век.
В нем гул колокольного эха
над снегом, под снегом, в снегу…
Что надо еще для успеха,
коль видеть и слышать могу?
Так чисто, прозрачно и свято,
а мир до безумия прост,
и вижу я, как виновато
себя возвышает погост
над этим сияющим эхом,
обретшим свое наяву,
над всем, что всей жизни успехом
однажды еще назову.

* * *

Битвы… Отступления… Пожары…
Я уже и памятью устал.
Даже то, что половцы — татары, —
позабыл, а может, и не знал.
Скрип телег и пыль веков за ними,
тюркский говор, злобный свист плетей.
Неужели были и моими
вереницы тех горящих дней?
Крикнула в окне ночная птаха, —
я ее, как вестницу, почту…
Снова «Поученье Мономаха»
наугад раскрою и прочту
тихо, покаянно, виновато,
всей душой лаская Божий мир…
Я любил себе гадать когда-то,
раскрывая наугад Псалтырь.
Вот опять дыханьем замираю…

Кто сказал, что старое — старо?
И читаю, вот уже читаю:
«Зла не тронь, а сотвори добро…»

* * *

Вновь кого-то Ницше радует,
дескать, совестью не лги:
подтолкни того, кто падает, —
падать, падать помоги!
Даже воля против разума,
а хочу — наоборот…
Быть мораль рабов обязана,
быть должна мораль господ.
Что-то крикну в небо ворону…
Мало истина смогла,
если Ницше по ту сторону
зла и грустного добра.
Что тебе, мой ворон, хочется?
Не кружись, а улетай…
Зря кому-нибудь пророчится
раем — ад, а адом — рай.
Вот и я кого-то радую
в эти горестные дни.
«Эй, ну кто там, видишь, падаю.
Не спасешь — так подтолкни!»

* * *

Ну, вот и все… Пора, пора признаться
себе в не опускающейся мгле,
что никуда не надо подниматься
по лестнице, лежащей на земле.
Зачем взбираться, коль взбиранье мнимо?
Теперь зачем размеренность пути,
коль можно проще, даже проще мимо
уже лежащей лестницы пройти.
«И ладно, — говорю себе, — и ладно…
Я все свои стремленья упростил.
Мне подниматься поздно и не надо —
я лестницу на землю опустил…»
Но почему-то думаю лукаво,
что, может, ошибается печаль?
Хоть — влево этой лестницей, хоть — вправо,—
не вверх и вниз теперь, а только — вдаль.
Лежит себе, легко траву подмяла,
но месяц или даже два пройдет, —
подумают, что лестницы не стало, —
она травой забвенья зарастет.

* * *

Вдруг слышу голос дальнего мне века —
и говорит мне этот дальний век:
«Пока в другом не видишь человека —
ты сам еще совсем не человек…»
Я вздрагиваю, словно от удара,
хоть знаю: рядом нету никого…
Опять рассвет — подобием пожара.
Иду иль отступаю от него?
Горит мой путь, и даже взгляд сгорает…
Кому сказать, что до смерти устал?
Быть может, вечный голос и не знает:
я человеком и себе не стал…
Но так люблю все то, что над судьбою,
но так хочу о смерти позабыть…
О Господи, мне мало быть собою,
мне человеком даже — мало быть.
Кощунствую? Кощунствую, я знаю.
Всей жизнью пред Тобою виноват…
Но вот иду — и, кажется, сгораю
в рассвете, так похожем на закат.

* * *

Да здравствует дыхание строки,
где совесть только совести подсудна!..
Осталось время только на стихи, —
на остальное — нет его как будто.
Жестокость или щедрость бытия?
Мне жаловаться вроде не пристало,
коль мир земной разглядываю я
восторженно, хоть все-таки устало.
Позволь, Господь, не все я рассмотрел
и суть я сутью слова не возвысил…
Лишь заглянул за солнечный предел,
лишь заглянул в него, а не осмыслил.
Отсрочь мой срок, дай истину познать,
дай душу всю оставить здесь стихами,
дай дописаться, дай мне написать
все то, что остается за словами.





АНДРЕЙ ФЕДАРЕНКО

Морок

Рассказы

Одноклассник

Приехав в деревню, я пошел в гости к бывшему однокласснику.

Мы сели на лавочке во дворе. Был вечер позднего лета, тихий, уставший... Если бы я был художником и захотел нарисовать этот вечер, то использовал бы только три краски: синюю, желтую и немного серой. Синий туман, желтая стерня и серые сумерки... Такими вечерами почему-то с особенным нетерпением ждешь ночи, тьмы, молодых голосов в конце улицы, девичьего смеха, легких шагов; кажется, что ты и не жил еще, что все у тебя впереди, что и тебя кто-то все еще помнит и ждет...

— Ты бы вот какую историю написал, — начинает одноклассник, хитровато взглянув на меня.

«Так возьми и напиши», — хочется ответить. Странные люди, откуда эта вера, что писатель перво-наперво должен бросаться на их сюжеты? Ему менее всего это интересно. Писателю нужна деталь, искра: какой-нибудь кленовый сухой лист у дороги, сломанная травинка, трещина в асфальте, случайно услышанная мелодия или даже просто чирканье спички о коробок, — и этого достаточно, чтобы сюжет сам собою «вспыхнул», придумался, и сюжет этот может получиться более реальным, чем любая жизненная история, потому что сфокусирует множество подобных историй...

Но никогда я так не отвечу своему однокласснику. Я буду слушать его. Он — калека. В руках он вертит клюку. У него уже десять лет болит нога. В школе он был обычный, как все, парень, потом поступил в железнодорожный техникум, доучился до последнего курса, и вдруг нога заболела и стала сохнуть. Ни врачи, ни санатории не помогли. Она и теперь сохнет, стала совсем короткой, маленькой.

Одноклассник умный, как и обычно умны люди, на которых беда наваливается с молодых лет, — должен быть умным, чтобы выжить.

— Ты смог бы помнить человека, не видя его лет, скажем, пять, десять? — спрашивает одноклассник.

— Не-а, — легкомысленно отвечаю я.

— А я вот помню...

И одноклассник рассказал. Когда он перешел на последний курс техникума, все у него было замечательно. Молодой, здоровый, хорошо учился, через год — в армию. Но вот это, — что скоро в армию, его больше всего и мучило. У него не было девушки. Просто как-то не везло с этим. Может, потому, что жил не в общежитии, а у родственников на квартире, в чужом городе, ни на дискотеки не бегал, ни на танцы, никуда особо не высовывался, сидел дома, «зубрил». А в их группе были почти одни парни.

И вот на последнем курсе ему страшно захотелось быть таким как все, чтобы потом так же, как все, хвастаться, что знает, как *это* происходит.

— Не смейся, пожалуйста, и не думай, что было мне легко, — опять взглянув на меня, сказал одноклассник. — Я был стеснительный и гордый. Мне казалось, что легче сквозь землю провалиться, чем где-нибудь на улице, или в автобусе, или в техникуме подойти к незнакомой девушке и начать, как другие, «клеиться». А вдруг она не так взглянет, не то скажет или молча презрительно отвернется?.. Да такое до смерти не забудешь! Если бы я пил, может, легче было бы, но я не пил и не курил тогда.

Конечно, можно было бы попробовать — потаскаться в общежитие, походить с друзьями на танцы — и познакомился бы с кем-нибудь. Но, повторюсь, мне не хотелось знакомиться. Знакомство всегда к чему-то обязывает. Начались бы телефонные звонки, встречи, проводы домой, надо было бы дарить цветы, ходить вместе в кино... Наконец, надо было бы жениться. Я тогда не представлял, как можно серьезно встречаться с девушкой и не собираться жениться на ней. Но об этом и думать было смешно: сколько мне было — семнадцать лет!

Мне нужна была не чистая девушка, а женщина, которую можно купить, которая не запомнит даже моего имени, а я не поинтересуюсь, как ее зовут. Чтобы потом, после всего, мы разошлись и никогда больше не встречались, и не интересовались друг другом.

И вот однажды, когда мы с другом, городским парнем, на перемене стояли в коридоре, мимо нас прошла девушка. Друг поздоровался с нею.

— Жаль малую, — сказал он, — загуляла, курсовую не сдала, выгоняют.

— На каком она курсе? — спросил я, а слово «загуляла» уже такнуло в висках.

— На втором. Хочешь, возьмись, сделай ей курсовую — она чем хочешь отблагодарит.

Друг, хитрый и наблюдательный, явно читал мои мысли. «Что же, он допускает, что ее можно купить, что она продается, — значит, нет в этом ничего постыдного», — подумал я и, схватив его за руку, пока девушка не исчезла из виду, попросил:

— Позови!

Друг позвал: «Лена!» Девушка возвратилась, стала перед нами. Она была некрасивая, совсем некрасивая. В длинном платье, которые тогда снова начали входить в моду и воспринимались непривычно. «Это ничего, что некрасивая, — подумал я и еще больше осмелел. — Это даже лучше: мне нужны ее ноги и все остальное, а не красота».

— Вот, Лена, познакомься... Парень хочет тебе помочь сделать курсовую.

— Правда?! — она засветилась и похорошела. — Ой, мальчики, помогите! Я не знаю, что бы для вас сделала!..

— А это с ним договаривайся, — сказал друг и ушел.

— Так что? — смеясь, спросила она.

— Через сколько дней тебе надо сдавать?

— Через четыре, последний срок.

— Хорошо, я сделаю. За... это самое, — сказал я.

Она вдруг погасла и опять стала некрасивой. Целую минуту она молчала и смотрела на меня. Я кашлял, краснел, поднимал и опускал глаза, — а сам уже твердо знал: она — моя, она купится. Иначе не молчала бы столько.

— Ну, делай, — сказала она наконец. — И все будет.

— Когда?

— В тот день, когда будет готово.

Она завела меня в свою аудиторию и вручила типовик курсовой.

Два дня я не ходил на занятия, корпел дома над разложенными на столе листами ватмана. Какие это были два дня!.. Как я готовился, растягивал минуты и часы тех дней, даже в мыслях не давал себе приблизиться к тому моменту, когда... А как замечательно все складывалось! В субботу курсовая будет готова. Тогда же, в субботу, родственники — хозяева квартиры — с утра на весь день уедут за грибами. Квартира будет свободна.

Так и вышло. К субботе я справился. Проснулся рано, один, родственники уехали в лес. Я слонялся по квартире, думая, — скоро эти стены, обои, мебель, диван станут свидетелями *чего-то*, и какая перемена скоро со мной произойдет, — я уже буду другим... Взял дядину бритву, помазок, побрился впервые в жизни, порезался... Стыдно вспоминать!..

И вот техникум, обед; я отыскал ее в столовой и отдал два скрученные в рулон листа ватмана. Она развернула и от радости даже рассмеялась, — и правда, я для себя никогда так не делал: чистенько, аккуратно...

— Так что, Лена? — сказал я, пока она любовалась курсовой. — Сегодня я один в квартире до позднего вечера.

— Давай адрес, — спокойно ответила она. — В четыре часа я буду у тебя.

Она не приехала, конечно. Ни в четыре, ни в пять, ни в девять вечера, когда возвратились хозяева-родственники с полными сумками грибов.

Удивительно, но мне не было обидно. Была только какая-то пустота в душе. «Значит, нельзя купить то, что тебе не принадлежит, нельзя искусственно изменить судьбу!» — думал я.

Через неделю мы случайно встретились в той же техникумовской столовой. Лена моя, смеясь, сказала:

— Ну, ты молодец! Спасибо, курсовую на пять сдала!

Я промолчал. Она спросила тихо:

— Что, в пролете, как в самолете? Обиделся?

Я пожал плечами.

— Правда, не обиделся? — И она вдруг опять, как и в тот раз, когда мы договаривались, стала молча, долго смотреть на меня. Но теперь я уже не краснел и не опускал глаз.

— Поехали ко мне, — сказала она.

— У нас еще две лекции...

— Как хочешь, — и повернулась.

— Подожди, — я взял ее за руку. — Поехали. Только сейчас заберу сумку...

Мы молча ехали автобусом почти через весь город. Она жила в старом районе, в пятиэтажной «хрущевке». Мы поднялись на третий этаж и вошли в маленькую двушку. В прихожей я снял ботинки и стоял как дурак.

Она провела меня в комнатку, я присел на диван, девушка — рядом. Неожиданно меня пробрал озноб, как при температуре. Я боялся, чтобы она не заметила этого, взглянул на нее искоса — глазам не поверил: такой же озноб пробирал и ее! Она волновалась и боялась чего-то так же, как и я.

— А теперь послушай, — начала она. — У меня парень в армии. Он любит меня. Верит. Тебе было бы приятно, если б ты служил, а кто-то вот так, как ты теперь, пришел покупать твою девушку?

— Если любит по-настоящему — то он тебя всякую примет, — ответил кто-то за меня. Кто-то, потому что я все же знал себя, знал, что я не мог ляпнуть такой глупости!

— Всякую? — переспросила она. — Вот как вас, парней, после этого не ненавидеть... Но пускай: не боишься ты, нет у тебя совести, так послушай еще. Я — девушка.

Я усмехнулся. Я вспомнил слово друга «загуляла» и не поверил ей, конечно, — да и кто бы на моем месте поверил?

— Раздевайся, — деловито, решительно, сухо сказала она, заметив мою усмешку.

Она не обманула.

Это было похоже на кошмарный сон: оба впервые, оба неопытные... А самое отвратительное, самое гадкое, что я и в те минуты старался побольше запомнить разных деталей-подробностей, чтобы хвастаться потом перед друзьями: запоминал дыхание ее, вскрики, обрывки слов, запоминал, что балконная дверь приоткрыта и ветер шевелит гардину... А потом моя бедная некрасивая девочка, испуганная, заплаканная, обнимала меня и целовала и все допытывалась:

— Ты же сделал это потому, что влюбился, ты и теперь любишь? Такое же нельзя делать без любви! Правда же?

— Правда, — ответил я, желая только одного: скорей вырваться оттуда.

Я так никому и не рассказал потом, не смог. Мне казалось, что у меня это было совсем не так, как у всех, — неинтересно, стыдно, некрасиво, ненужно... Лену в техникуме я стал избегать. А при редких случайных встречах в коридоре или в столовой ловил на себе ее испуганные взгляды.

Однажды, уже зимою, когда у меня стала болеть нога и это меня больше всего беспокоило, Лена сама заглянула в нашу аудиторию, подошла к моей парте:

— Что же ты... даже не здороваешься... теперь?

Я не знал, что ответить. Думал больше о ноге. Думал, так, простудил, может, похожу на уколы, подлечат и все пройдет.

Больше с Леной мы не виделись.

И вот столько лет прошло, и теперь я часто думаю: если бы не эта беда, не нога моя, скорее всего, я забыл бы свою первую и последнюю девушку. Миллионы таких случаев, когда девушек бросают и забывают!.. Но теперь я знаю: каждому — свое и каждый только сам за себя отвечает. Что разрешено многим, то — очень может быть — совсем не разрешено тебе. В общем, любовь женщины, если вдуматься, это такая страшная загадка, такая тайна; есть в том, что женщина жертвует собой, отдает всю себя чужому человеку что-то такое мистическое, непонятное и нешуточное, с чем играть нельзя. А я захотел именно поиграть... И доигрался.

— Веришь, — тихо сказал одноклассник, — все равно я по-своему счастлив. Было же и у меня что-то, и она, Лена моя, была и есть где-то, я же не придумал ее! Не важно, помнит ли она меня, не важно, что у нее давно уже, наверное, муж, дети, — важно, что я ее помню... И больше мне ничего не надо. Знать, что она живет на земле, каждое утро смотреть на одно с нею небо, каждый вечер — на одни звезды...

Одноклассник замолчал.

И правда, темно уже, звезды над головою. Мы прощаемся, и я пустой улицей иду домой, оставив его одного сидеть на скамейке, думать.

Морок

Осень, темнеет рано. В доме стыло, неуютно, а вытопить печку — жаль дров, неизвестно еще, какая зима будет. Антоля набросила фуфайку, сыпнула в карман пару горстей тыквенных семечек, заперла дом и пошла темной слякотной улицей на другой конец деревни, к подруге Еве — «гулять».

Если б знала, какая новость ее ждет, какой бедой для нее этот визит обернется, — лучше мерзла бы в холодном доме, в телевизор, в темное окно, в белый потолок смотрела бы, а за дверь не вышла бы. Но кто же знает, что впереди?

Идет Антоля, плетется по грязи. Темно — ног не видно, жутко, ни одна собака не лает. Вдруг слышит, кто-то навстречу — топ, топ. Хоть и темень, а сразу признала:

— Это ты, Евка?

— А то ты, Антоля?

— Я. Я к тебе.

— А я к тебе!

К Антоле ближе, только стыдно за стылую хату.

— Молодица, около меня столько грязи, боты вязнут... Может, к тебе суше.

Поворотили, пришли к Евке, сбросили у порога грязные сапоги, поснимали фуфайки. У Евы чисто, тепло, посреди пола — большой, связанный из цветастых обрезков круг-половик, на круге кот лежит и мурлычет. А кота Антоли не то что на пол — на печь не загонишь: бывало, как почует мороз, так в самую печь лезет. Отгребет лапой заслонку, залезет и греется возле чугунков.

— А это что? Пир будто? — застыла Антоля, увидев на столе начатую бутылку кагора, две тарелки, две рюмки. — Зять приезжал?

— Ой, не спрашивай, молодица! Не зять, — Евка почему-то смутилась, даже прикрыла платком рот. — Я же шла к тебе посоветоваться...

У Антоли заблестели от любопытства глаза. Деревенька небольшая, тут кошка окотится, и то новость.

— Ну, входи, — пригласила Евка, протопала в большую хату — маленькая, ладная, толстенькая, только покачивается немного из стороны в сторону, как утка. С малых лет дефект, а мужчинам, напротив, такая походка нравится. Толку, что она, Антоля, и высокая, и ровная, как черенок, идет — не колыхнется, хоть стакан воды на голову ставь — не разольет, а никто не позарился, не взял, так и прожила одна.

Евка включила телевизор, Антоля присела на табуретку, прильнула к горячей печке, высыпала на краешек табуретки семечки:

— Бери, — предложила, скрывая любопытство, будто каждый день то и делала, что давала людям советы.

— Ай, зубов на них жаль! — отказалась Евка, а у самой только два вставные, да и то угловые. Рассмеялась чему-то своему, покивала головою. — Это же Кузьма приходил, — сказала, удивляясь такому событию.

— Зачем?

— Сойтись хочет. Вот выдумал...

— Правда?! — Антоля даже прилипшую к губе скорлупу от семечки стряхнуть забыла. — А как же... его ж Наста недавно умерла!

— Как недавно... На Покров уж год.

Евка все усмехалась и покачивала головой. А Антоля уставилась в телевизор, в котором дон Хулио которую уже серию упрашивал Сильвию выйти за него, смотрела, слушала и ничего не понимала. Как же так?.. Что же это будет?.. Они ведь с Евкой одинаковые. Одинокие. Они и подругами стали, когда Евка похоронила своего человека и как бы сравнялась с Антолей, им уже нечего было делить. Пусть у Евки дочка, зять, внуки — но ведь далеко, в городе, приезжают редко...

И разве плохо им было? У Евки — корова, у Антоли — лужок. Придет Кузьма, скосит, а они растрясут, высушат, перенесут небольшими ношками

Евке в хлев. Молока, сыворотки, сыру, само собой, хватает обеим. Картошку надо садить — Кузьма возьмет коня. Вспашет одной и другой, посадят... Копать надо — Евка сама идет к Антоле, еще и зятя с дочкой ведет, если те подгадают приехать. Выкопают себе и Кузьме помогут. Надо колоть кабана — договорятся, кому раньше, кому позже. Кузьма заколет, разберет, — лучшие куски несут друг дружке, и Кузьме перепадает. А то в какой-нибудь небольшой праздник, когда легкую работу можно делать, надумают пойти к Кузьме, пол помоют. Побелят потолок.

А разве плохо им было «гулять», вот как сейчас? Когда тепло, светло — посидеть на лавочке перед домом, когда темно — кино посмотреть по телевизору... Ту же Насту Кузьмы, когда она еще была жива, обговорить: как она «за своим горя век не знает», «живет, как у Бога за пазухой»... А потом, когда умерла Наста — «рак съел», — они так же искренне, как обговаривали, и пожалели ее, и поплакали, и обмыли... На поминках, целый день на ногах простояв, наготовили всего, и на девяти днях были, и на сороковинах...

Сама жизнь свела их под старость в такой треугольник: Антоля — Евка — Кузьма. Живите, помогайте друг другу, иначе быть не должно. И вот тебе на! Они сойдутся, а ей, Антоле, как одной? Головой в петлю?..

Антоля встрепенулась:

— И что ж ты надумала?

— Что я ему скажу, молодичка, — у него свои дети, у меня свои, приедут, я своим больше захочу дать, а он своим...

— Иди, молодица! — горячо посоветовала Антоля. — Разве ж ты не знаешь его детей? Они не пьют, не курят, как говорится, боятся дохнуть на человека, разве ж они тебе слово поперек скажут?

— Ой, не знаю, не знаю... А еду не так сваришь? Может, он к чему другому привык, то и думай, как угодить...

— А как ни приготовишь, все лучше, чем он сам.

Евка покраснела и сказала потише:

— Он же мужчина, кто их знает, что у них там на уме... Еще в постель захочет.

— Так и что за конец света, если захочет?

— Отстань! Я уже и забыла, что к чему... Боюсь.

В телевизоре донна Сильвия, застенчиво склонив черную голову, упрямо отвечала дону Хулио, что ей надо все обдумать как следует. Дон Хулио не сдавался.

— Так это вы как, и расписываться будете? — поинтересовалась Антоля. — И с кольцами?

— От не болтай! — рассердилась Евка. — Кольца... Ты ж только молчи, а то я твой язык знаю.

— Тю! Когда я уже там кому что рассказала?

— Про Кузьму я тебе одной, посмеяться.

— А какой тут смех, молодица? Иди!

Возвращалась Антоля домой той же слякотной тьмою. И что за доля такая, думала, век одна, как тычка у дороги, у Евки дети и внуки, у Кузьмы дети и внуки, а все мало... У богатого и петух несется...

С того вечера засели эти слова занозою в голове. Звенят в ушах, как ночной комар, что и не кусает, и не отвяжется, только зудит и зудит, как наваждение какое. Была бы работа какая, и то легче было бы. Но какая работа поздней осенью? Ну, уголь из печки выгрести, высыпать на ярко-зеленую, после отавы уже, траву лужка. Ну, хату подмести. Кабана, кур покормить — вот

и вся работа. Сотки досмотренные, огород пустой, только почерневшие, поломанные чубуки кукурузы торчат вдоль межи. Холодно, пасмурно и утром, и днем, а чуть под вечер — уже и темно.

К Евке хочется, поговорить, расспросить, — а нельзя. Разругались подруги. Не выдержала Антоля, на второй же день рассказала всем в магазине:

— Это ж свадьба у нас скоро будет!

— А кто молодожены?

— Есть молодожены...

Евке пересказали, она рассердилась, конечно, а Антоля теперь к ней идти боится.

Где-то неделя или две прошли с того разговора, как раз, под вечер уже, Антоля стоит во дворе. Подвязывает проволокой забор к столбу, сгнившему в земле так, что на одном стержне живет, вот-вот упадет. Вдруг видит — идет Кузьма, сгорбившись, прихрамывая, и ведет за веревку Евкину корову, а сзади Евка, подгоняет хворостиной. Антоля присела, затаилась. Прошли, не взглянули, только корова повернула к ней голову.

И без того ей горько было, но все думалось: а вдруг обойдется? Может, поговорят — да и все; Кузьма себе останется, Евка — себе, помирятся и опять будут жить, как жили. А теперь так одиноко, так тошно стало, что хоть плачь.

Если бы и вправду Кузьма с Евкою свадьбу сделали — на легковых машинах, как Антоля в телевизоре видела, с кольцами, с фотографом, — не так было бы обидно, как после этой коровы на веревке...

Совсем раскисла Антоля. Запустила себя. Ни есть не может, ни спать, ни работу делать — только ходит, слоняется по дому, по двору и думает, думает. Лишь бы что в голову лезет. Включит телевизор, чтобы мысли перебить, — а в телевизоре опять дон Хулио упрашивает Сильвию... Кажется, пошла бы к кому-нибудь, выговорилась, вылила все из души, то и полегчало бы. Но кому об этом расскажешь? Смеяться будут, разнесут по деревне, Евке перескажут... Как морок навел кто!

До того Антоля дошла, что даже раздеваться перестала, так и ложилась спать в фуфайке. Так или иначе, а сна все равно не было. Накроется сверху одеялом, под бок кот подлезет, греет немного, и то хорошо.

Глянула раз в зеркало — а люди милые, перепугалась. Почернела, поседела, высохла в доску, только глаза блестят, как у кролика.

«Она это, Евка, морок какой-то навела!..»

Вспомнила Насту — и ее Евка обговаривала, и ее, видно, свела в могилу. Слово какое-то знает! Но не будет по-твоему. Спасаться надо!

А как спасаться? Пожила Антоля на свете, любую работу знала, как делать, а самому главному, самому важному — как мороки снимать — так и не научилась. Нужды не было. Все казалось — ат, это у других бывает, не у меня. Вот и кусай теперь локти, сохни, чахни, спи в фуфайке...

Знала, что стригут шерсть, то ли у собаки, то ли у овцы, запихивают под крышу... Еще след как-то иголкою берут... Рожь завязывают в узел... А какие слова при этом говорить? Как стричь, как завязывать, как запихивать? Все это уметь надо!

Вспомнила Антоля, слышала как-то, что живет в городе бабка не бабка, а молодица, которая голову лечит и м*о*роки снимает. Но опять же — у своих не спросишь, где ту молодуху искать. Начни интересоваться, вмиг раскусят, разнесут, что «м*о*рочная» она, раз к знахарке хочет...

Думала Антоля день и ночь — и вот что надумала. Тайком уедет в город, там ее никто не знает. Покрутится на вокзале, на базаре, подгадает минутку

и спросит: так, мол, и так, скажет, сестра заболела, или золовка, может, вы, люди добрые, тут живете, знаете адрес...

Как надумалась, так и повеселела. Нагрела воды, вымылась в лохани, причесалась, новый платок достала, собрала в сумку грибов белых сухих, лука вязанку, кусок сала, взяла пенсию неизрасходованную за три месяца.

Когда выходила, уже рассвело, увидела — забор упал, завалился во двор, сгнил-таки столб. Все одно к одному, ладно, не до забора, когда самой спасаться надо.

Приехала в город, вышла из автобуса на вокзале — у кого спросить, к кому подступиться? Не подойдешь ведь, не бухнешься в лоб: «Дайте мне адрес знахарки», — надо издалека начать, осмотреться, поговорить, а уже потом, как бы невзначай, будто и нужды большой нет, а так, просто вспомнилось вдруг: «Может, знаете или знаете, кто б подсказал...»

Никто на Антолю смотреть не хочет. Никому до нее дела нет. Подалась туда, сюда, к остановке подошла. Стоит рядом мужчина, в пальто, в шапке, с перевитой шпагатом зеленой новогодней елочкой у ног.

— Скажите, как мне проехать...— и смутилась Антоля, никак не может разговор завязать.

— Куда проехать?

— В... поликлинику! — вырвалось вдруг само собою.

— А тут ехать не надо, — охотно стал объяснять мужчина. — Идите этой улочкой вниз, вниз...

Разве же Антоля своей районной поликлиники не знает? Но спросила, так надо идти. Пошла Антоля, оглянется — стоит мужчина, смотрит ей вслед. Так, оглядываясь, и дошла до поликлиники, маленькой, деревянной. Вошла внутрь. На коридоре мало людей, перед регистратурой совсем никого нет. Антоля прильнула к батарее.

— А вы к кому? — окликнула ее девушка из окошка регистратуры.

— Я так зашла, — растерялась Антоля.

— Записывайтесь, тетка, пока людей мало, — посоветовала девушка. — Что у вас больше всего болит?

— Ох, моя дочка, все болит, и голова, и спать не могу...

— Вот видите. Я вас к терапевту запишу, у него сейчас нет никого. Только разденьтесь.

Записала, талончик, карточку подала. И так растрогало Антолю это внимание, что даже терпкий комок поднялся в груди и слезы к глазам подступили:

— Дай же тебе Бог, доченька... — и не договорила, побоялась, что заплачет сейчас.

Сдала пальто в гардероб, сумку с собой взяла. Нашла кабинет. Постучала, просунулась в дверь.

Сидит за столом молодой мужчина, в белом халате, в очках. Пишет. Поднял голову:

— Садитесь, — показал на стул. — Ну, что с нами такое?

— Голова у меня очень сильно болит, может, какое давление... Не сплю, не ем, — начала Антоля, а терпкий комок не проходит, давит и давит в груди. Слезами просится прорваться...

— Закасайте рукав.

Обкрутил руку трескучей материей, пожмякал грушей:

— Давление у вас нормальное. Я вам, тетка, выпишу снотворное, а от головы — цитрамон.

— Ох, мой голубок, хоть что-нибудь выпишите, хоть отравы, чтобы уже выпить; может, кто обмоет и закопает, чтобы эта голова дурная не болела! —

и не сдержалась, всхлипнула. И еще раз, еще — и вот уже плачет, даже плечи трясутся.

Доктор отложил ручку, посмотрел на нее внимательно.

— У вас есть кто-нибудь из родни? — тихо, еще более мягким голосом спросил.

А Антоля рыдает, слова сказать не может, — ручьем плывет! Доктор подхватился, налил из графина воды в стакан, подал:

— А ну перестаньте, что это еще за новости!

— Нет... голубок... никого! — всхлипывая, глотая воду и слезы, начала торопливо рассказывать Антоля — только бы доктор не сердился, дал ей выговориться. — Одна как перст! Была подруга, так замуж пошла во второй раз, ведь человек ее умер, а у того Кузьмы, за кого она пошла, жена умерла, Наста, год на Покров был...

И говорит, говорит все подряд:

— Не сплю, не ем, я уже думала, может, какой морок навели на меня...

А доктор слушает, не перебивает. Выслушал все и сказал:

— Теперь ясно. Ваша болезнь оттого, что вы себя очень жалеете, подогреваете все время эту жалость и еще больше себя растравляете.

— Ох, жалею, кто же меня еще пожалеет?.. Вы мне воды подали — и то стало легче!

Доктор взял чистый бланк для рецептов:

— Выпишу я вам не снотворное, а очень хорошие таблетки, мезапам называются, успокаивают нервы. Сначала небольшую сонливость вызывают, а потом все пройдет, повеселеете, а что спать будете, так это я вам гарантирую.

Бывают же золотые люди на свете!.. Мало того, что быстро и легко морок снял, так еще и таблетки хорошие выписать хочет... Антоля вдруг спохватилась — сумка же у ног стоит, вот ворона, так чего доброго и забыть могла, и понесла бы все назад. Взяла сумку, бухнула прямо на стол перед доктором.

— Что это? — отшатнулся тот.

— Грибков немного, лука, сала — возьмите, прошу вас! Вы мне такое дело сделали, — Антоля, как только вылечилась, осмелела. — Грибы хоть возьмите, посмотрите какие, один в один!

— Спрячьте сейчас же, еще зайдет кто... — а увидел грибы, притих. Взвесил связку в руке, оглянулся на дверь: — Ну, раз вы решили, так положите сами, вон туда, в шкаф, на среднюю полку...

— Все класть?

— Ну, и лук еще... А вот сало заберите, категорически!

Счастливая — уговорила-таки, убедила человека, не побрезговал, — Антоля быстрей к шкафу, опорожнила сумку, хотела тихонько и сало положить, да побоялась. Надо меру знать.

Совсем другим человеком, нежели заходила, вышла из кабинета и из поликлиники. Хоть на свет белый глянуть можно, а то ведь было не дай бог...

На вокзале, пока ожидала автобус, заговорила с соседями — молодицей с мужем. Они издалека приезжали на базар за поросятами, но опоздали, хороших разобрали, один брак остался. Антоля посочувствовала, посоветовала в будущем, если есть у кого в городе переночевать, вечером приезжать, потому что теперь хорошего поросенка купить — проблема.

— А я ж заболела была, — поделилась она. — Но очень хороший доктор попался, вмиг вылечил, — и так просто эти слова у нее вырвались. С каждым бывает, болела и вылечилась, не надо больше людей совеститься и нечистую силу искать.

Теперь молодице с мужем Антоля нисколько не завидовала и не жалела себя. Рядом счастье — только не для нее, как кино про дона Хулио и Сильвию: и слышно, и видно, и близко — экран можно потрогать, а чужое, далекое-далекое, невозможное...

В автобусе уже вспомнила, что таблетки купить забыла, и аптека ведь на вокзале была. Ладно, может, другим разом когда.

Не заходя к себе, как только из автобуса вышла, сперва кинулась в тот конец деревни, где Кузьма жил. Нет никого, дом на замке. Антоля — в другой конец, к Евке. И вдалеке еще от своего дома увидела — идет там какая-то работа. Антоля ближе — и глазам не верит: новый забор почти готов, Кузьма столб вкопал, прибил новую жердь, теперь доски крепит, а Евка рядом стоит, гвозди подает.

Антоля сразу же — к ней:

— Моя ты голубка, а я же думала...

— Тише ты, — цыкнула Евка. Отошли во двор: — Он-то глухой, — кивнула на Кузьму, — а что надо, вмиг услышит. Я не успела тебе сказать тогда: к нему какая-то баба из Залозок, тоже вдова, сваталась, в примы хотела переманить... А если б я не перехватила и он пошел? Что б мы без него делали? Ты ведь знаешь моего зятя, только что умный, а на работу никудышный, ни пахать, ни молотить, ни коня запрячь, ни кабана заколоть... А этот будет нам мужчиной, один на двоих. Я и согласилась с таким, как говорится, прицелом...

Так и прошел у Антоли морок благодаря добрым людям. Снялся сам собою, как и не было его. Хоть под старость, а и ей счастье выпало.

Перевод с белорусского
Натальи Капы.





ВИКТОР СОЛОНЕЦ

О войне и жизни

До моего рожденья

Когда я слышу
Слово «фронтовик»,
Мне видятся
Не орденские планки,
А под Сталинградом белый снег
В крови,
Который выжгли
Гусеницы танков.
Мне видится,
Как раненый отец
Сжимает рукоятки пулемета…
В живых остался он —
Совсем юнец —
Один
Из пулеметного расчета.
Меня на свете
Не было
В тот час,
Я не видал
Бомбежки и обстрела,
Но до рожденья
Жизнь моя
Не раз
Была
На самой прорези прицела.

Дочке

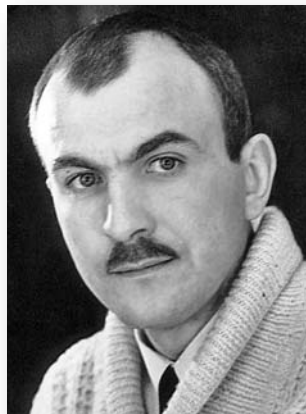
Свесила подушка
Поросячьи ушки
Над твоей макушкой,
Светлышко мое.
А на кухне вашей
Чайник шляпкой машет,
Прыгает и пляшет,
Песенку поет,

Как растут в морозы
На ветвях березы
Красные, как розы,
Птицы-снегири.
Как потряс я ветку
И насыпал в сетку
Снегирей — «Да, детка —
И красней зари».
— Не ври-и!..
…Ну давай, дочурка,
Поиграем в жмурки,
А не то в дежурке
Я и не усну.
Не забыть бы ночью
Для тебя мне, дочка,
Звезды обесточить,
Выключить луну.

Песня

Ой, за полем да за речкой
Дождик народился.
Ты порадуйся, сердечко,
Дождику на диво.
Как пройдется он по полю —
Злаки вырастают.
Как заглянет к тетке Поле —
Розы расцветают.
Весь лучистый, весь от солнца,
Пляшет — загляденье.
Постучись в мое оконце,
Якобы по делу.





АНАТОЛЬ КОЗЛОВ

Два рассказа

Ничто

Юрдок не спал. Он уже не помнил, когда в последний раз смыкал веки. Жжение в глазах было такое, что хотелось пятерней выцарапать их, как нечто чужеродное и ненужное: то, что выело нутро, испепелило душу и не дает покоя. Покоя, которого теперь так жаждет измученное тело Юрдока. В голове, как в потревоженном улье, гудят, шумят, путаются мысли. Они скачут быстрее, чем капли дождя по успокоенной глади озерца. То бегут, обгоняют одна другую, то сворачиваются клубком, да таким, что нельзя найти ни начала, ни конца.

«Зачем? Зачем все это мне послано? Для чего под конец жизни должен я нести этот гнетущий камень в своей душе и на своих плечах? Разве мало испытал в той, моей минувшей, горькой, как недоспевшее яблоко, жизни? Вздохнуть бы теперь полегче, провести деньки на воле, под ласковым солнцем. Не прятаться в глухом укромном месте, не оглядываться, словно загнанный волк, на каждый шорох за стеной, каждый треск ветки в лесу или под собственной ногой».

Не спит Юрдок. На минуту отгоняет, отбрасывает смолисто-тягучие мысли, прислушивается к шуму ветра в кронах старых дубов, которые, как кажется Юрдоку, чувствуют его изболевшееся сердце и, успокаивая, шепчут, обнадеживают. Но он не может понять мудрости этих вековых деревьев, не способен пока проникнуть в глубину их сострадания.

Однако...

Юрдок вздыхает всем своим стариковским телом под самотканой постилкой. Теперь он не ощущает ее кисловато-прелого запаха. Глубже натягивает под подбородок. Чутко вслушивается в густую темень. «Ага, не показалось мне. Половицы скрипнули, и слышен легкий шорох, словно накрахмаленной простыней провели по полу. Пусть бы эта ночь прошла спокойно. Сгинь ты, непрошеное, — неслышно шепчет Юрдок. — Дай хотя бы капельку покоя. Смилостивись на одну-единственную ночку. Нельзя же так тянуть из меня жилы. Ну, лопнут они, и что? Тебе станет легче? Скажи — легче? — На голос Юрдока никто не отзывается. — Молчишь, проклятое Ничто. Ничто! Хотя и зачем я тебе? Ты Ничто. Просто и непонятно. Страшно и противно. Ничто всегда было бездуховным. Так мне кажется. Оно есть, и его нет. Однако ты, Ничто, снова рядом. Я ощущаю тебя нутром, слышу ушами».

«Убийца. Не спится? Так-так. Говоришь, что хочешь покоя, так возьми его, — сверлит мозг Юрдока сиплый голос. — Я же знал, что ждешь меня. Вместе не так одиноко и печально. Вместе веселее. Не спорь, старая порховка. Ты боишься меня, одиночества, а больше — людей. Ага, угадал! Слышу, как мечется твое сердце в прокуренной груди. Бьется о ребра, норовит, ста-

рается через виски вырваться. Глубже дыши. Успокоится твоя изношенная онуча, не с таким напором будет гнать по прутьям вен и артерий отравленную кровь. Скажи, зачем прячешься от людей? Ты же человек, и твое место среди подобных тебе, таких же опустошенных духовно и погрязших в грехах. Но нет. Сбежал ко мне. Ищешь спасения за моей спиной. Что, не так? А?.. Молчишь? Правильно делаешь. Не нужно гневить меня. Там, откуда ты сбежал, все перевернуто с ног на голову: ложь там стала правдой, а зависть, ненависть, пустословье правят бал. И это еще не конец. Это только ваше горькое начало. Возвращайся, убийца, к таким же, как сам. Где у любого, на кого ни посмотри, можно с ясностью заметить ростки зла, предательства и нелюбви одного к другому, где каждый чуть ли не горит от алчности, там даже у нищего отнимают палку и полупустую ложку. Вот-вот, там правится бал пустоты вырождения. Ну и пусть. Нам это на руку...»

«Кому — нам?» — испуганным огоньком мелькнула мысль в голове Юрдока.

«Тем, кто выше вас. Кто сильнее и целеустремленнее. Проще — силе зла! — услышал он сдавленный, взахлеб, ответ. — Подумай сам: ты совершил убийство, страшное убийство, и сбежал, услышав мой голос. Я только тенью мелькнул перед твоими глазами, и вот ты, оглядываясь, пошатываясь и дрожа, словно горький алкоголик из подворотни, бросился за мной вдогон, следом. Побежал напрямик, не выбирая дороги, только огибая селения людей. Быстрее, чем вурдалак, помчался по моим следам. Ты хотел получить через меня избавление. Боялся кары за содеянное. Но ты это имеешь! Я даже большее делаю для тебя — развлекаю беседой, веселю размышлениями, не даю одичать в безлюдной зоне радиации. Я твой спаситель и надежда, твое будущее. Жаль, что пока не слышу от тебя слов благодарности. Но мне к этому не привыкать. За бесконечные века не тот, так другой, снимал передо мной шапку. Я умею ждать. А может, и у тебя рука потянется к твоей изношенной шляпе? Потянется! Никуда не денешься. Пути у тебя для отступления нет. Завален, отрублен он тобою же. Твоими руками. Ты породил то, что теперь душит тебя изнутри. Не отбивайся, слушай...»

Юрдок машинально вытянул руки из-под постилки и плотно зажал ладонями уши. Ему казалось, что таким образом он сможет защититься от навязчивого Ничто. Старик рассуждал: заткну уши — и голос исчезнет, не пробьется к нему, откатится, как пустая бочка с пригорка. Каждую ночь Юрдок плотно зажимал ладонями уши, но это ни к чему не приводило. Ничто проникало в голову через глаза, нос, кожу, даже через поседевшие волосы. Юрдок ждал только одного — рассвета. Только бы поскорее забрезжило за плюгавенько-подслеповатым окном его убежища. Вот тогда Ничто отступит, отойдет, даст свободно вздохнуть, на какое-то время забыться.

За ночь он настолько измучивался, что утром чувствовал себя разбитым и растоптанным. У него не хватало силы подняться со своего лежбища: грубых суковатых досок, которые старик пристроил на поставленных в рядок чурбанчиках. Рачительный хозяин когда-то собирался их пустить на дрова. Но не успел. Вот теперь они и пригодились Юрдоку. Жесткость и неудобство такой постели немного скрашивала сухая трава. Прошлогодняя, сжелтело-рыжая. Юрдок сгребал ее руками. Но ничего, и на такой постели можно коротать ночи. Тем более, если не спишь, а лежишь бревном. Под голову старик нашел подранный и промасленный ватник. Можно было не сомневаться, что этот сбитый в комки ватник раньше согревал тело тракториста. Уж очень тянуло, воняло от него не выветренной годами соляркой и мазутом. Юрдок свыкся с этим запахом и теперь его даже не чувствовал.

За окном светлело. Старик слышал, как сонно перекликались, пробовали на звонкость свои голоса птицы.

«Смотри ты, людей уже десяток лет тут нет, а они роскошествуют, живут, плодятся, словно и не отравленная эта земля. Глупенькие вы, мои птички, — подумав так, Юрдок спохватился на мысли, что и он не намного умнее этих птиц. — Пригнала, привела меня сюда невидимая сила. Бросила в вир головою. Одним ударом расщепила иссохшее полено моей жизни».

В хатине-халупе еще больше посветлело. Ницые лучи солнца осторожно проникли через окно и латками легли на черные щербатые доски пола. В щелях между ними пучками пробивалась болезненно-бледная, желтоватая трава. Юрдок не вырывал ее — зачем. Пусть себе растет, раз уж пробилась на свет.

«Скоро приползет дождливая, затяжная осень, — Юрдок вздохнул, — а там, смотришь, и зимой запахнет. Околею я тут один, струхлею, и словно тот дождевой гриб, стану порховкой. — Такие мысли не пугали старика. Странным казалось для него, Юрдока, который всегда стремился жить, боялся болезней, никогда не думал о смерти, вот такое безразличие к дальнейшей своей судьбе. — Немало мною прожито, а сделано вдвое больше. Да и износился я. А теперь вот и руки кровью омыл. — Юрдок подумал про это без капли сочувствия и сожаления. — Что сделано, того не воротишь. И как ни старайся — не сможешь. Не в моей это силе. Страха никакого нет. Напрасно укоряет меня Ничто тем, будто сбежал я сюда от кары за содеянное. Чистейшая ложь. Убийство подтолкнуло к возвращению домой, к своим местам, где прошли молодые годы. Те годы, которых теперь шапкой не словишь... От, лежи не лежи, а подниматься нужно. И в животе бурчит, что-нибудь вкинуть в него неплохо бы. Пока жив, про живое думать следует. Легко сложить руки на груди, если на большее они не годны».

* * *

На дворе было ветрено. Юрдок застегнул пиджак на одну пуговицу, остальные, он и не заметил когда, отлетели-оторвались. Три дуба, среди которых ютилась хатка-халупа, сердито шумели вековыми ветвями. Недалекий ельник, казалось, подхватывал их стон и, словно упругий мячик, катил, гнал в даль, в самые чащи.

Юрдок поплелся по зарослям полыни и пижмы, прятавшим его с головою, к саду Прокопа. Там и вчера старик собирал опавшие яблоки — боровинки и малиновки. При мысли о яблоках Юрдок почувствовал оскомину на нескольких зубах, которые еще кое-как держались во рту. «Ничего, пару штук съем, а там и по грибы стаскаюсь».

Юрдок пробирался через высоченную стену разнотравья, будто аист через аир и осоку. Голова, словно воткнутая в узкие плечи, при каждом шаге дергалась вперед. Если смотреть на него со спины, то кажется, что именно голова помогает идти Юрдоку, заставляя ноги тянуться следом. Правда, еще и руки, что раздвигают заросли, не дают старику заблудиться и свалиться тут, в пустом и диком одиночестве. Нет, не голод отнял силы у Юрдока, всему виной годы и эти бессонные ночи.

Но... Юрдок идет по своей деревне. Да, так. Именно по своей деревне. Пусть она и небольшая. Пусть далековато от людных городов да наезженных дорог, шума вонючих машин. Она всегда была отдаленной деревней. Но она его святой уголок, его и еще нескольких десятков людских душ. Только где

теперь те люди? Один Юрдок плетется по своей деревне. Сады. Только сады напоминают, что тут жили люди.

«Вот же зараза, проклятая погань, — шепчет сам себе Юрдок, — зачем было разрушать, закапывать хаты, хлевки да пристройки? Все в землю закопали. Для чего? Пусть бы были под небом, а не гнили в земле. Время и само бы их туда вогнало. Хорошо, хоть Палагеину истопку не тронули — моего пристанища. Не взял, видно, зубастый бульдозер дубов. Побоялся вековых деревьев. Не затронул, объехал. Стоит Палагеина халупа. Одна-одинешенька, как и я, на всю деревню. Я и эта хатка. Ничто говорит, что он пригнал меня сюда. Может, он и эту хатку-халупу мне оставил? Спланировал, доброхот. Все продумал...

Ага, вот и сад. Кислые яблоки. Хотя и хорошо улежавшиеся, а кислые. Нужно посмотреть, как там вчерашний костерок. Угли еще должны тлеть. Сырец вечером клал. Две недели нет дождей, а то залили бы. Ничего, спички припрятаны. Жаль, нечего курить. Отдыхает моя грудь. Очищаются легкие после стольких лет. Эх, теперь бы хоть несколько кустиков самосада... Говорят, трудно жить без еды. Трудно-то трудно, но без папиросины еще хуже. Нет, о других судить не берусь, это для меня хуже. Пусть свечереет. Тогда разведу костерок. А пока что схожу в лес, может, наткнусь на какого подлетного птенца. Хорошо, что не поленился, собрал птичьих яиц. Около половины ящика еще есть... Не думал я, что так долго меня не смогут словить. Проклятые милиционеры не знают, где искать. А я же тутоньки, где родился и вырос. Где Варьку в жены взял, — подумав про это, Юрдок посмотрел на свои руки, выронил собранные яблоки. — Эх, Варька-Варька, и кто тебя подогнал под мой горячий кулак. Теперь и детей у меня, считай, нет. Отреклись сыновья. Хотя и раньше они не особо меня жаловали».

* * *

Ничто тенью ползло за Юрдоком. Прислушивалось к каждой мысли старика. Наслаждалось. И как было не радоваться, не веселиться! Веками Ничто жило здесь, в этой деревне, среди людей. Справляло вместе с ними родины и свадьбы, вздыхало на похоронах и поминках. Было всегда так: люди и Ничто — одно целое, неразделимое. Нет, не прав тот, кто думает, что оно, Ничто, порождение лишь одного зла. Это ошибка, глубокое заблуждение. Хотя и добром оно тоже особо не отличалось. Ничто родилось, кормилось и росло вместе с поколениями людей этой деревушки. Они, жители деревни, взрастили Ничто. Добром и злом его кормили, сочувствием и завистью, любовью и ненавистью, смехом и слезами. Жители деревни вырастили его, и вот на тебе — оставили в одиночестве. Бросили, как чужака, как завшивевшую и подранную рубаху, словно зачумленную подслеповатую собаку. Бросили то, что растили поколениями. Нет, Ничто с этим не согласно. Оно не может уйти отсюда, из разрушенной бульдозерами деревни. Оно и теперь в зоне, в радиации охраняет деревню, вспоминая о тех, кто здесь жил. Долгими ночами и днями Ничто порхало над былыми подворьями, вместе с ветрами скулило в густых зарослях бурьяна, голосило в садах, среди деревьев, путалось в кустах красной и черной смородины. Так и продолжало жить, обрастая обидой и одиночеством, до тех пор, пока не вернуло сюда Юрдока. Насильно, обманом привело Юрдока домой.

И вот теперь донимает старика, неотступно волочится за ним. Будто утоляет свой голод разговорами с Юрдоком. Ничто никак не может избавиться

от глубоко засевшей в нем обиды на сельчан, на людей вообще. Тяжким бременем навалилось оно на Юрдока, а тот, старый недотепа, не может понять: Ничто хочет, чтобы повинился он перед ним от лица всех тех людей, женщин и мужчин, которые жили тут. «Повинись, Юрдок, и я стану другом твоим, советчиком и помощником. Ночами буду оберегать твой сон, а не надрывать твое сердце. За километры отведу от тебя непрошеных гостей. Повинись, старик. Искренне и от души покайся за то одиночество, на которое вы все меня обрекли. Уважь, Юрдок, я отходчивое». — Тенью ползет за стариком Ничто, нашептывает ему эту просьбу, но тот не слышит. Пока у Юрдока другие заботы и хлопоты. Лишь ночью старик прислушивается к каждому шороху в хатке-халупе, к нескончаемым мыслям в голове. Хотя Ничто и злится, но не оставляет Юрдока. Тенью огромного мотыля ложится на плечи старика.

* * *

«Второпях сбежали мы отсюда. Бросили на произвол судьбы все, что наживалось годами, и, как в прорубь головой, — в свет белый подались. В чужую, непонятную, пугающую жизнь выправились. И кто меня или мою Варьку там ждал? — Юрдок снова покосился на свои руки. В лучах солнца и на самом деле они показались красноватыми, словно плохо отмытыми от крови. Мотнув головой, он отогнал минутное наваждение. Постоял, посмотрел вокруг, и, увидев торчавшее из земли, обросшее мягким зеленоватым мхом бревно, присел на него. — Послушался сыновей, Варьку уговорил. Как же, ведь старикам предложили однокомнатные квартиры в городе. На более легкую жизнь позарился, пропади она пропадом. Оторвался от своей земельки, в немилые сердцу кирпичины влез... Известно же: дров не нужно, по воду к колодцу ходить — тоже. Смешно, но уборная — и та с обогревом. Да только не мое это, не наше с Варькой, — Юрдок машинально спрятал руки за спину, — чужое все, чужое и неприятное. Оно не радует, не ласкает глаз и душу. Что делать в той кирпичной квартире? Послоняешься с утра до вечера из угла в угол, походишь возле подъезда, перекинешься словом с такими же бедолагами, как сам, — и все. А весной, как только земля на солнце прогрелась, руки стало жечь, будто у чесоточного, — хотелось зерна в нее бросить... Кажется: волком бы завыл, да нельзя, подумают: обезумел Юрдок, помутилось у него в голове. Нет, люди добрые, не в голове помутилось, а душа бунтует. Заросшие сорной травой сотки меня звали, мои сотки земли, которые раньше были досмотрены и ухожены. Они меня каждую весну звали. В первые годы с надеждой и чаянием, а потом все тише и тише становился их голос. Становился тише, но не смолкал. И я слышал их, слышал... Господи, и чем тебя мы так прогневали, что ядовитым пеплом посыпал ты наши огороды и наделы, поля и леса, крыши наших хат, воду в реках и родниках, все исхоженные дороги и тропинки. Не радовала меня легкая жизнь. Даровая она. Не с мозоля, не с пота. Не привык я, старый Юрдок, к такому. Может, и Варьку-то мою от отчаяния погубил. Вроде бы и чарки в рот не брал, а смотри ты, руку на нее поднял. Как на духу говорю: не помню я той черной минуты, не помню, как не помню и не знаю времени сотворения Мира. Но она, моя Варечка, посиневшая, лежала на диване, словно устала после того, как день проходила с граблями по кочкам с осокой. Неужто я своими руками совершил все это?»

Ничто слушало мысли старика. Вначале весело посмеивалось, открыто скалилось. Но чем больше укорял себя Юрдок, тем сильнее жалело его Ничто. Оно чувствовало, как сжимается, исходит болью, бьется в груди у Юрдока

сердце. Видело Ничто и слезы, которые крупной росой катились по заросшим густой седой щетиной щекам и бороде старика. Ничто охватило сочувствие. Оно укоряло себя за необдуманное, недоброе испытание, которое устроило Юрдоку. Но тогда ему было одиноко, а теперь нет. Теперь они вдвоем. Юрдок заменил для Ничто всех жителей деревни, которые о нем давно забыли. Они забыли, а вот Ничто помнит все и всех. Особенно дорог ему Юрдок. Потому что он более слабый, податливый, добрый и чувствительный. Он не перестал любить эту деревню, не очерствел душой. Не смог многолюдный, жестокий, бездуховный город приглушить голос Ничто. И Юрдок, услышав этот голос, с затуманенной головой бросился домой. Сюда, в единственный дом, который имел и имеет. Не важно, что снесли бульдозеры его хату, уничтожили двор. Теперь весь этот заросший бурьяном пустырь — дом Юрдока.

«Не печалься, успокой сердце свое, мой сосед, — просило, нашептывало Ничто. — Придет та ночь, когда я открою правду. И тогда ты перестанешь себя зря донимать. А пока еще рано. Боюсь, что сбежишь, и я снова останусь в одиночестве. Страх перед наказанием удерживает тебя, Юрдок. А может, и нет? Может, все не так, и я просто ошибаюсь? Скажи, Юрдок! Признайся: я тебя сюда заставило прийти или зов сердца и души привел? А, Юрдок?»

Старик не слышал голоса Ничто. Он не сводил глаз с неровной, зубчатой щетки ельника. Как раз вдоль него тянулась деревенская улица Темный Лес. Там когда-то жили родители Варьки. Пацаном шастал он мимо их окон. А немного дальше, возле колодца, находилась хата кума Николая. Он вместе с Катериной Гавросихой крестил его сыновей.

«Боже, когда это было? Кажется, что в минувшей, прежней жизни. Солнце тогда грело ярче и теплее, лето дольше длилось, в лесах грибов и ягод — не перетаскать, а сам я не чувствовал своего тела. Даже не знал, с какой стороны в груди сердце, просто не слышал его, а теперь вот стучит, как часы, отсчитывает конец моих зим и лет. Стучи, не дай забыть, что еще живой, что нужно еще жить.

Мерзнут руки, будто зимою, и кости трещат, хоть ты дегтем их смазывай. Выстужено мое тело. А чего же я хотел? Уже молодым жеребчиком не поскачешь. Годы лежат тяжелой ношей. Ее не сбросишь, не расправишь плечи, свободно не выпрямишься. Удивительно одно: сколько ни оглядывайся назад, а кажется, что вовсе и не жил, и светлой радости не испытал... Чепуха! Всякого пришлось хлебнуть вдоволь, попробовать и сладкого, и горького. Помнится — кто-то говорил из стариков, — тогда меня это не волновало, — что под конец жизни человек не боится остаться один, так как живет не будущим, а прошлым, своими воспоминаниями. Чистейшая правда, вот только быть одному — грустно и неуютно. Но все же страха нет. Может, раньше я и уставал от пустых разговоров, беспорядочных дней. Просто жил последние годы без радости в душе и сердце, не ждал ни чудес, ни счастья, которое окутывает человека, как кокон личинку мотылька, спасая от ежедневной гнетущей, серой будничности... Глупеешь ты, Юрдок, глупеешь. Какого счастья хочешь? Какая радость должна согревать твою грудь? Ты вернулся домой. И этого хватит под самую завязку, по горло».

Юрдок и сам не заметил, как добрел до хаты-халупы. Осторожно сухой веткой разгреб вчерашнюю золу в еще теплившемся костерке, перевернул несколько тлевших угольков и, став на колени, подул на них, подсунул свернутую бересту, снова подул. Береста, словно живая, крутнулась раз, другой, затрещала и вспыхнула пугливым огоньком.

«Грибов соберу позже, — решил Юрдок, — а пока сварю пару яиц. Вода в чугунке есть. Теперь пусть закипит».

— Подброшу сушняка, быстрее будет, — Юрдок не заметил, что в последнее время привык говорить сам с собой вслух.

Сизоватый дымок от костра поднимался над густыми зарослями пижмы, полыни и крапивы и, легкой полосой выбиваясь из-под могучих дубов, низким осенним туманом стлался вокруг Палагеиной истопки.

Юрдок и Ничто спокойно сидели у костра на суковатом бревне и с наслаждением смотрели, как веселые языки пламени лижут закоптившиеся, черные бока чугунка...

* * *

Милицейский уазик медленно катился по бывшей улице бывшей деревни. Впереди в кабине сидели водитель и грузный мужчина в пятнистой форме. На заднем сиденье — старушка и чернявый молодой человек. Старушка внимательно смотрела через боковое окошко машины, лицо ее выдавало нескрываемую печаль, тоску и давнишнюю скорбь. Ее подбородок, словно осиновый лист на ветру, мелко дрожал, но глаза, на удивление, были сухими. В них чувствовались опустошенность, отчаянье и безверие. Молодой же человек смотрел вперед через лобовое стекло с безразличием. Ему было грустно видеть это запустение, одичавшие, а кое-где уже и засохшие яблони и сливы, груши и черешни, кусты вишняка, которые беспорядочно и бессистемно расползлись по заросшей травой земле.

«Ничего хорошего я здесь не видел. Рос дикарем среди таких же дикарей. Появился на свет при дымной коптилке, хотя и был уже конец шестидесятых. До самой армии не знал, что такое поезд. Босиком в школу бегал. Учительница Клавка учила четыре класса в одной хате. Четыре ряда парт — четыре класса... Родная деревня, родной дом... Ха, смешно, — чернявый молодой человек широко усмехнулся, блеснув желтыми фиксами зубов. — Там родной дом, где хорошо и уютно, сытно и спокойно. Чего не хватало отцу? Выделили же квартиру в городе, пенсию получал неплохую. Доживай век и радуйся. Все под руками, ни о чем голова не болит. Так нет. Маразм погнал куда-то. Вторую неделю не знаю покоя, носимся с матерью по области, ищем. Вот добрались и до деревни, так называемой родины. Хотя в районе и предупреждали, что пусто тут, бульдозером все свернули, закопали. Но мать не уговорить, потянула сюда. Мол, сердцем она чувствует, что отец тут. Ну, где? Где тот отец? Что старого, что малого — не хочется обижать. Хорошо, хоть ребята-милиционеры, охраняющие зону, посочувствовали маме и дали машину. А если бы нет? Пришлось бы топать пешком. Одного не пойму: чего тянуться в эту пустошь? Мертвое тут все, околелое. Дикость. Как я мог когда-то расти в таком месте? Ни тебе горячей воды, ни тротуаров. Во время дождей — грязи по колено, в жару — пыли столько, что не продохнуть. Правду говорят: родившегося в болоте на поляну не вытянешь жить. Хоть себе и воняет илом и ряской в том болоте, но для всех убогих оно родное и единственно дорогое. Тьфу ты, сельская дурость, деревенский идиотизм, дебильность врожденная. Глупая философия и слюнтяйство в голошениях по трухлявым, гниловатым домам и хатам. Нет, такое житье не для меня. Пусть они, родители, живут прошлым, воспоминаниями об огородах, о своей земле, о тихих летних вечерах да об упругих утренних перезвонах кос на луговинах. Это их связь, переплетение с жизнью... Кто бы мне сказал: ну для чего я прусь в эту радиацию? Разве что глотнуть мертвой зоны? Неправда. Нет

никаких чувств. Грустно. Просто и понятно — грустно», — чернявый протяжно вздохнул, ерзнув на сиденьи.

«Мой ты Юрдочек, дорогой человек мой, и куда, за чем тебя понесли твои ноги? Не сказав и слова, на ночь глядя из дому пошел. Ничего же плохого и нелюдского я тебе не сделала, ничем не обидела. Как ребенка малого, смотрела, угождала, а ты сбежал. — Варька не отрывала взгляда от окошка. — Вот и я, Юрдочек, благодаря тебе побуду на родной земельке, посмотрю на былую свою селитьбу. Хоть и трудно теперь опознать место, где она располагалась. Все кругом одинаковое и похожее. Перевернулась жизнь наша, с ног на голову опрокинулась. Нет деревни, нет дворов, людей разбросало по свету, но в моей памяти и теперь все стоит так, как раньше было. Ночами во сне я хожу повсюду, с каждым соседом наговорюсь вдоволь. Раньше намного чаще приносили меня домой сны, а теперь редко добираюсь сюда... Эх, Юрдок, что же тебя толкнуло бросить меня и уйти неведомо куда? Только бы сердце не обмануло, чувствую, что встречусь с тобой на нашей земле, возле наших лесов».

— Взгляни-ка, Василь, на дубы, — нарушил молчание водитель, обращаясь к другу-коллеге, грузноватому мужчине. — Кажется, дымится там что-то. Видишь легкую поволоку дыма над травами?

— Угу, — отозвался тот. — Останови машину, туда не подъедешь. Пройдемся пешком.

* * *

Юрдок, пригревшись возле костерка, дремал. Ничто тоже посапывало, прильнув тенью к старику. Булькала вода в чугунке, расплескивая брызги на хорошо разгоревшиеся сухие хворостины и ярко-красные ветки. Вековые дубы, казалось, сдерживали шум ветра в своих кронах. Словно все кругом боялось потревожить сон Юрдока и Ничто.

Юрдоку снилась пареная картошка в глиняной миске и полнехонький гладыш кислого молока. Он протягивал чернявому младшему сынишке ломоть еще теплого хлеба, который Варька недавно вынула из печи. Жена стояла тут же, возле стола, с тарелкой в руках, на которой лежали крупно нарезанные куски сала. Варька смотрела на него и маленького сына с добродушной улыбкой.

А Ничто виделось, что снова скулит оно одиноко среди заброшенных деревьев и кустов, тоскует под стрехой развалюхи-истопки, бесприютно летает ночами над мертвой, захороненной в земле деревней. Словно и не было долгих разговоров с Юрдоком после опустошенного, молчаливого десятилетия. Всего одна-единственная неделя общения показалась старику месяцами. Ничто хотело одного: только бы Юрдок не вспомнил, что не поднимал он своих рук на Варьку, не губил ее, даже пальцем не тронул. Его жена там, среди людей, а Юрдок пусть бы оставался единственной радостью для Ничто...

Варька с сыном и двое милиционеров стояли под дубами возле догоравшего костерка и молча смотрели на задремавшего старика и чугунок с кипятком, в котором варилось несколько гладких побелевших камешков. Они не видели только Ничто, которое сиротливым ребенком прижималось к Юрдоку.

Узелок на цепочке

Он вспомнил ту давнюю поездку в Ригу неожиданно и внезапно. Именно когда шел мимо Красного костела. Тогда, как и теперь, осень все вокруг готовила к зиме. Неторопливо и неуловимо, день ото дня опускала ниже тучи на небе, утренним холодом окутывала смарагдовые, еще не зачахшие травы на газонах и городских лужках, комкала листву и добавляла в ее прожилки спелой желтизны. Даже восковости. Не щадя. Так годы жизни высушивают и морщат лицо человека, наполняя кровь в жилах ядом увиденного и пережитого. Когда здоровый и полный жизни румянец вытесняется желчью.

Рига и Минск в одну минуту будто смешались, заполнились друг другом. И тот далекий осенний день слился в крепком французском поцелуе с сегодняшним, настоящим, вот этим.

Уплыли в никуда два десятилетия. Провалились в непроглядную пропасть. Ему стало хорошо и уютно в самом себе, в Риге-Минске, в юности-зрелости. Удивительно, но он даже ощутил, что и волосы на голове как будто стали гуще и приобрели одинаковый цвет, избавившись от нелепой ранней седины.

Инстинктивно скользнув рукой в карман за сигаретой и зажигалкой, вытянул и зажал в губах беломорину, а вместо газовой зажигалки чиркнул спичкой. Его не удивило, почему в кармане беломорина вместо «Премьера» и пинские спички там, где всегда лежала изящная черная зажигалка.

Ветер подхватил облачко табачного дыма и понес через тротуар — в сторону тощего каштана.

Глаз выхватил из небольшой и реденькой в воскресное утро группки людей на автобусной остановке красивую и стройную фигуру девушки в укороченной юбочке и рядом с ней старушку с узелком в одной руке и ведром с синюшными переспелыми сливами в другой. Прошлое и будущее стояли рядом, не замечая друг друга. Туча отплыла, высвободив клочок неба, и между девушкой и старушкой рассыпался сноп лучей, обозначив расстояние между ними. Даже солнце устрашилось, а может, и не захотело объединить и обогреть высокий каблучок молодости и стоптанный башмак старости...

Ему внезапно до немоты стало жаль старушку, ее искривленных ревматизмом рук и ног, лица, на котором беспощадное время оставило борозды своего невидимого плуга.

Первой в приоткрытые двери автобуса вскочила девушка и последней из ожидавших пассажиров воткнулась в утробу машины старушка. Около остановки остались лежать три потрескавшиеся сливы.

В тот осенний день он впервые увидел Домский собор. Несмело и осторожно вошел. Удивился безлюдью, просторности, внутреннему изяществу и высоте собора, гладким деревянным скамейкам.

«Обещали органный концерт. Я вчера приобрел билет на него. Хочу послушать орган в живом звуке, а не на заезженном проигрывателе в студенческом общежитии. Душа требует необычного, сказочного, не повседневного... Да и сам еще многое сделаю: в теле достаточно силы и крепости... Я хочу услышать орган».

Второпях он не заметил аккуратного объявления на дверях — концерт отменялся.

«Но при чем тот осенний день теперь, сегодня? Неужели только из-за отдаленного сходства между Рижским собором и Красным костелом?

Чепуха. Я загрустил по затяжным и моросящим осенним дождям. Только не нужно никогда спешить. Все должно идти своим чередом, соединяя

в цепочку звенья жизни. День цепляется за день, месяц за месяц, а год за год. Вот только сегодня кто-то ненароком или умышленно скрутил мою цепочку в узел-узелок. Хотя глупость все это. Ни больше ни меньше».

— Почему глупость, братец ты мой?

Рядом с ним стоял он сам же. Не призрак, а из плоти и крови, с грустными вдумчивыми глазами, которые смотрели куда-то в неведомую и недосягаемую даль.

— Знаю, что теперь ты начал перед тем как лечь спать — молиться. «Отче наш» — три раза. Самоотверженно, прочувствованно и с умилением, — *второй он* взглянул на *первого*. — И как, помогает?

Первый молчал, держа в губах погасшую папиросу. Только сейчас он понял, что в глубине души предчувствовал эту встречу. Мысль о ней все время удерживалась где-то в подсознании. Ее еще называют встречей со своей совестью. Но обычно это происходит перед смертью. Когда человек завершил свой путь, перевернул последнюю страницу жизни и изменить ничего уже не может.

— Не волнуйся, я не вестник смерти, — *второй он* усмехнулся, и в его глазах блеснули хитринки, которые были похожи на двух светлячков сбоку от дороги в глухой темной ночи. Когда кажется, что ты заблудился, идешь на ощупь, надеясь только на внутреннее, инстинктивное зрение, и вдруг — пара зеленовато-бледных светлячков в росистой траве. И все меняется. Ты чувствуешь и дорогу, и окрестность, даже припоминаешь, где какая колдобина или поваленное дерево находится.— Устал? — сочувствующе, как только мать может спросить, поинтересовался *второй он*. — Известно же. Извини за глупый вопрос. Дарованная человеку жизнь — не только всецело радости и удовольствия. А наитяжелейшее испытание на выдержку и силу, стойкость в преодолении проблем и невзгод, которые, словно мошкара накануне лета, донимают со всех сторон. Говорю тебе прописные истины, которые ты давно постиг сам, но есть и другое: научись прощать все и всем. Умом ты понимаешь этот Божий завет, но душой не можешь принять.

Первый хмыкнул, хотя ему не терпелось рассмеяться: «Какая глубина в поучительной мысли. Вывески с подобными словами имеются чуть ли не на каждом молитвенном доме. Мол, полюби ближнего своего, как самого себя. Я бы полюбил, если б мог. Но боюсь, что останусь без последней рубахи...»

— Вот-вот, — *второй он* грустно и как-то безнадежно вздохнул, — все вы боитесь за то, что **на вас**, а не за то, что **в вас**. Я знаю, можешь не убеждать в том, что жизнь безвозвратно перевернулась, поменялись местами приоритеты и ценности. Теперь белое выдается за черное, а черное — за красное. Что слишком много крови и злобы, ненависти вокруг. И дело даже не в стремлении выжить, а в борьбе за уют и выгоды... Обо всем этом я знаю. Как-никак, нахожусь постоянно рядом с тобой, хоть ты и не хочешь этого замечать. Беда в том, что стали уничтожать в человеке человека. И ты из тех, кто делает то же самое. Даже вкус и наслаждение почувствовал. Так ведь?

Первый промолчал. Только пожал плечами.

Они неторопливо шли по проспекту в сторону площади Победы. С подметенных тротуаров дворники убирали там-сям опавшие печальные кленово-липо-каштановые листья. Разных расцветок, оттенков и размеров. В чистом и досмотренном городе чувствовалось мучительное одиночество. А может, это только для них двоих: для него *первого* и для него *второго?* Они были рядом и в то же время недосягаемо далеко друг от друга. Но их пока что сплачивала паутинистая связь однокровности и соединяли переплетенные звенья цепочки.

Дворники-уборщики, почему-то одни мужчины, с совками и обгрызенными бетоном вениками гонялись за разноцветной осенней красотой. Внешняя чистота без чистоты духовной — что-то ирреальное и парадоксальное.

Они шли плечом к плечу. И хотя были похожи, как два зернышка проса, на них никто не обращал внимания. Поравнявшись с бывшим кафе, которое завсегдатаи обычно называли «мутным глазом», *второй он* замедлил шаг, его гладкий лоб наморщился, уголки губ дрогнули.

— Ты еще не забыл Люсю? — *второй он* остановился.

Первый соприкоснулся с ним плечом.

— Пожалуй, забыл, — *второй он* сплел пальцы рук; нервно хрустнули суставы. Звук получился, как от сломанных сухих веток: резкий и посреди проспекта неестественный. — Так вот, удавилась она семь лет тому назад. А помнишь, какая была куколка? Ей бы по подиумам прогуливаться, ласкать красотой взгляды мужчин, любить и быть любимой, нарожать детей, а она — веревку на шею. Не спрашиваешь, почему? Догадываешься, — *второй он* тронулся с места. — Конечно, страшно, когда нет внутреннего согласия с собой.

— Но так живут тысячи, — осмелился не согласиться *первый.* — Живут, находя радость в мелочах. Из них же и складывается наша жизнь. Вот я счастливый, что сегодня неожиданно для себя не вылеживался в выходной, а почему-то поперся к Красному костелу, вспомнил Ригу и собор, даже услышал звуки органа, которые на самом деле вживую не слышал. А еще вчера хотелось выть от опустошенности, душу крепко охватила тоска. Даже от встречи с любовницей отказался. Видишь, то было вчера, а сегодня уже другой цимус. Мне хорошо и спокойно. Просто нужно научиться пережидать. Помнишь, что было написано на перстне мудрого Соломона?

— Да-да, — хрипловато выдохнул *второй.*

Первый взглянул на него и все понял.

— Значит, **ты** меня повел к костелу, чтобы вернуть в прошлое, когда еще казалось, что в жизни для тебя не существует ничего невозможного. Захотел — и оно будет.

— Не спеши с выводами, — *второй он* дотронулся ладонью до локтя *первого.* — Сам же только что доказывал: нужно уметь переждать, не подгонять то, что и само придет.

— А что все же с Люсей случилось? Почему она так?

— Обычный СПИД. Для вас, нынешних, обычный. Она не хотела сдаваться, как могла, так и боролась, но, извини, граница терпения у каждого своя. Рано или поздно, а все оплачивают свои долги. В мире продумана каждая мелочь. Помнишь, в школе нас учили: ничто никуда не исчезает. Правда, раньше доказывали, что только поступки отзываются в будущем, а вот теперь, кажется, осознают, что и мысль со словом — материя.

— Люся же не была гулящей девкой, — словно не слышал *первый второго.* — Она всегда имела одного партнера. Пока была с кем-то, других на выстрел к себе не подпускала. Я-то знаю об этом. Может, начала колоться или...

— Ее прошлое уже не перепишешь... Хотя в свое время все могло сложиться совсем иначе. Из памяти еще не стерся тот вечер, когда, хорошо посидев в «мутном глазе», ты заприметил молоденькую актрисулю из Купаловского. Наивное личико, стыдливо уставленные в стол глазки, ладошки прикрывают округлые колени. Ну, просто тургеневская барышня, вся чистенькая — и душой, и телом, — будто капелька из святого источника. И Люська для тебя стала неинтересной, в одно мгновение — бывшей, полностью изведанной. Она сразу же это почувствовала. Кому-кому, а женщинам такое дано природой. Люська тебе не надоедала, она пошла, как говорили в то время, «по

столам». Ни словом тебя не попрекнув. Так как ты сам сделал выбор. Жаль, но забыл в те минуты, что твоя чистейшая родниковая капелька — актриса. Она хлебнула и попробовала всего аж через губу.

— Не будем о грустном. За собой никакой вины не чувствую, — совершенно спокойно сказал *первый.* — С Люськой у меня все равно ничего бы не вышло.

— А с актрисулей? — едко, с издевкой спросил *второй.* — Она же на третий день тебя пробросила. Отправила далеко-далеко. Потому что имела свои планы. Непонятные и непостижимые для тебя. Люська же, несчастная, все надеялась, что одумаешься, попросишь прощения... Она бы простила. Тебе обязательно простила бы.

— Я по жизни одинокий волк. Ты же это знаешь.

— Знаю. От счастья одиночества тебя и спасаю, — хмыкнул *второй он.* — Неужели до сих пор не дошло, для чего завязалась в узелок твоя цепочка жизни. Почему спутались, соединились в единое вчера и сегодня?

Первый молчал. Он смотрел на белый прогулочный катер на темной осенней воде Свислочи. Разноцветные флажки трепетали на ветру. Оттуда, с палубы, приглушенно доносилась знакомая мелодия — хит конца восьмидесятых.

Перед глазами промелькнули старушка с узелком в одной руке и ведром синюшных слив в другой, влекущая фигурка девушки на высоких каблуках. Приоткрытые двери автобуса и три засыхающие сливы возле опустевших скамеек остановки. А еще привиделись оттуда, с белого катера, грустно-улыбчивые глаза Люськи, да утихающий ветер как будто доносил ее голос: «Мы с тобой никогда-никогда не расстанемся. Правда? Как в сказке, будем жить долго и счастливо и умрем в один день».

— Видишь, еще в твоей душе не погиб росток ответственности за тех, к чьим судьбам ты причастен. Не так все безнадежно, как мне казалось, — *второй он* обошел стайку голубей, которые клевали засохший кусок батона. — Ты гордишься своей независимостью. Тем, что никому и ничем не обязан. На самом же деле так не бывает — пусть человек и не хочет признаваться в этом. Так как побеждает эгоистичный самообман: мол, всего я достиг сам. Один уверен, что живет и кормится благодаря своим умственным способностям, другой — природной хватке, третий — умению приспосабливаться к различным ситуациям, а кто-то — покладистости или бескомпромиссности. Вздор! Все забывают, что живут благодаря друг другу...

— Тупо и запутанно, — не выдержал *первый.* — Гнилая философия, от которой отдает заплесневелой толстовщиной в частно-индивидуальной интерпретации.

— Спорить не буду, однако ты понял мою мысль. Не притворяйся, что она для тебя — лабиринт без выхода.

— Ага, давай еще перейдем к Фрейду, как любит делать один из моих знакомых.

— Каждый ищет, на что бы опереться, — *второй он* неожиданно закашлялся и сплюнул прямо под колеса прошмыгнувшей мимо них иномарки. — С твоим знакомым все понятно: он хочет видеть в других то, что чувствует в себе, и одновременно боится убедиться в этом. Неуверенность в себе — страшная вещь.

— И откуда все знаешь? Ты же остался там, когда я на белый свет смотрел широко раскрытыми глазами и всюду видел только доброе. Каждому верил и доверял. Принимал жизнь с распростертыми руками, с открытым сердцем, которое еще не топтали грязные подошвы.

— Потому знаю и чувствую, что остался таким же, каким и был прежде. Мне не дано огрубеть, покрыться коростой недоверия и жестокости, на зло отвечать злом. Не разучился любить жизнь и людей, — *второй он* приобнял *первого* за плечи. — Поверь, тогда все воспринимаешь иначе. Из памяти еще не стерлись те годы счастья. Ну, вспомни, напряги мозги, шевельни извилинами, брат!

— Чего ты от меня хочешь? Так все хорошо начиналось. Неужели обязательно нужно испортить настроение? Зачем прилип?

— Цепочка же завязана. Звенья из прошлого и настоящего переплелись. Ты еще хочешь в Ригу, не пропало желание послушать орган? Посмотрись в зеркало, ты теперь тот, прежний. Хотя и знаю, что никогда не носил и не носишь карманного зеркальца. Ты взгляни на меня и увидишь — себя.

— Брат, мне надоело это déjà vu, — взмолился *первый.*

— Не лги. Так как на все смотришь моими, прежними глазами, дышишь моими легкими, и сердце у тебя сейчас без шрамов. Оно юное и горячее, и готово любить. Что, не так?

Первый ничего не ответил.

— Вот видишь... Знаю, что тебе захотелось сейчас, как и когда-то, не думая, купить билет, сесть в автобус и поехать в деревню, увидеть мать, пройтись по лесным тропинкам, навестить могилы отца и бабушки, послушать тишину полей, вдохнуть запах родной хаты и напиться воды из нашего колодца. Неподвластен теперь ты городу, не держит работа. Ты свободный как прежде.

— Я реалист, — *первый он* снова скользнул рукой в карман за сигаретами и вытянул, как обычно, премьерину, щелкнул любимой зажигалкой. Затянулся неторопливо, глубоко, как делал это из года в год. — Давно нет нашей деревни, землей засыпана хата, и вода в колодце загнила, протухла. Да и ни одной тропинки теперь не найдешь. Вот только на кладбище ничего не меняется. Там даже новых холмиков не появляется. И время будто остановилось однажды и навсегда. Там царит вечность.

Теперь *второй* ничего не ответил. Они молча перешли через подземный переход на ту сторону проспекта и только приблизились к броской вывеске «Кадр» на сером фасаде дома, как *первый он* почувствовал, что кто-то довольно сильно хлопнул ему по плечу.

— Е-мое, на всю улицу зову, голос сорвал, а ты топаешь, будто под кайфом. С утра коньячку хлебнул, что ли? Сегодня выходной, так что ты для меня не начальник, а я не подчиненный, — перед ним стоял Максим, его сотрудник.

Первый он крутанул туда-сюда головой — *второго* нигде не было. Ветер гонял по тротуару последние листья с деревьев. Громыхнул трамвай на рельсах, мимо пронеслась с включенной сиреной милицейская машина, о чем-то взахлеб рассказывал Максим, а *он* искал глазами того, *себя второго*.

«Значит, узелок на цепочке развязался, звенья распутались. Да разве могло быть иначе? А вдруг...»

Перевод с белорусского Наталии Костюченко.





НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Тюльпаны Победы

Цветы Победы — красные тюльпаны —
Как радости безбрежной паруса.
Их факелов ликующее пламя
Безудержно стремится в небеса.

Багрянородных лепестков пожар...
Их пурпур затаил, стократ воспетый,
И желтое, и черное — муар
Торжественной георгиевской ленты.

На дне темнеет траурный атлас.
Фанфары смолкнут. Онемеют горны.
И ласковая ночь утешит нас,
Когда тюльпан от горя станет черным.

Мы принесем с почтеньем ветеранам —
В строю они иль обрели покой —
Похожие на кровь солдат тюльпаны,
Рожденные для них родной землей.





ЕВГЕНИЙ КОРШУКОВ

Судьба

Рассказ

Это случается всегда так: неожиданно. Болезнь не выбирает времени. Ее не уговоришь — подожди, мол, вот у меня работа срочная, да и праздник на носу… Она, болезнь, безжалостна и неумолима. И со мной обошлась точно так же, как и с другими. Прихватила перед самым Новым годом. Но, как говорится, нет худа без добра. Именно предпраздничная выписка больных позволила занять мне освободившуюся койку. Даже в двухместной палате. Повезло, кажется, и с соседом…

Вхожу со своим домашним саквояжиком в палату, а он стоит у окна, почти двухметрового роста детина, озабоченно вертит в руках мобильник.

— Не срабатывает! — вздыхает огорченно.

Но тут же, спохватившись, уже другим тоном, даже как-то обрадованно, обращается ко мне:

— Да вы проходите, проходите… Извините, вот мобильник что-то забарахлил — не могу дозвониться… Ну, наконец-то у меня сосед появился… Давайте знакомиться. Вас как, отец, величают? Иван Петрович, говорите? Ну, а я — Дмитрий… В общем, Дима… Снимайте свою шубейку, вешайте, в углу — шкаф…

Я стал раздеваться, несколько смущенный развязностью еще сравнительно молодого человека. Но на продолговатом красивом лице играла доброжелательная, располагающая улыбка. Курчавые волосы падали на высокий лоб, а под ним светились удивительно голубые глаза. Когда я присмотрелся к Дмитрию, моя привычная сдержанность как-то сама собой уступила место свободному общению.

Простота общения никогда меня не шокировала, наоборот — позволяла чувствовать себя раскрепощенно, находить нужный тон в разговоре, быть ближе к собеседнику. Правда, «отцом» назвал меня Дмитрий зря… Так еще никто не называл. А вдруг и действительно постарел я за эти полгода, болея? Ведь не случайно говорят, что не возраст, а болезни старят человека.

Пока я суетился, раскладывая в тумбочке свои нехитрые пожитки, переодевался в спортивный костюм, он доверительно, словно извиняясь, мягким с хрипотцой голосом рассказывал мне о своей болезни: подвело сердце. И крепенько: предстоит серьезная операция. Шунтирование… Я, естественно, постарался подбодрить его: дескать, эти операции и у нас делают не хуже, чем за рубежом… Дмитрий и соглашался со мной, и не соглашался:

— Вы правильно говорите, отец! Но болеть мне никак нельзя: дело стоит! Пока я буду лечиться, мои помощники зашьются…

Я не стал расспрашивать Дмитрия, что за дело у него, чтобы не показаться излишне любопытным. К тому же в это время вошла медсестра и, слегка пору-

гивая Дмитрия за непослушание (постельный режим, лежать надо!), стала готовить его «под капельницу».

Теперь я занял место у окна. Вечерело. Внизу, вокруг старой разлапистой ели, уже белел снежок. Сумерки становились гуще, окрашивая окрестности в призрачно-голубоватый цвет. С нашего второго этажа хорошо просматривался больничный дворик, широкое, выступающее вперед крыльцо. На асфальтированной, очищенной от снега площадке суетились, выискивая поживу, вездесущие голуби. Один из них даже подлетел к моему окну и уселся на карниз, заглядывая в комнату. Мне всегда было жалко этих полуголодных птиц. Впереди — морозная зима! Все ли перезимуют, выживут? Но, в конце концов, чем и наша, больных, судьба лучше? Кому-то повезет одолеть хворь, а кому — нет… Всякое может случиться.

Поставив капельницу Дмитрию, медсестра торопливо ушла обслуживать других. Потом соседу, как тяжелобольному, привезла и ужин. Я перекусил своим: по опыту знал, что на довольствие поставят только со следующего дня. Утром пожалует к нам и лечащий врач. И потекут безрадостные больничные дни…

После ужина Дмитрий как-то быстро уснул, а я достал из саквояжа остросюжетный детектив, который уж больно расхваливала дочь, но с первых же страниц почувствовал к нему отвращение… Удивительно, что находит в этих повестях и романчиках, в этом дешевом чтиве нынешняя молодежь, что ее привлекает? Откровенно сексуальные приключения героев, загадочные убийства? Нет, это не мое… Отложив книгу, я незаметно для себя задремал…

Проснулся от негромкого голоса Дмитрия:

— Вы спите, отец?

— Вздремнул малость…

— А мне — не спится… Вот так проснусь среди ночи и до утра не сомкну глаз…

— Что, сердце беспокоит?

— Если б только сердце… Дела беспокоят! Я ведь предприниматель, фирмач, пусть и маленький, но хозяин: производжу товары домашнего обихода. Думаете, легко? Конкуренция заела! Того и гляди обойдут, обведут вокруг пальца.

Наши койки стояли рядышком, и я видел повернутое в мою сторону, слегка заросшее щетиной, крупное лицо Дмитрия. В полумраке комнаты, которая тускло освещалась стенными светильниками, оно уже не казалось таким молодым, как прежде. Не скрывая любопытства, я повернулся к соседу — так близко общаться с представителями нового класса мне еще не приходилось, приготовился слушать.

— Ну, теперь, слава Богу, дела мои, кажется, получше: люди подобрались в фирме знающие, старательные, да и я их ценю, не обижаю. А было… Вы даже не представляете, сколько сил ушло, чтобы сколотить небольшой капитал, стать на ноги. Занимался всем чем угодно! Даже винцом приторговывал… А что было делать? Наша большая страна развалилась, прежнее место службы, конечно же, мог потерять — пошли сокращения, словом, спасайся кто как может. А тут старый друг подвернулся, земляк, разбитной малый, давай, говорит, попытаем счастья в коммерции. И пошло, и поехало! Хотя, признаться честно, не мой это хлеб… Я ведь, отец, кадровый военный, офицер… С отличием училище закончил!

На какое-то время Дмитрий умолк, тяжело вздохнул, задумался. И не трудно было догадаться, что в эти минуты воспоминания перенесли его в то прошлое, когда ему и жилось спокойно, и служилось хорошо, и служба при-

носила радость и удовлетворение: быть военным, офицером, всегда у нас считалось престижным, защищать Родину — нравственным долгом. Это высокое чувство воспитывалось со школьной скамьи… Должно быть, Дмитрий искренне сожалел об утраченном в жизни. Таких, как он, чью судьбу жестоко поломала крутая история большой страны, встречалось мне немало. И совсем не удивился я, когда, привстав с кровати, мой сосед заговорил взволнованно, горячо, не скрывая своей душевной тоски и горечи:

— Случилось так, отец, что я ушел из армии в звании майора, слышите? А служил в самой дальней точке страны. И еще как служил… Не хвалюсь, но мой ракетный расчет был лучшим в части. И отмечали, и награждали…

Увлекшись воспоминаниями, Дмитрий уже с воодушевлением рассказывал мне о современных ракетных комплексах и сложной аппаратуре управления под многометровой толщей земли и бетона, о том, что простое переключение тумблера на пульте позволяет видеть, как в глубине шахты чувствует себя ракета, готовая к пуску в любую минуту, что нам, простым смертным, даже трудно представить душевное состояние ракетчика, ни с чем не сравнимую ответственность человека, которому вверено это грозное оружие для защиты Отечества…

Я не люблю громких фраз, но взволнованность Дмитрия невольно передалась и мне — в его откровенном рассказе, в интонациях голоса не было рисовки, фальши или желания удивить меня.

Но вот Дмитрия словно что-то остановило: прервав свой рассказ, он устало откинулся на подушку, и я подумал, что на этом разговор и закончится. Наверняка он мысленно вернулся в сегодняшний день с его заботами и проблемами, к своей болезни. И уже совсем другим голосом, слабым и неуверенным, в котором не было прежней живости, он грустно произнес:

— Мне б только поднакопить малость зеленых… Вон дочери растут! Пусть не знают нищеты: обеспечу их, а потом…

Я понял, что имел он в виду под словом «потом», что недосказал этот беспокойный, измученный тяжелой болезнью человек.

Дмитрий отвернулся к стене, но уснул не сразу. Он ворочался, тяжело вздыхая, я дернул за шнур стенного светильника, и комната погрузилась в ночной полумрак.

Хлопотливое больничное утро было точно таким же, как и прежние, пережитые мною в прошлом. Заглянула к нам санитарка, принесла лекарства медсестра, появился во время обхода врач. Вопросы и ответы о самочувствии, ободряющие слова… Оживился, повеселел и Дмитрий. Лежа в кровати, он то и дело посматривал на ручные часы. Оказывается, к нему вот-вот должна прийти жена. До ее прихода Дмитрий успел сообщить мне, что это необыкновенная женщина — не только прекрасная хозяйка, но и удивительная мать: трех дочерей растит… И когда к нам постучали, я сразу понял: супруга Дмитрия, и поспешил открыть дверь.

В палату вошла маленькая круглолицая женщина. В большом, не по росту, больничном халате, она выглядела как школьница. Поздоровавшись, мелкими шажками направилась к мужу, присела на край кровати. Я не стал смущать их своим присутствием и вышел в коридор. Тут, у окна, стоял старый, с облупленной обшивкой диван для посетителей. Присев, решил дочитать вчерашнюю газету, которую прихватил вместе с книгой из дому. Что-то заинтересовало меня в зарубежной хронике, и я не заметил, как из палаты вышла жена Дмитрия.

— Можно побеспокоить вас? — услышал над собой ее тихий голос. — У меня к вам просьба…

— Пожалуйста, пожалуйста… Говорите!

— У вас есть мобильник?

Я вспомнил, что неразлучный мой спутник лежит еще в саквояже, — не доставал, домой не звонил. Позвоню, когда все определится с лечением.

— Вы хотите позвонить? Подождите минуточку, сейчас принесу, мобильник у меня в палате…

— Нет, нет, не надо… Наоборот! Спрячьте мобильник и не показывайте мужу! Не дай бог, Дмитрий позвонит на предприятие… Там такое творится! Этот звонок окончательно убьет его…

В устремленных на меня тревожных глазах женщины я прочел больше, чем она могла сказать: страдание и растерянность. Она беспомощно опустилась рядом со мной на диван. Крупная слеза блеснула на щеке… И уже не обращая внимания на меня, заговорила полушепотом, всхлипывая, не скрывая своего отчаяния:

— Господи, как я просила тебя, Димочка: не уходи из армии… Сколько пролила слез… Там, там было твое настоящее место! А ты… не послушался. Большие деньги поманили… И вот опять погорел! Все потерял… Здоровье потерял… Будь они прокляты, эти деньги!

С трудом взяв себя в руки, она встала и, не прощаясь, горестно опустив голову, побрела к выходу.





Потоки солнечного света

Рубрика «Три моих поэта» в применении к поэту Валерию ГРИШКОВЦУ, которого сегодня мы представляем как переводчика, выглядит явно неполной. Любимых поэтов у него гораздо больше. В свою книгу «Белой вежи свет», только что вышедшую в издательстве «Літаратура і Мастацтва», он включил более ста белорусских поэтов. И все они с Берестейщины, где живет и сам автор переводов.

— Валерий Федорович, чем вызван Ваш интерес к творчеству земляков: соображениями патриотизма, судьбами, качеством стихов? Честно говоря, из Вашей книги мне было нелегко выбрать для этой публикации только трех поэтов.

— Я включил в антологию только то, что считаю настоящим. Есть стихи — есть имя. Даже если поэт из сотни написал два-три стихотворения, трогающих душу. Поэтому авторов выбирал не по рангу, не по членству в писательском союзе, а по стихам. Присутствовали в работе над книгой и соображения патриотизма, и отношение к судьбе того или иного автора.

— Судя по Вашим собственным книгам «Время отправления», «Круг аистиный», «Белые мосты», публикациям в «Нёмане», московских журналах и газетах, Ваша поэтическая планка весьма высока. Как Вы шли к мастерству, к признанию?

— Насчет мастерства, думаю, это все-таки в отношении меня громко сказано, но, как мне думается, самая лучшая школа для пишущего профессионально — жизнь. Именно она учит главному в литературе — правде и новизне. Даже самая будничная жизнь, если вглядеться, лишена штампа, скуки, банальности. Я родился в Пинске, но судьба довольно крепко помотала по свету: Крым, Казахстан, Сибирь, Прибалтика… Служил в армии. Сменил не одно место, не одну профессию. В житейском плане это, конечно, не очень хорошо, а вот в творческом кое-что значит. Сейчас — собкор брестской областной газеты «Заря» в Пинске. Опять же, как говорится, в гуще жизни. Что же до личного творчества, до отношения к Слову, то тут, безусловно, надо вспомнить Высшие литературные курсы в Москве, знакомство с замечательными российскими поэтами и переводчиками. Мне повезло и на учителей в литературе, и на друзей по цеху.

— Что бы Вы посоветовали младшим коллегам, пока еще безвестным, но жаждущим утвердиться в поэзии? Тем, кому Литинститут имени М. Горького по разным причинам, прежде всего материальным, не «грозит»?

— Частично я ответил на этот вопрос: нужно учиться у жизни. Читать классиков. Не только для наслаждения, но и для учебы. Обдумывать чувства, а не стенографировать их. Не бояться собственной искренности. Быть взыскательнее к себе. Не бояться неудач. Не переоценивать успех. Короче говоря, не шибко «жаждать утверждения», но работать, работать, работать…

— Спасибо!

Беседовал Юрий Сапожков.

Анатоль ШУШКО

Стошанам

Миколе Антоновскому

I
Не развеешь того, что звенело, цвело.
Сердцу сладко, и ясно, и слезно.
Не разменишь всего, что живет, хоть прошло, —
Память вечна, бездонна и звездна.
Мы с тобою весной полем юным идем
Через прошлое — в завтра.
Что утраты, измены, потери — живем!
И живет наш и критик, и автор.

II
Весна!
Капели песня, тишины,
Метель отвыла, отзвенела.
Мать на заплот несет жбаны,
Она сама помолодела.
В траве просветится, в листке,
Теплом засветится желанным,
Душа отметится в строке.
А сердце — то комель родной — Стошаны.

На стежке в жите

Мудрые колосья.
Им расти, цвести.
Так и мне бы надо
По годам идти.
По-за краем — небо,
Зори, тишина.
Сквозь ноздринку хлеба
Жизнь
до дна
видна.

Попытка гекзаметра

Любимая, веришь, сегодня я видел,
как розу целует
Солнечный луч, что, как ангел,
к тебе за рассветом ворвался.
Прикосновением мира
снимал он росинки с ресниц, что ночуют,
Ласкою уст, лишь бы день поскорей,
как вчера, воскресался.

Валуны

Вы — словно тени предо мною
Далеких пращуров моих,
С невыплаканной их бедою,
С глухой мольбой и болью их.
О, валуны — в родных просторах,
Наверно, вечность вас хранит.
И все ж дух предков непокорных —
Он в сердце ваше не проник?
И что горячею подковой
Конь Калиновского порой
Из вас не высечет багровый
Огонь?..
И ваша жизнь — покой?
О, валуны! Какая сила
И кто вас может разбудить?
Вы — как погасшие светила…
Неужто вновь вам не светить?..

Светлана ЛОКТЫШ

* * *

А мамины руки, как птицы летают —
Усталости мамины руки не знают.

И крестик за крестиком ровно кладется,
Как будто беседа о чем-то ведется.

То красный, то белый ложатся узоры:
У мамы в руках — словно плещутся зори.

Чаруют, влекут — обо всем забываю, —
То мамины руки рушник вышивают.

И тихо за ниткою песня ведется —
Как в жизни без любого горько живется.

* * *

Не зови меня неземною:
Я не я без моей земли,
Той, что предки пахали сохою
И в которую сами легли.

Первый крик, первый шаг ребенка,
И, как выдох, впервые — «люблю!»
Беды, радости и невзгоды —
Только с нею одной делю.

А когда невзначай однажды,
Завершив свой нелегкий шлях,
Отойду — да, в нее, — то ромашкой
Поднимусь на ее полях.

* * *

Что делаю я здесь и почему?
Не полюблю я это, не приму.
И разве не знаком мне хруст купюр,
Рассчитанный скорей на круглых дур?!
Зачем все эти клубы, рестораны,
Приправленные фальшью и обманом?
И с кем поговорить, когда весь свет
Теперь лишь сеть — пускай и Internet?
Домой, домой! К родимому углу,
Под отчий кров, к уюту и теплу.

Анатоль КРЕЙДИЧ

Торба поэта

Микола Купреев идет.
Торба в руке.
В торбе
Грушки-гнилушки,
Недопитая бутылка «Русской»,
«Непазбежнасць»,
«Фантазии»,
Шматок белорусского сала.
Возле дерева в парке остановился,
Торбу положил,
Подумал,
Сел на пенек,
Достал бутылку и грушку,
Выпил жадно «с горла»,
Деснами грушку сжевал,
Снял с сердца боль,
Бережно в торбу положил.
Люди идут и идут:
«Вам помочь?»
И не могут поднять торбу.
Все вместе — много-много людей — кряхтят,
А торба —
Ну хоть бы с места.
— Что в ней? — спрашивают.

— Боль, —
Улыбнулся Микола беззубо,
Одною рукой
Торбу поднял,
Другой на палку оперся,
Пошел,
Мелко переставляя
Больные ноги.
Пошел в пущу
К своим волкам,
Что умеют по-человечьи плакать;
К своей женщине,
Что сыплет просо с подола курам,
Оголив белые ноги;
К своему Богу,
Что горько улыбается,
Глядя на людей,
И молится на поэта;
К своей Беларуси,
Что спасет себя
Святым Духом.





ЭДУАРД МОРГАН ФОРСТЕР

Комната с видом

Роман

Глава 6. Преподобный Артур Биб, Преподобный Катберт Эгер, мистер Эмерсон, мистер Джордж Эмерсон, мисс Элинор Лавиш, мисс Шарлотта Бартлетт и мисс Люси Ханичерч двумя экипажами едут в горы любоваться видами. Возничие — итальянцы.

Не иначе как сам Фаэтон вез их в тот памятный день во Фьезоле — юноша горячий и безответственный, — он безжалостно стегал кнутом хозяйских лошадей, понукая их взбираться по каменистому склону. Мистер Биб сразу узнал его. Ни эпоха фанатичной веры, ни века сомнений не наложили на него своего отпечатка, это был все тот же Фаэтон из Тосканы, правивший своей колесницей. И рядом с ним на козлах сидела Персефона, которую он испросил разрешения подбросить по дороге, выдав за свою сестру. Высокая, стройная, бледнолицая Персефона, по весне возвращающаяся в дом своей матери. Она все еще заслоняла глаза рукой от непривычно яркого света. Мистер Эгер был против: дескать, доска с той стороны не такая прочная и вряд ли выдержит второго седока. Но после вмешательства дам, в виде исключения, богине разрешили сесть рядом с богом.

Фаэтон тотчас набросил на нее левую вожжу, что дало ему возможность обвить рукой ее стан. Она не противилась. Мистер Эгер, сидя спиной к лошадям, продолжил свой разговор с Люси. Помимо них в карете сидели мистер Эмерсон и мисс Лавиш. Ибо случилась ужасная вещь: мистер Биб без ведома мистера Эгера увеличил состав группы вдвое. И хотя мисс Бартлетт с мисс Лавиш все утро планировали, кто где будет сидеть, в решающий момент, когда были поданы экипажи, все растерялись, и мисс Лавиш полезла вслед за Люси, так что мисс Бартлетт очутилась в другой коляске, вместе с Джорджем Эмерсоном и мистером Бибом.

Туго пришлось бедному капеллану после таких изменений в составе экспедиции. Если он и планировал чаепитие на одной из фешенебельных вилл эпохи Возрождения, от этой мысли пришлось отказаться. Конечно, Люси и мисс Бартлетт были женщины со вкусом, а мистер Биб слыл образованным, разносторонним человеком. Но сочинительница низкопробных романов и журналист, убивший свою жену перед лицом Господа, никак не могли претендовать на такую привилегию.

Люси в элегантном белом платье прямо держала спину и слегка нервничала, но добросовестно внимала речам мистера Эгера. Ее угнетало присутствие мисс Лавиш, и она исподволь наблюдала за мистером Эмерсоном, который после плотного второго завтрака разомлел от качки и весеннего тепла и моментально отключился. У нее было такое чувство, словно сама судьба устроила эту поездку. До сих пор ей удавалось избегать встреч с Джорджем Эмерсоном, который ясно дал понять, что хотел бы продолжать доверительные отношения. Она не захотела.

Окончание. Начало в № 5, 2011 г.

Не потому, что он ей не нравился, а потому, что не понимала, что происходит, и подозревала, что он понимает. Это ее пугало.

Потому что главное — что бы ни считать главным — случилось не в лоджии, а позже, у реки. Потерять сознание при виде пролитой крови — вполне простительно. Но последующее обсуждение, незаметно перешедшее в полное значения молчание, — совсем другое дело. Она усмотрела что-то предосудительное в совместном созерцании темных вод и обоюдном стремлении скорее вернуться домой.

Вначале чувство стыда было слабым. Она даже чуть не присоединилась к экскурсии в Торре дель-Галло. Но чем упорнее она уклонялась от встреч, тем сильнее была потребность в дальнейших уклонениях. А потом, по неисповедимой прихоти небес, взявших в подручные мисс Бартлетт и двух священников, ее лишили возможности покинуть Флоренцию, прежде чем она побывает вместе с Джорджем в горах.

Тем временем мистер Эгер занимал ее светским разговором. Их маленькая размолвка была забыта.

— Итак, мисс Ханичерч, вы путешественница? Изучаете искусство?

— Нет, что вы, не-е-ет!

— Может быть, человеческую натуру, — вмешалась мисс Лавиш, — как я?

— Нет, нет. Я обыкновенная туристка.

— Да? — усомнился мистер Эгер. — Но так ли это на самом деле? Извините за грубость, но мы, постоянно проживающие здесь, смотрим на туристов с некоторым презрением. Их передают, как почтовые отправления, из одного города в другой: из Венеции во Флоренцию, из Флоренции в Рим. Они сбиваются в кучки, как в стадо, ютятся в пансионах и гостиничных номерах и не интересуются ничем за пределами путеводителя. Одна светлая мысль: скорее покончить с одним и приступить к другому! В результате они путают один город с другим, в их головах царит мешанина из городов, рек и дворцов. Может быть, вы видели в «Панче» — девочка спрашивает: «Папа, а что мы смотрели в Риме?» А тот отвечает: «Кажется, Рим — это то место, где мы видели ярко-желтую собаку». Вот вам и туристы! Ха-ха-ха!

— Я с вами совершенно согласна, — вставила реплику мисс Лавиш. Это был уже не первый раз, когда она прерывала поток его остроумия. — Узость кругозора и поверхностность англо-саксонских туристов достигли прямо-таки угрожающих размеров.

— Вот именно. Теперь перейдем к нашей английской колонии во Флоренции, мисс Ханичерч, — а она, знаете ли, довольно многочисленна, хотя и неоднородна. Часть ее составляют люди, занимающиеся торговлей. Но основной костяк — учащиеся и исследователи. Леди Хелен Хаверсток, например, изучает творчество Фра Ангелико. Я вспомнил ее потому, что мы как раз проезжаем мимо ее виллы — вон там, слева. Чтобы ее увидеть, нужно привстать. Нет-нет, не вставайте — можете упасть! Она гордится своей густой живой изгородью... полное уединение! Отдельные критики придерживаются того мнения, будто в этом саду разыгрывались многие сцены «Декамерона», — интересно, не правда ли?

— О да! — воскликнула мисс Лавиш. — Но скажите: какая именно часть сада послужила местом действия восхитительной седьмой новеллы?

Однако мистер Эгер в разговоре с мисс Ханичерч уже перешел к вилле справа, где жил мистер Такой-То — американец, каких мало, а ниже него на склоне горы проживают муж и жена Сякие-То.

— Вы, конечно, слышали о ее монографии «Малоизученные направления в итальянском искусстве средневековья»? А он исследует творчество Гемистуса Плето. Иногда во время чаепития в их особняке можно услы-

шать звонок трамвая, поднимающегося по недавно открытому маршруту и битком набитого потными «дикарями», чья цель «отметиться» во Фьезоле, чтобы потом рассказывать, что они там были. Эти несчастные и не подозревают, какие сокровища культуры находятся у них под самым носом.

Тем временем двое на козлах флиртовали самым беззастенчивым образом. Люси кольнула зависть. Может быть, они единственные по-настоящему наслаждались поездкой. Карету сильно трясло, особенно после того как она пересекла главную площадь Фьезоле и съехала на дорогу, ведущую в Сеттиньяно.

— Тише, тише! — мистер Эгер, не оборачиваясь, изящно помахал рукой у себя над головой.

— Да, синьор, хорошо, синьор, — затараторил возница и хлестнул лошадей, чтобы прибавили скорости.

Мистер Эгер и мисс Лавиш завели разговор о Бальдовинетти. Был ли он одним из праотцов Ренессанса, или, наоборот, под влиянием Ренессанса стал художником?

Всякий раз, когда лошади пускались в галоп, сонная, массивная фигура мистера Эмерсона сталкивалась с капелланом.

— Тише, тише! — страдальчески повторял тот.

Следующий сильный толчок заставил мистера Эгера сердито обернуться. Как раз в этот момент очередная попытка Фаэтона поцеловать Персефону увенчалась успехом.

Разыгралась сцена, которую мисс Бартлетт позднее охарактеризовала как чрезвычайно неприятную. Лошади стали. Влюбленным приказали оторваться друг от друга. Плакали чаевые возничего! Девушке было велено спуститься на землю.

— Это моя сестра, — с несчастным видом пробормотал возница.

Мистер Эгер не пожалел слов, чтобы доказать ему, что он лжет. Фаэтон повесил голову, удрученный не столько самим обвинением, сколько тоном обвинителя.

Пробудившись от сильного толчка, мистер Эмерсон высказался в том духе, что влюбленных ни в коем случае нельзя разлучать, и в знак одобрения похлопал парня по спине. А мисс Лавиш, хоть и не в восторге от неожиданного союза с ним, была вынуждена поддержать представителей богемы.

— Я тоже за то, чтобы девушка осталась! — громко заявила она. — Но вряд ли могу рассчитывать на поддержку присутствующих. Я всегда выступала против условностей. Это-то я и называю настоящим приключением!

— Мы не должны им потакать, — возразил мистер Эгер. — Я давно понял, что он испытывает наше терпение. Ведет себя так, словно мы — туристы от агентства Кука.

— Нет, конечно, — проговорила мисс Лавиш, уже без прежней горячности.

Тут подъехала вторая карета. Узнав, в чем дело, рассудительный мистер Биб сказал, что, по его мнению, влюбленные получили урок и теперь будут хорошо себя вести.

— Оставьте их в покое, — без малейшего пиетета воззвал к капеллану мистер Эмерсон. — Разве счастье так часто встречается в мире, что мы сталкиваем его с козел, на которых оно примостилось? Нас везут влюбленные — такому сам король мог бы позавидовать! Не берите греха на душу!

Мисс Бартлетт обратила внимание других пассажиров на то, что вокруг начали собираться люди.

Мистер Эгер, плохо понимая скороговорку итальянской речи, тем не менее был полон решимости заставить этих людей считаться с собой. Он обратился к парню на его языке, но в его устах бурный поток превратился в злобное шипение.

— Синьорина! — сказал парень, умоляюще глядя на Люси. Она-то тут при чем?

— Синьорина! — подхватила Персефона великолепным контральто и оглянулась на вторую карету. Интересно, почему? Какое-то время девушки молча смотрели друг на друга. Наконец Персефона слезла с козел.

— Победа! — возвестил мистер Эгер, когда карета тронулась.

— Какая там победа, — возразил мистер Эмерсон. — Самое настоящее поражение. Вы разлучили двух счастливых.

Мистер Эгер закрыл глаза. Его можно было заставить сидеть рядом с мистером Эмерсоном, но не разговаривать с ним.

После благодатного сна энергии у старика прибавилось. Сначала он потребовал, чтобы Люси выразила свое согласие с ним. Потом крикнул сыну, сидевшему во второй карете:

— Мы хотели купить то, что не продается. По условиям сделки, он обязался везти нас, что и делает. Но мы не приобрели права на его душу.

Мисс Лавиш поморщилась, как всегда в случаях, когда человек, причисляющий себя к британцам, ведет себя противно национальному характеру.

— Он плохо выполнял свои обязанности. Нас все время трясло.

— Я лично прекрасно выспался. Зато теперь нас действительно трясет — и это не удивительно. Будь его воля, он вывалил бы нас на дорогу — и правильно. А я, если бы был суеверен, опасался бы козней со стороны девушки. Помните Лоренцо из рода Медичи?

Мисс Лавиш ощетинилась.

— Я — да. Только уточните, пожалуйста, о ком идет речь: о Лоренцо Великолепном, или Лоренцо из Урбино, или Лоренцо по кличке Лоренцино — он получил ее из-за своего низкого общественного положения.

— Понятия не имею. Вернее, должен был бы знать, потому что я говорю о поэте Лоренцо. У него есть такая строчка — слышал вчера от кого-то — «Не спорьте с Весной».

Мистер Эгер не мог удержаться, чтобы не блеснуть эрудицией:

— «Non fate guerra al Maggio» — «Не пытайтесь бороться с Маем».

— Вот-вот — именно это мы с вами и пытались сделать. Смотрите, — мистер Эмерсон махнул рукой в сторону долины Валдарно, видневшейся сквозь покрытые почками ветви деревьев. — Вот она, весна, простирается перед нами на добрые пятьдесят миль, которыми мы приехали любоваться. Неужели весна в природе и весна в сердце человека — разные вещи? Нет, конечно. Но мы поем хвалу одной и порицаем другую, стыдясь того, что с нами происходит то же самое.

Никто не поддержал разговор. Наконец мистер Эгер сделал знак обоим возничим остановиться и повел за собой маленький отряд на гору. Между ними и вершиной Фьезоле распростерлась широкая лощина, похожая на гигантский амфитеатр с многочисленными уступами и оливковыми рощами, а извилистая дорога уходила вдаль, к расположенному на равнине мысу. Этот-то мыс — дикий, сырой, заросший кустами и деревьями, и поразил воображение Алессио Бальдовинетти почти пятьсот лет назад. Упрямый, часто непредсказуемый мастер поднялся на гору, то ли движимый практическим интересом, то ли ради восхождения как такового, и оттуда увидел Валдарно, а много дальше — Флоренцию, которую потом без особого успеха изображал на своих полотнах. Но в какой именно точке он стоял, обозревая окрестности? Этот вопрос мистер Эгер и пытался сейчас решить для себя. И даже мисс Лавиш, которую привлекало все малоизученное, спорное, испытала прилив энтузиазма.

Но не так уж легко — хранить в голове яркими и свежими картины Алессио Бальдовинетти, даже если перед экскурсией человек позаботился о том, чтобы освежить память. Да и легкая дымка тумана над долиной не

облегчала экскурсантам задачу. Они прыгали с кочки на кочку; первоначальное решение держаться вместе сменилось желанием разделиться. Люси старалась не отходить от кузины и мисс Лавиш. Эмерсоны вернулись на стоянку и разговорились с возницами. А двое священников, которых, по мнению окружающих, должны были связывать общие интересы, были предоставлены обществу друг друга.

Вскоре спутницы Люси сбросили маски и громким шепотом, к которому она уже привыкла, начали обсуждать — нет, не Алессио Бальдовинетти, а перипетии самой поездки. Перед этим мисс Бартлетт спросила Джорджа Эмерсона, где он работает, и получила ответ: «На железной дороге». Она тотчас пожалела, что спросила. Но кто же мог предположить, что он даст такой вульгарный ответ? Не зря мистер Биб искусно перевел разговор на другое. А она теперь мучилась вопросом: обиделся молодой человек или нет?

— На железной дороге! — ахнула мисс Лавиш. — Ну конечно! То-то я смотрю — он поразительно похож на носильщика. Точно — на Юго-Восточной железной дороге! — и она долго не могла унять смех.

— Тише, Элинор, — просила приятельница. — Еще услышат.

— Ой, не могу. Не заставляйте меня прятать мою зловредную сущность. Носильщик! Это же надо!..

— Элинор!

— Ничего страшного, — сказала Люси. — Эмерсоны не услышат. А если и услышат, не обратят внимания.

На мисс Лавиш ее ремарка подействовала отрезвляюще.

— Вот тебе на — мисс Ханичерч подслушивает наш разговор! — сердито пожаловалась она. — Фу! Уходите, скверная девчонка!

— Ступай, Люси, тебе будет интереснее с мистером Эгером.

— Я уже не знаю, где их искать. Да и не хочу.

— Мистер Эгер может обидеться. Он организовал эту экскурсию в твою честь.

— Нет, Шарлотта, я лучше останусь с вами.

— Нет, правда, — возразила мисс Лавиш, — получается какой-то школьный пикник — мальчики и девочки врозь! Уходите, мисс Люси, нам нужно поговорить о том, что не для ваших ушей.

Однако девушка стояла на своем. Время ее пребывания во Флоренции подходило к концу, и она чувствовала себя свободно только в обществе тех, кто был ей совершенно безразличен. Это включало мисс Лавиш и — в последнее время — Шарлотту. Ей так хотелось не привлекать к себе внимания! Однако подруги были полны решимости от нее избавиться.

— Эти вылазки на природу — такая скука! — промолвила мисс Бартлетт. — Жалко, что с нами нет твоей матери и брата!

Энтузиазм ее иссяк, и она снова почувствовала себя жертвой. Люси тоже не интересовалась окрестностями. Способность наслаждаться жизнью вернется к ней не раньше, чем она окажется в безопасности — в Риме.

— В таком случае присядем, — предложила мисс Лавиш. — Оцените мою предусмотрительность.

Она достала два больших квадратных куска прорезиненной ткани. В походах это — незаменимая вещь, когда приходится сидеть на сырой земле или холодных мраморных ступенях.

— Ну, — сказала она мисс Бартлетт, сияя улыбкой, — кому достанется вторая подстилка?

— Люси, конечно. Я и на земле посижу. Мой ревматизм уже сто лет меня не беспокоил. А если все-таки напомнит о себе, я просто встану. Представляю себе лицо твоей матери, дорогая, если она узнает, что я разрешила тебе сидеть на сырой земле в одном легком платье.

И она тяжело опустилась на траву, туда, где было особенно сыро.

— Ну вот, все прекрасно устроилось. Садись на подстилку, Люси. Ты ведь сама о себе не позаботишься. — Шарлотта закашлялась. — Не волнуйся, это еще не простуда. Просто я уже три дня чуточку покашливаю. Не из-за того, что сижу тут на земле.

Выход из положения был только один. Люси, спасовав перед куском прорезиненной ткани, отправилась на поиски мистера Биба и мистера Эгера.

Она решила справиться об их местонахождении у возниц, которые пыхтели сигарами, стряхивая пепел на сиденья. Давешний нарушитель порядка, рослый костлявый парень, загорелый дочерна, встал, чтобы приветствовать ее, как гостеприимный хозяин, почти родственник.

— Где... — она не сразу вспомнила подходящее слово.

Он просиял, потому что, само собой, знал — где. И не слишком далеко. Он описал рукой три четверти горизонта. Это могло означать, что он все-таки не знает — где.

Люси попыталась вспомнить, как по-итальянски «священник»?..

— Dove buoni uomini? (Где хорошие люди?) — спросила она.

Вместо ответа он продемонстрировал ей свою сигару.

— Uno... piu... piccolo? — был ее следующий вопрос. Это следовало понимать: «Вам дал сигару тот священник, что ниже ростом?»

Она, как обычно, угадала. Парень привязал лошадь к дереву, пнул ее, чтобы стояла смирно, смахнул пепел с сиденья, пригладил волосы, заломил шляпу, пригладил усы и менее чем через четверть минуты был готов ее сопровождать. Итальянцы от рождения прекрасно ориентируются на местности. Казалось, весь мир у них как на ладони. Было бы правильнее сравнить его с шахматной доской, где происходит постоянный обмен фигурами и клетками. Впрочем, в отличие от умения найти нужное место, талант находить людей дается от Бога.

Он только один раз остановился — чтобы нарвать ей крупных голубых фиалок. Люси сердечно поблагодарила его. В присутствии этого простого парня мир был прекрасен и открыт. Она наконец-то почувствовала весну. Он как будто мановением руки раздвинул горизонт, и Люси увидела вокруг множество фиалок — не хочет ли она постоять, полюбоваться ими?

— Ma buoni uomini.

Парень кивнул. Все правильно. Сначала хорошие люди, потом фиалки. Они быстро продвигались вперед через кустарник, который становился все гуще. И наконец приблизились к краю мыса. Молодой человек с удовольствием попыхивал своей сигарой и раздвигал коричневые ветки, чтобы она могла пройти. Люси радовалась своему бегству от уныния и скуки. Каждый шаг, каждая крохотная веточка вдруг приобрели особое значение.

Сзади послышались голоса. Люси показалось, что она узнала голос мистера Эгера. Парень пожал плечами. Молчание итальянца бывает красноречивее всяких слов. Еще мгновение — и перед ней откроется великолепный вид! Она уже различает реку, залитую солнцем долину, другие холмы...

— А вот и он! — раздался торжествующий возглас Фаэтона.

Кусты перед ней расступились, и Люси буквально выпала из леса. Свет и красота окружающего мира ослепили ее. Она приземлилась на небольшую полянку, сплошь покрытую фиалками.

— Мужества вам! — крикнул проводник. — Мужества и любви!

Она вскрикнула. Прямо у нее под ногами начинался живописнейший склон с ручейками, мелкими речонками и водопадами, завихряющимися возле корней старых деревьев, образуя в углублениях маленькие лужицы. Вода была голубой от фиалок.

На краю природного бассейна стоял, как перед прыжком в воду, хороший человек — но не тот, кого она искала, и — один.

Услышав ее вскрик, Джордж обернулся. Несколько секунд он молча смотрел на ту, которая как будто свалилась с небес. Он видел радостное выражение ее лица, видел цветы, голубыми волнами ходившие вокруг ее ног. Он шагнул вперед и поцеловал ее.

Прежде чем к ней вернулся дар речи, чуть ли не прежде чем она что-то почувствовала, рядом прогремел чей-то голос: «Люси! Люси! Люси!» Тишину нарушила мисс Бартлетт, чья темная фигура возвышалась над ними, заслоняя солнце.

Глава 7. Они возвращаются

Какая-то сложная игра разыгрывалась на склоне горы во второй половине дня. Ее цель и расстановка игроков долго оставались неясными.

Мистер Эгер встретил их вопрошающим взглядом. Шарлотта отвлекла его светским разговором. Мистеру Эмерсону сказали, где примерно искать его сына, и он отправился туда. Мистеру Бибу, как подчеркнуто нейтральному лицу, не оставалось ничего другого, как собрать вещи перед возвращением домой. Всеми владело чувство растерянности и неприкаянности. Казалось, в общество экскурсантов затесался Пан — не великий бог Пан, похороненный два тысячелетия назад, а мелкий божок, непременный участник и заводила всевозможных каверз, сопутствующих неудачным вылазкам на природу. Мистер Биб растерял всех своих спутников и вынужден был в гордом одиночестве оприходовать содержимое «чайной корзины», куда перед поездкой заботливо сложил разные лакомства в качестве приятного сюрприза.

Мисс Лавиш потеряла мисс Бартлетт, Люси потеряла мистера Эгера. Мистер Эмерсон потерял Джорджа. Мистер Бартлетт потеряла свою подстилку. Фаэтон потерял надежду на благополучный исход.

Последнее не вызывало сомнений. Дрожа от холода, с поднятым воротником, он взобрался на козлы, предчувствуя скорое и очень резкое похолодание.

— Мы должны срочно возвратиться в город, — убеждал он своих пассажиров. — Синьорино решил добираться пешком.

— В такую даль? — удивился мистер Биб. — На это же уйдет несколько часов.

— Я не смог его отговорить.

Бедняга старался не встречаться ни с кем взглядом: видимо, переживал поражение острее, чем другие. Он один вел себя разумно, воспользовавшись всей мощью своего инстинкта, тогда как остальные полагались на разрозненные клочки интеллекта. Он единственный понял, что к чему и чего он сам хочет. Он, а не кто-нибудь другой, сумел расшифровать смысл послания, полученного Люси от умирающего за несколько дней до поездки. Персефона, вынужденная большую часть года проводить в царстве мертвых, тоже смогла бы его понять. Но не англичане. Этим людям знание дается постепенно, по крупицам, и как правило, слишком поздно.

Догадки возницы, пусть даже правильные, редко что-то значат для господ. Фаэтон был наиболее сильным противником мисс Бартлетт, но и наименее опасным. Скоро они вернутся в город, и он, как свидетель, больше не будет угрожать благополучию британских дам. Конечно, неприятное чувство останется — ведь дуэнья видела его черноволосую голову в кустах — вдруг он будет болтать об этом по тавернам? Но, в конце-то концов, какое нам дело до таверн? Важно только то, что происходит в фешенебельных

гостиных. Завсегдатаи гостиных — вот о ком беспокоилась мисс Бартлетт, сидя рядом с Люси и время от времени ловя на себе инквизиторский взгляд мистера Эгера. Они продолжили разговор об Алессио Бальдовинетти.

Как-то внезапно стемнело, и пошел дождь. Дамы жались друг к другу под ненадежным зонтиком. Сверкнула молния. Мисс Лавиш нервно вскрикнула. Следующая молния заставила вскрикнуть Люси. Мистер Эгер попытался успокоить ее, высказав профессиональную точку зрения:

— Мужество, мисс Ханичерч, мужество и вера! Я нахожу в страхе людей перед природными явлениями что-то кощунственное. Неужели вы всерьез думаете, будто все эти тучи, всё это электричество созданы специально для того, чтобы уничтожить вас или меня?

— Н-нет, конечно.

— Если говорить об электричестве, наши шансы на то, что в нас не попадет разряд, достаточно велики. Из всей поклажи только стальные ножи способны притягивать молнию, да и те находятся во второй карете. В любом случае, мы находимся в гораздо большей безопасности, чем если бы шли пешком. Мужество! Мужество и вера!

Люси почувствовала ласковое прикосновение руки мисс Бартлетт к ее руке.

Временами потребность в сочувственном жесте так велика, что нам нет дела до того, что он означает и чем придется расплачиваться впоследствии. Мисс Бартлетт одним движением мышц добилась большего, чем всеми расспросами, выяснениями и нотациями.

Она повторила этот жест, когда обе кареты резко остановились на полдороге.

— Мистер Эгер, — окликнул его мистер Биб, — требуется ваша помощь в качестве переводчика.

— Где мой сын? — выкрикнул мистер Эмерсон. — Спросите вашего возницу, в какую сторону он пошел! Мальчик мог заблудиться. Его могли убить!

— Ступайте туда, мистер Эгер, — сказала мисс Бартлетт. — Нет смысла расспрашивать нашего возницу, он не знает. Просто окажите бедному мистеру Эмерсону моральную поддержку, а то он сойдет с ума.

— Может, в моего мальчика ударила молния! — верещал несчастный старик. — Его убило!

— Типичное явление, — презрительно уронил капеллан, выходя из кареты. — Перед лицом реальной опасности все эти бунтари сразу ломаются. Становятся совершенно невменяемыми!

— Что он знает? — шепотом спросила Люси у кузины, как только они остались одни. — Я имею в виду мистера Эгера: что ему известно?

— Ничего, дорогая. Но вот этот, — она указала на Фаэтона, — видел и знает все. Может, нам следует... — она достала свой кошелек. — С низшими классами только так можно поладить.

Дотронувшись до спины возницы справочником, она протянула ему франк и прошептала: «Silenzio!» Он поблагодарил и взял. День кончился не хуже, чем все предыдущие. И только Люси почувствовала себя разочарованной.

На дороге случилась авария. Молния ударила в провода, и одна трамвайная штанга рухнула. Не остановись они вовремя, могли быть столкнуться. Мисс Бартлетт и Люси усмотрели в этом небесное знамение. В смятении они вышли из кареты и обнялись. Быть незаслуженно прощенным не менее приятно, чем даровать прощение.

Пожилые участники экспедиции быстро пришли в себя. Мисс Лавиш прикинула, что даже если бы они продолжали двигаться, вероятность столкновения была минимальной. Мистер Эгер прибегнул к сдержанной

молитве. И только итальянцы еще долго взывали к святым и дриадам. Что касается Люси, то она нашла утешение в обществе мисс Бартлетт.

— Шарлотта, милая, поцелуй меня. Еще раз. Ты одна меня понимаешь. Ты предупреждала... А я... возомнила себя взрослой.

— Не плачь, дорогая. У нас еще будет время...

— Я была такой непослушной, такой упрямой — ты даже не представляешь... Там, у реки... Но ведь его не убила молния? С ним ничего не случилось?

Эта мысль не давала Люси покоя. На самом деле гроза на проезжей части опаснее, чем в лесу, но она так близко соприкоснулась с опасностью, что ей показалось — другие тоже.

— Полагаю, ничего. Будем молиться и надеяться на лучшее.

— На самом деле он просто... как и в прошлый раз... просто был застигнут врасплох. Меня так и вынесло на ту полянку с фиалками. Нет, если быть до конца честной, тут есть и моя вина. У меня возникли глупые мысли. Небо казалось золотым от солнца, а земля — голубой от фиалок. На мгновение он показался мне персонажем из сказки.

— Какой сказки?

— О богах... о героях... Ну, словом, обычные девичьи фантазии...

— А потом?

— Шарлотта, но ведь ты же видела, что потом...

Мисс Бартлетт не ответила. От ее цепкого взора действительно почти ничего не ускользнуло.

Всю обратную дорогу Люси вздрагивала и тяжело вздыхала — никакая сила не могла бы удержать эти вздохи.

— Я должна научиться быть абсолютно честной и правдивой. Это трудно...

— Не волнуйся, моя прелесть. Подожди, пока совсем не успокоишься. Мы поговорим об этом перед сном в моей комнате.

Наконец они въехали в город. Люси поразило, как быстро успокоились остальные. Гроза миновала, и мистер Эмерсон уже не так сильно тревожился о сыне. К мистеру Бибу вернулось доброе расположение духа, а мистер Эгер успел «поставить на место» мисс Лавиш. Только Шарлотта осталась прежней — на ее лице были написаны понимание и любовь.

Роскошь откровенного признания сделала Люси почти счастливой, и это чувство владело ею весь вечер. Она не столько анализировала случившееся, сколько подыскивала подходящие слова для его описания. Все ее ощущения, моменты беспричинной радости и недовольства собой — все будет выставлено напоказ перед кузиной. И они вместе, в чудесном единении, распутают и объяснят все от начала до конца.

«Наконец-то, — думала Люси, — я пойму самое себя и перестану сходить с ума из-за сущих пустяков».

В гостиной, после ужина, мисс Алан попросила ее сыграть. Она отказалась. Музыка показалась ей глупым, детским занятием. Она сидела рядом с мисс Бартлетт, пока та с героическим терпением слушала рассказ мисс Алан о пропавшем багаже. А по окончании рассказала похожую историю, случившуюся с ней самой. Эта задержка чуть не довела Люси до истерики. Тщетно пыталась она наводящими вопросами заставить кузину сократить рассказ и таким образом приблизить финал. Только поздно вечером мисс Бартлетт отыскала, наконец, свой багаж и произнесла своим обычным тоном мягкого упрека:

— Ну вот, дорогая, я готова отправляться в Бедфорд[1]. Идем в мою комнату, я расчешу тебе волосы.

[1] Ложиться спать. Обыгрывается англ. слово bed — кровать.

У себя в спальне Шарлотта тщательно заперла дверь, подвинула к Люси плетеное кресло и спросила:

— Ну, что же нам теперь делать?

Люси не была подготовлена к такому вопросу. Ей не приходило в голову, что нужно что-то делать. Все, на что она рассчитывала, это подробная исповедь, честное и полное обнажение души.

— Что будем делать? — повторила мисс Бартлетт. — Потому что теперь, моя прелесть, все зависит от тебя.

По темным стеклам бежали струйки дождя. В комнате было холодно и сыро. Свеча, стоявшая на комоде, рядом со шляпой мисс Бартлетт, бросала зловещие тени на запертую дверь. За окном прогрохотал трамвай. Люси больше не плакала, но ей было невыразимо грустно. Она подняла глаза к потолку, где грифоны и фаготы казались призраками.

— Дождь льет уже четыре часа подряд, — пробормотала она, но мисс Бартлетт не позволила отвлечь себя от главного.

— Как заставить его молчать?

— Возницу?

— Ну что ты! Мистера Джорджа Эмерсона.

Люси заметалась взад-вперед по комнате.

— Я тебя не понимаю.

На самом деле она прекрасно поняла, но у нее пропало желание откровенничать.

— Как ты думаешь добиться, чтобы он не болтал?

— Мне кажется, он и не собирается.

— Хотелось бы надеяться, но, к несчастью, я хорошо знаю этот тип. Эти люди редко держат свои подвиги при себе.

— Что значит подвиги? — больше всего на Люси подействовало множественное число.

— Бедняжка, неужели ты думаешь, что у него это впервые? Сядь и выслушай меня. Я всего лишь анализирую его собственные слова. Помнишь, на днях за обедом он поспорил с мисс Алан — мол, если кто-то нравится, может нравиться и кто-то другой?

— Да, — неуверенно пробормотала Люси. Тогда эта реплика доставила ей удовольствие.

— Я не ханжа и далека от того, чтобы обвинить его в разврате, но ему не хватает утонченности. Если хочешь, отнесем это на счет наследственности или плохого воспитания. Но так мы не продвинемся с ответом на вопрос: что нам теперь делать?

Люси пришла в голову мысль, которая, если бы она хорошо подумала и свыклась с ней, могла бы привести ее к победе.

— Я с ним поговорю.

Мисс Бартлетт испуганно вскрикнула.

— Шарлотта, я никогда не забуду твоей доброты. Но это — моя проблема, ты сама сказала. Это касается только меня и Джорджа Эмерсона.

— Уж не собираешься ли ты умолять его?

— Нет, конечно. Я уверена: это будет совсем не трудно. Я задам ему прямой вопрос — он честно ответит «да» или «нет», только и всего. Я просто испугалась от неожиданности. Но теперь мой страх прошел.

— Зато мы волнуемся за тебя, дорогая. Ты так молода и неопытна, ты росла среди порядочных людей и не знаешь, на что способны мужчины. Они испытывают скотское удовольствие, если оскорбят беззащитную женщину. К примеру, сегодня — если б я не подоспела, — знаешь, что могло случиться?

— Понятия не имею, — серьезно ответила Люси.

Что-то в ее голосе заставило мисс Бартлетт повторить свой вопрос.

— Что случилось бы, если бы я не подоспела?

— Понятия не имею, — повторила Люси.

— Если бы он оскорбил тебя — что бы ты сделала?

— У меня не было времени подумать: ты появилась так неожиданно...

— Но все-таки?

— Я бы... — Люси прикусила язычок и, подойдя к окну, стала смотреть на улицу. Она действительно не знала, как ответить на этот вопрос.

— Отойди от окна, дорогая, — велела мисс Бартлетт. — Тебя могут увидеть.

Люси послушалась. Она чувствовала себя во власти кузины, потому что уже не могла щелкнуть переключателем — и отбросить взятый с самого начала виноватый тон. Вопрос о ее разговоре с Джорджем больше не поднимался.

Мисс Бартлетт продолжала нападать на мужчин:

— Ах, если б рядом был настоящий джентльмен, чтоб тебя защитить! От мистера Биба мало толку. Мистер Эгер? — ты ему не доверяешь. Твой брат? Он еще слишком юн, но я уверена: за честь сестры он дрался бы как лев! Слава богу, не перевелись еще рыцари! Есть мужчины, в чьем сердце живет уважение к женщинам!

Она говорила — и одновременно снимала кольца, которых носила по нескольку штук сразу, и клала их на подушечку для иголок. Потом надула перчатки и стала обследовать — не прохудились ли?

— Нам придется спешить, чтобы сесть на утренний поезд, но мы постараемся успеть.

— Какой поезд?

— Поезд Флоренция—Рим. — Мисс Бартлетт в последний раз тщательно осмотрела перчатки.

Люси приняла новость так же спокойно, как ее сообщили.

— Во сколько он отходит?

— В восемь.

— Синьора Бертолини расстроится.

— Нам придется это пережить, — ответила мисс Бартлетт. Ей не хотелось признаваться, что она уже обо всем договорилась.

— Она потребует, чтобы мы оплатили полную неделю.

— Да. Но мы будем в безопасности только в отеле с Вайзами. Вроде бы, утренний чай там подают бесплатно?

— Да, только за вино придется платить отдельно.

После этого Люси надолго замолчала. В ее усталых глазах Шарлотта пульсировала и раздувалась, как призрачная фигура.

Время поджимало. Они стали вынимать из шкафов одежду и укладывать в чемоданы. Однажды дав себя убедить, Люси засуетилась, курсируя из одной комнаты в другую, всецело поглощенная сборами и связанными с ними мелкими неприятностями. Более важные — и более абстрактные — вещи теперь причиняли ей гораздо меньше хлопот. Шарлотта — более практичная, но не такая ловкая, стоя на коленях перед открытым чемоданом, тщетно пыталась компактно уложить книги разного формата и толщины. Время от времени она охала из-за боли в спине. Как ни крути, а старость была уже не за горами.

Люси услышала очередной вздох, и у нее возникло смутное ощущение, что и свеча горела бы ярче, и сборы в дорогу шли быстрее, и мир стал бы более уютным местом, если бы она могла получать и дарить кому-то капельку любви. Она опустилась на колени рядом с кузиной и обняла ее за плечи.

Мисс Бартлетт ответила на ласку со всей теплотой и нежностью, на какие только была способна. Но она была неглупа и догадалась, что Люси

не любит, а только нуждается в ней. Поэтому после длительной паузы мрачно, со страхом спросила:

— Люси, милая, простишь ли ты меня когда-нибудь?

Люси насторожилась и ослабила объятие. Она уже знала по горькому опыту, что значит простить Шарлотту.

— Мне нечего прощать.

— Есть, и многое. И мне самой есть за что прощать себя. Я раздражаю тебя на каждом шагу.

— Ну что ты...

Но мисс Бартлетт уже вошла в свою излюбленную роль — мученицы.

— Да! Я чувствую, что наше путешествие оказалось не таким удачным, как я надеялась. Нужно было раньше догадаться. Тебе нужна спутница моложе, сильнее и симпатичнее меня. Я только и гожусь на то, чтобы паковать и распаковывать вещи.

— Шарлотта, пожалуйста!..

— Единственное утешение — в том, что ты нашла себе более подходящую компанию и временами могла уходить на прогулку одна. У меня свои представления о том, как должна вести себя леди, но, надеюсь, я навязывала их тебе не больше, чем это было необходимо. Во всяком случае, ты настояла на своем в истории с комнатами...

— Не говори так, — мягко остановила ее Люси, все еще веря, что они с Шарлоттой искренне любят друг друга.

— Я не справилась, — продолжала Шарлотта, сражаясь с ремнями на чемодане Люси вместо того, чтобы заняться своим. — Не выполнила свой долг перед твоей матерью. Она была так великодушна. Я не смогу смотреть ей в глаза после этой катастрофы.

— Мама поймет, что ты тут ни при чем. И никакая это не катастрофа.

— Нет, катастрофа, и я одна во всем виновата. Она не простит меня и будет права. Например — какое я имела право дружить с мисс Лавиш?

— Все права на свете!

— Но не тогда, когда я должна была присматривать за тобой. Я пренебрегла своим долгом. Твоя мама сделает именно такой вывод после того, как ты ей все расскажешь.

— А зачем об этом рассказывать?

— Ты же привыкла ничего от нее не скрывать.

— Обычно — да.

— Я не смею злоупотреблять твоим доверием. Это — святое. Разве что ты сама решишь, что этот эпизод не стоит того, чтобы о нем говорить.

Люси остро почувствовала свое унижение.

— В обычных обстоятельствах я бы рассказала. Но если ты говоришь, что мама обвинит во всем тебя, могу и не рассказывать. Ни ей и никому другому.

На этом обещании разговор резко закончился. Мисс Бартлетт расцеловала Люси в обе щеки, пожелала ей доброй ночи и отправилась к себе.

Инцидент, послуживший первопричиной всех этих переживаний, был отодвинут на второй план. Джордж вел себя по-скотски — наверное, со временем Люси усвоит именно такой взгляд на происшедшее. В настоящее же время она ни осуждала, ни оправдывала его. А потом, всякий раз как она решала во всем разобраться, голос мисс Бартлетт заглушал ее собственный. Той самой мисс Бартлетт, чьи вздохи еще долго доносились до нее сквозь щели в перегородке. Мисс Бартлетт, которая на самом деле не была ни уступчивой, ни кроткой, а показала себя настоящей артисткой! Годами она представлялась Люси серенькой, незначительной — и вдруг явилась перед молодой девушкой как олицетворение безрадостного мира, где нет любви, а молодые стремятся к гибели, пока им не преподадут жестокий урок.

Мира запретов, предосторожностей и барьеров, которые могут оградить от зла, но и добра не принесут — если судить по серым лицам тех, кто жил по их законам.

Люси страдала от самого тяжкого горя, какое только знал мир: дипломатический перевес был достигнут за счет ее искренности, потребности в сочувствии и любви. Такое не забывается. Никогда больше она не откроет сердце другому человеку, прежде чем все обдумает и примет защитные меры.

Звякнул колокольчик у входной двери, и Люси бросилась к окну. Но вдруг заколебалась, замешкалась, задула свечу. Теперь она видела того, кто мокнул под дверью, а он ее — нет.

Чтобы попасть в свою комнату, он должен был пройти мимо ее двери. Она была полностью одета. Ей захотелось выскользнуть в коридор и сказать ему, что рано утром она уезжает и что между ними все кончено.

Одному богу известно, сделала бы она это или нет. Потому что в решающий момент мисс Бартлетт выглянула в коридор и попросила:

— На одно слово, мистер Эмерсон, давайте, пожалуйста, зайдем в гостиную.

Потом они вернулись, и Люси услышала:

— Доброй ночи, мистер Эмерсон.

Он тяжело дышал: дуэнья сделала свое дело.

Люси разрыдалась.

— Это неправда, неправда! Я так боюсь запутаться! Скорей бы стать взрослой!

Мисс Бартлетт постучала в стенку.

— Спи, дорогая. Тебе нужно как следует отдохнуть.

Утром они отбыли в Рим.

Часть II

Глава 8. Средневековье

Портьеры в гостиной усадебного дома Уинди Корнер были задернуты, иначе новый ковер быстро выгорел бы в ярких лучах августовского солнца. Они были тяжелыми, эти портьеры, и доставали до пола. Проникая сквозь них в комнату, свет становился приглушенным и рассеянным. Поэт — хотя вообще-то здесь поэтами и не пахло, — продекламировал бы: дескать, «жизнь — многоцветный мозаичный купол», или сравнил бы эти занавеси с воротами шлюза, преграждающими путь безудержному потоку солнечных лучей, льющихся с небес. Иначе можно было ослепнуть, а так — это сверкающее великолепие хоть и не исчезло, но осталось в рамках человеческого восприятия.

В комнате сидели двое. Один, симпатичный девятнадцатилетний юноша, штудировал учебник по анатомии, то и дело поглядывая на лежащий на крышке пианино скелет. Время от времени он начинал ерзать в кресле, кряхтеть и пыхтеть, потому что шрифт был слишком мелкий, человеческий организм — не приспособлен к такой жаре, а его мать, тоже очень симпатичная дама, писала письмо знакомой и периодически читала ему написанное. Или вставала и, чуточку раздвинув портьеры, отчего на ковре появлялась узенькая яркая полоска, сообщала сыну, что «они все еще там».

— И там, и здесь, и повсюду — только и делают, что путаются под ногами, — проворчал Фредди, брат Люси. — Меня уже тошнит от них.

— Сейчас же марш из гостиной! — вскричала мать, искренне убежденная в том, что можно отучить взрослых детей от жаргона, делая вид, будто она понимает их фразы буквально.

Фредди прикусил язык и перестал ерзать.

— Кажется, дела идут на лад, — проговорила мать в надежде, что «они» наконец-то добьются успеха — и без дополнительных усилий с ее стороны.

— Да уж пора бы.

— Хорошо, что Сесил отважился на новую попытку.

— Это уже третья, нет?

— Фредди, мне не нравится твой тон.

— Извини, не хотел тебя обидеть. И тем не менее, я считаю, что Люси могла бы покончить с этим еще в Италии. Не знаю, как выкручиваются другие девушки, но почему бы ей четко и решительно не сказать «нет» — не пришлось бы мучиться сегодня. И вообще, не по душе мне вся эта история.

— Правда, милый? Интересно, почему?

— У меня такое чувство... Ладно, замнем, — он снова уткнулся в учебник.

— Послушай, что я пишу его матери. «Дорогая миссис Вайз!..»

— Это ты уже читала. По-моему, нормально.

— «Дорогая миссис Вайз! Сесил спросил, не возражаю ли я против того, чтобы он сделал Люси предложение, и разумеется, я буду счастлива, если оно будет принято. Но...» — она оторвалась от письма. — Я все-таки не понимаю, зачем Сесилу понадобилось мое разрешение. Он всегда называл себя врагом условностей, и «при чем тут родители», и все такое. А как дошло до дела, почему-то не может обойтись без меня.

— И без меня.

— Что ты имеешь в виду?

— Он и у меня спрашивал разрешения.

— Странно! — воскликнула миссис Ханичерч.

— Это почему же? Чем я хуже других?

— Что ты знаешь о Люси, о девушках и о жизни вообще?.. Ну ладно, что ты ответил?

— «Хочешь — женись, не хочешь — не женись, мне-то что?»

— Неоценимая моральная поддержка!

Но на самом деле мать понимала, что от ее ответа, пусть даже лучше сформулированного, столько же проку.

— Дело в том... — начал было Фредди, но застенчивость помешала ему говорить.

Мисс Ханичерч снова подошла к окну.

— Иди сюда, Фредди. Они все еще там.

— Между прочим, подсматривать неприлично.

— Что значит подсматривать! Я уже не могу посмотреть в окно собственной гостиной!

Тем не менее она вернулась на место, а проходя мимо сына, заглянула в учебник анатомии.

— Все еще на 322-й странице?

Фредди фыркнул и перевернул две страницы сразу. Какое-то время оба молчали. Из сада доносился тихий, нескончаемый разговор.

— Я, собственно, почему дергаюсь? — Фредди нервно сглотнул. — Дело в том, что я, кажется, дал маху в этом разговоре с Сесилом, получилось некрасиво. Ему, конечно, не понравился мой ответ, но он решил, что я просто спятил от радости. Вот и выложил открытым текстом: разве от этого не выиграют и Люси, и Уинди Корнер в целом? Я должен был подтвердить, что он делает нам одолжение.

— Надеюсь, ты ответил обтекаемо, дорогой?

— Я сказал: нет! — процедил Фредди сквозь зубы. — Испортил ему обедню. А нечего приставать. Сам напросился.

— Ну и глупо! — упрекнула его мать. — Ты думаешь, ты такой честный, такой бескомпромиссный? Нет, это одно лишь твое раздутое самомнение. Неужели такой человек, как Сесил, станет придавать значение словам мальчишки? Надеюсь, он дал тебе затрещину? Как можно в таких случаях говорить «нет»!

— Успокойся, мама. Я сказал нет, потому что не мог сказать да. И тотчас захихикал, как бы давая понять, что шучу. Он тоже засмеялся и ушел. Так что, наверное, все не так уж страшно. Просто у меня остался неприятный осадок — будто я во что-то вляпался. В общем, успокойся, и давай займемся делами.

— Нет, — сказала миссис Ханичерч с видом человека, который все обдумал и пришел к определенному выводу. — Я не успокоюсь. Ты знаешь, как сложно у них развивались отношения в Риме, знаешь, что он специально приехал... — и нарочно делаешь все, чтобы его отвадить.

— Да нет же! — взмолился Фредди. — Я просто дал понять, что не в восторге от него. Плохо только, что он расскажет Люси.

Он угрюмо покосился на окно.

— А мне Сесил нравится! — заявила миссис Ханичерч. — Я знаю его мать. Он умен, порядочен, богат и со связями. И нечего пинать ногами пианино! Могу повторить: со связями! — Она сделала паузу, как бы обдумывая продолжение своего панегирика, но выражение ее лица осталось недовольным. — Вдобавок ко всему, у него превосходные манеры.

— Мне он тоже до сих пор нравился. Должно быть, я злюсь за то, что он отравил Люси первую неделю дома. Или на меня подсознательно подействовали слова мистера Биба.

— Мистера Биба? — переспросила миссис Ханичерч, стараясь не выдать своего любопытства. — А при чем тут мистер Биб?

— Ну, ты же знаешь его манеру говорить: можно понять и так, и этак. Так вот, мистер Биб сказал: «Мистер Вайз — идеальный холостяк». Ну, от меня так просто не отделаешься, я пристал — что он имеет в виду? «Он, — говорит, — так же, как и я, лучше себя чувствует, когда он один». Больше я ничего не смог вытянуть, однако задумался. В общем, с тех пор как Сесил притащился сюда вслед за Люси, он уже не кажется мне таким замечательным... не могу выразить свою мысль...

— Зато я могу. Ты просто ревнуешь. Боишься, что Люси перестанет вязать тебе шелковые галстуки.

Этот довод показался Фредди довольно убедительным. Но в голове засело смутное сомнение. Может, дело в том, что Сесил без устали хвалил его физические данные? Навязывал ему свою манеру вести разговор?.. И еще: Сесил из тех людей, которые ни за что на свете не наденут чужую шляпу... Нет, видимо, дело в ревности...

— Так хорошо? — спросила миссис Ханичерч, возвращаясь к прерванному занятию. — «Дорогая миссис Вайз. Сесил только что просил у меня руки моей дочери, и я буду рада, если Люси примет его предложение». Здесь я сделала вставку: «так я и сказала Люси» — придется снова переписывать. — «Так я и сказала Люси. Но мне кажется, она еще не совсем уверена в своих чувствах, а в наше время молодежь должна сама за себя решать. Я знаю, Сесил ей нравится, потому что дочь от меня ничего не скрывает. Вот только...» Видишь ли, я не хочу, чтобы миссис Вайз сочла меня отсталой. Сама-то она посещает разные лекции для расширения кругозора, зато под кроватями толстый слой пыли, а стоит включить свет, как повсюду становятся заметны следы пальцев горничной... да что говорить, дом совсем запущен.

— Если Люси выйдет за Сесила, где они будут жить?

— Не перебивай меня! Так на чем я остановилась? Ах, да. «Молодежь должна сама за себя решать. Я знаю, Сесил ей нравится, потому что дочь

ничего от меня не скрывает, и когда он в первый раз сделал ей предложение, она сразу же написала мне об этом из Рима»... Нет, это лучше вычеркнуть: я взяла слишком покровительственный тон. Оставлю только — «Люси ничего от меня не скрывает». Или тоже зачеркнуть?

— Зачеркни, — авторитетно произнес Фредди.

Миссис Ханичерч подумала — и оставила.

— Вот что получается в итоге. «Дорогая миссис Вайз. Сесил только что просил у меня руки моей дочери, и я буду рада, если Люси примет его предложение. Так я и сказала Люси. Но она еще не уверена в своих чувствах, а в наше время молодежь должна сама за себя решать. Я знаю, Сесил ей нравится, потому что дочь ничего от меня не скрывает. Вот только...»

— Смотри! — воскликнул Фредди.

Портьеры раздвинулись.

Сесила раздражала манера Ханичерчей сидеть в полутьме, жалея мебель, поэтому первым делом он дернул за шесты, и половинки разъехались в разные стороны. В комнату хлынул свет. Взорам открылась терраса, по местному обычаю обсаженная со всех сторон деревьями, а на ней грубо сколоченная скамья и две цветочные клумбы. Но все это бледнело на фоне простиравшегося за террасой пейзажа. Уинди Корнер был построен на одном из холмов, составлявших горную цепь, окаймляющую Суссекс Уилд. Поэтому казалось, будто Люси стояла не на террасе, а на парящем в воздухе ковре-самолете.

В гостиную через балконную дверь шагнул Сесил.

Появившись в этом повествовании с большим опозданием, Сесил несомненно заслуживает подробного описания.

В нем было что-то средневековое. Что-то готическое.

Рослый, хорошо сложенный, с плечами, которые он время от времени распрямлял усилием воли и одновременно откидывал голову назад, он напоминал тех строгих святых, чьи статуи стерегут порталы французских кафедральных соборов. Высокообразованный, одаренный от природы и без каких-либо физических недостатков, он все-таки не избежал когтей дьявола, которого мы называем мнительностью, а в средние века называли аскетизмом. Готическая статуя неотделима от идеи безбрачия, тогда как греческая подразумевает умение наслаждаться жизнью, — возможно, именно это и имел в виду мистер Биб. Не исключено, что и Фредди, будучи полным профаном в вопросах истории и искусства, мысленно выразил то же самое словами «Сесил ни за что не наденет чужую шляпу».

Оставив письмо на столе, миссис Ханичерч двинулась навстречу молодому человеку.

— Ну, Сесил, выкладывай!

— I promessi sposi (я обручен), — сказал юноша.

Ханичерчи нервно уставились на него.

— Люси согласна стать моей женой, — сказал Сесил по-английски и покраснел, отчего показался проще и симпатичнее.

— Очень рада, — сказала миссис Ханичерч, а Фредди протянул Сесилу руку, пожелтевшую от химикалий. Мать и сын пожалели, что не владеют итальянским, потому что наши слова, предназначенные для выражения удивления и восторга, так часто употребляются по разным мелким поводам, что нам кажется профанацией пользоваться ими в более торжественных случаях. Приходится прибегать к туманным поэтическим или библейским образам.

— Добро пожаловать в семью! — и миссис Ханичерч обвела рукой гостиную со всей ее мебелью. — Сегодня поистине день радости! Я уверена — вы сделаете нашу дорогую Люси счастливой.

— Надеюсь, — ответствовал молодой человек, вперяя взор в потолок.

— Мы, матери, — начала было миссис Ханичерч и вдруг поймала себя на чрезмерной аффектации, сентиментальности и напыщенности — то есть на всем том, чего терпеть не могла. Почему она не может вести себя, как Фредди, — тот застыл как изваяние посреди комнаты, мрачный и даже почти красивый.

Почувствовав, что разговор не клеится, Сесил позвал Люси. Она вошла в гостиную и улыбнулась с таким видом, словно собиралась предложить им сыграть в теннис. Но увидев недовольное лицо брата, подошла и заключила его в объятия.

— Спокойно, Люси, — буркнул тот.

— А меня ты не поцелуешь? — упрекнула мать.

Люси поцеловала.

— Веди их на террасу и все расскажи, — предложил Сесил. — А я пока напишу маме.

Он проводил их взглядом. Втроем они пересекли террасу и начали спускаться по ступеням, постепенно исчезая из виду. Он уже знал их обычный маршрут: мимо кустарника, теннисного корта и цветника с георгинами. А дальше — огород, и вот там-то, среди гороха и картофеля, и состоится обсуждение.

Он снисходительно улыбнулся, закурил и стал восстанавливать в памяти события, наконец-то приведшие их с Люси к счастливой развязке.

Он знал Люси вот уже несколько лет, но считал ее ничем не примечательной девушкой с некоторыми музыкальными способностями. Какой это был ужас, когда она и ее жуткая кузина свалились ему как снег на голову в Риме и потребовали, чтобы он сводил их в собор Св. Петра. Тогда она показалась ему типичной туристкой — грубой, измученной. Но Италия оказала на нее благотворное влияние, подарив ей свет и — что он ценил намного больше — тень. Он обнаружил в Люси благородную сдержанность. Для него она стала женщиной с полотен Леонардо да Винчи, которых мы любим не ради них самих, а ради сопутствующей им тайны.

Постепенно светская учтивость и желание покровительствовать перешли если не в страсть, то в глубокое волнение. Уже там, в Риме, Сесил позволил себе намекнуть, что, возможно, они могли бы составить идеальную пару. Его тронуло то, что она не порвала с ним после столь прозрачного признания. Отказ был недвусмысленный и в то же время мягкий, в их отношениях ровным счетом ничего не изменилось.

Тремя месяцами позже, на границе Италии, среди усыпанных цветами Альп, он вторично сделал ей предложение — теперь уже с соблюдением всех формальностей. В этот момент она более чем когда-либо напоминала ему женщину Леонардо. Ее загорелое лицо трудно было разглядеть в тени фантастической скалы. Она обернулась на звук его голоса и оказалась между ним и светом, за ее спиной простиралось обширное плато. Он вернулся домой, отнюдь не чувствуя себя отвергнутым соискателем. Главные чувства и принципы остались непоколебимыми.

И вот теперь он в третий раз сделал ей предложение, и она согласилась, четко и недвусмысленно и в то же время мягко, как всегда, не объясняя причин отсрочки — просто сказала, что любит и постарается сделать его счастливым. Его мать тоже будет довольна: он советовался с ней, она одобрила этот шаг и с нетерпением ждет подробного отчета.

Он проверил, не осталось ли на пальцах желтых следов после рукопожатия Фредди, зажег вторую сигарету и подошел к письменному столу. Там лежало письмо, начинающееся словами: «Дорогая миссис Вайз...», со множеством зачеркиваний. Он тотчас отпрянул и после непродолжитель-

ных колебаний, не читая, устроился в другом углу комнаты и начал водить карандашом по бумаге, разложенной на коленях.

Эта вторая сигарета оказалась менее приятной. Сесил оторвался от письма и задумался о том, как сделать гостиную Уинди Корнер более элегантной. Она и так, благодаря виду из окна, производила хорошее впечатление, однако несла на себе отпечаток Тотенхэм Корт Роуд. Он живо представил себе, как автофургоны крупного мебельного магазина «Шулдред и Мейплз» подъезжают к парадному и оттуда выносят это кресло, эти полированные книжные шкафы и письменный стол... Со стола его мысли перекинулись на письмо миссис Ханичерч. У него не было желания прочесть его — сроду не возникало подобных желаний, — но что-то его все-таки беспокоило. Конечно, он сам дал миссис Ханичерч повод обсуждать его с матерью. Хотел в этой третьей попытке заручиться ее, и не только ее, поддержкой, обеспечить себе тыл перед решающим сражением. Миссис Ханичерч — культурная женщина, но есть тонкости, недоступные ее пониманию, а уж о Фредди и говорить не приходится.

— Фредди еще мальчишка, — размышлял он, — для него я — олицетворение всего, что он презирает. Почему он должен радоваться оттого, что я стану его родственником?

Ханичерчи пользовались в округе уважением, но теперь до Сесила начало доходить, что Люси сделана из другого теста, и, по всей видимости, он должен будет ввести ее в более высокое общество — чем скорее, тем лучше.

— Мистер Биб, — доложила горничная, и в гостиную вошел новый пастор. Он всего лишь несколько месяцев прослужил в деревне Саммер Стрит, но благодаря хвалебным письмам Люси из Флоренции успел завязать дружеские отношения с ее родными.

Сесил окинул его критическим взглядом.

— Вот, мистер Вайз, зашел выпить чаю. Как вы думаете, мои надежды не беспочвенны?

— Думаю, нет. Угощение — это именно то, на что здесь всегда можно рассчитывать. Не садитесь в это кресло: юный Ханичерч оставил там скелет.

— Фу!

— Вот именно... Не понимаю, как миссис Ханичерч это терпит.

Рассматривая скелет отдельно от мебели, Сесил не понимал, что только вместе взятые они вдыхают в гостиную жизнь.

— Так я зашел выпить чаю и обсудить последнюю новостишку. Она стоит того, чтобы немного посплетничать, не правда ли?

— Вы называете это новостишкой? — растерянно спросил Сесил.

— Надеюсь, меня не обскакали? Я встретил по дороге сэра Гарри Отвея. Он купил у мистера Флэка «Сисси с Альбертом»!

— В самом деле? — пробормотал Сесил, приходя в себя. Надо же так опростоволоситься! Разве джентльмен, тем более священник, станет говорить о его помолвке в такой легкомысленной манере? Но напряжение не отпускало, и его мнение о мистере Бибе изменилось к худшему.

— Какое невежество! Неделю прогостить в Уинди Корнер — и не знать «Сисси с Альбертом» — два маленьких смежных домика напротив церкви! Я пожалуюсь на вас миссис Ханичерч.

— Я полный профан в местных делах, — вяло произнес Сесил. — Никак не могу запомнить разницу между приходским советом и органами местного самоуправления. Возможно, тут вообще нет разницы, или это просто неудачные названия. Я всего лишь время от времени выезжаю за город, чтобы повидаться с друзьями и полюбоваться природой. Каюсь, Италия и Лондон — единственные места, где мне не приходится вооружаться терпением.

Расстроенный холодным приемом, оказанным его грандиозной новости, мистер Биб решил сменить тему.

— Послушайте, мистер Вайз, я запамятовал — кто вы по профессии?

— Никто. У меня нет профессии. Это еще одно свидетельство моего нравственного падения. Несмываемый позор на мою голову. Мой подход заключается в том, что, пока я никому не мешаю, я имею право делать то, что хочу. Умом я понимаю, что мой общественный долг — тянуть из людей деньги или всецело отдаться делу, на которое мне совершенно наплевать, но все как-то не могу собраться.

— Везет же вам, — сказал мистер Биб. — Наличие свободного времени — это ли не подарок судьбы!

Он говорил, как подобает священнику, но никак не мог взять верный тон, потому что в душе, подобно всем людям, имеющим постоянное занятие, считал, что и другие должны к этому стремиться.

— Рад, что вы меня одобряете. А то я не могу со спокойной совестью смотреть в глаза нормальным здоровым людям — таким, как Фредди Ханичерч.

— О, Фредди отличный парень!

— Выше всяческих похвал! На таких держится Англия.

Сесил сам себе удивлялся. Почему именно в этот день, как ни в какой другой, в него вселился бес противоречия? Он попытался вернуться на путь праведный, задав нейтральный вопрос о самочувствии матери мистера Биба, пожилой старой дамы, до которой ему не было никакого дела. Потом польстил священнику, похвалив его за широту взглядов и просвещенный подход к философии и искусству.

— А где остальные? — спросил мистер Биб. — Я настаиваю на том, чтобы меня напоили чаем еще до ужина.

— Скорее всего, Энни не потрудилась доложить о вашем прибытии. В этом доме с первого дня пребывания начинаешь вырабатывать в себе терпимость по отношению к слугам. Главный недостаток Энни — привычка переспрашивать, хотя она прекрасно слышит. И ее манера открывать двери ногой. Не могу вспомнить недостатков Мэри, но, уверяю вас, это что-то очень серьезное.

— Я могу напомнить вам главный недостаток Мэри. Она оставляет мусорное ведро на крыльце.

— А Юфимия недостаточно тонко срезает почечный жир.

Они оба покатились со смеху, и дела наконец-то пошли на лад.

— Что до недостатков Фредди... — продолжил Сесил.

— ...их может упомнить только мать. Давайте перейдем к недостаткам мисс Ханичерч, они не столь многочисленны.

— У нее их нет.

— Абсолютно с вами согласен. В настоящий момент у нее их нет.

— Что значит «в настоящий момент»?

— Не сочтите меня циником. Просто я пытаюсь применить к мисс Ханичерч свою излюбленную теорию. Ну разве же они совместимы — неподражаемая игра на фортепьяно и спокойный образ жизни? Подозреваю, что в один прекрасный день она удивит нас и в том, и в другом. Плотина в глубине ее души рухнет, и жизнь и музыка сольются воедино. И тогда мы увидим перед собой героиню — неважно, добрую или злую... Это будет героизм за гранью добра и зла.

Сесил был заинтригован.

— А сейчас вы считаете ее обыкновенной — если говорить о жизни?

— Ну... должен сказать, я встречался с ней только дважды: в Тонбридже, когда она ничем не отличалась от других девушек, и во Флоренции.

К тому времени как я перебрался в Саммер Стрит, она еще не вернулась из Италии. А вы, как я понимаю, встречались с ней в Риме и Альпах, не так ли? Хотя нет, вы же и раньше были знакомы... Во Флоренции она тоже ничем не отличалась от других, но я ждал чуда...

— Какого чуда?

— С равным успехом вы могли бы спросить меня, какую пьесу она сыграет в следующий раз... Просто у меня появилось такое чувство, что у нее растут крылья и она вот-вот взлетит. Я мог бы показать вам рисунок из моего итальянского дневника: на котором мисс Ханичерч изображена в виде воздушного змея, а мисс Бартлетт держит в руках бечевку. Следующий рисунок: бечевка рвется...

В его дневнике действительно был такой рисунок, только нарисованный позднее, когда он взглянул на вещи с художественной точки зрения. А тогда, во Флоренции, он и сам крепко держал бечевку.

— Но на самом деле этого не случилось?

— Нет. Я бы еще мог пропустить момент взлета мисс Ханичерч, но не грохот от падения мисс Бартлетт.

— Так вот, бечевка оборвалась, — тихим, вибрирующим голосом произнес Сесил.

И в тот же миг до него дошло, что из всех способов сообщить о своей помолвке он выбрал самый неудачный. Ох уж это его неумение обращаться с метафорами! Мистер Биб может понять это так, будто он — звезда, к которой Люси взмывает в небеса.

— Что значит оборвалась?

— Ну... Люси дала согласие стать моей женой.

Его собеседник не сумел скрыть своего разочарования.

— Простите. Я не знал, что вы так близки, иначе не позволил бы себе говорить о мисс Ханинчерч снисходительным тоном. Мистер Вайз, вы должны были меня остановить.

Сесил поджал губы. Он ждал не извинений — поздравлений. Вот, значит, как мир отнесся к его подвигу! Конечно, он, как всякий мыслящий человек, презирал мир, но был чувствителен к некоторым свидетельствам своего успеха.

— Прошу извинить меня за то, что я заставил вас пережить шок. Кажется, вы не одобряете выбор Люси?

— Не в том дело. Просто вам следовало меня предупредить. Я знаю мисс Ханичерч недостаточно хорошо, чтобы обсуждать ее характер и поступки — тем более с вами.

— Вы упрекаете себя в нескромности?

Мистер Биб взял себя в руки. Поистине, мистер Вайз обладает даром ставить людей в неловкое положение!

Он воспользовался преимуществом своей профессии.

— Нет, конечно. Во время нашего пребывания во Флоренции я предположил, что ее бедное событиями, безмятежное детство скоро кончится, — и оно кончилось. Я смутно предвидел, что она вот-вот совершит очень важный шаг в своей жизни, — так и вышло. На нее снизошло озарение. Благодаря вам — простите за откровенность, но раз уж мы так начали... — благодаря вам ей открылось, что значит любить. Это величайшее знание, которое дается людям в их земной юдоли.

Тут он снял шляпу, чтобы помахать ею приближающейся со стороны сада троице. И поспешил закруглиться:

— Теперь уже от вас зависит сделать так, чтобы это знание обернулось ей на благо.

— Большое спасибо! — процедил Сесил, чувствуя, что не напрасно он не жаловал священников.

— Нет, вы слышали? — крикнула, поднимаясь по склону им навстречу, миссис Ханичерч. — Мистер Биб, вы уже знаете нашу грандиозную новость?

Фредди, к которому вернулось природное добродушие, начал насвистывать свадебный марш. Молодежь редко выступает против свершившегося факта.

— Так точно, слышал! — откликнулся гость. — Миссис Ханичерч, сейчас я сделаю то, чего от меня ждут в подобных случаях, но чего я почему-то ужасно стесняюсь... Я призываю на молодых людей благословение небес. В горе и радости, в большом и малом, пусть их жизнь, жизнь мужа и жены, отца и матери будущих детей, будет счастливой и безоблачной!.. А теперь я хочу чаю.

— Вы вовремя сменили тему, — сказала хозяйка дома. — Здесь, в Уинди Корнер, быть слишком серьезным воспрещается!

Он с радостью перенял ее шутливый тон. Кончились потуги на строгую доброту, равно как и попытки придать ситуации торжественность за счет поэтических и библейских образов. Никому больше не хотелось или не удавалось быть серьезным.

Помолвка — столь важное событие, что каждый, кто с ним столкнется, неизбежно испытает радостное, благоговейное чувство.

Потом, в тиши своих комнат, мистер Биб, или Фредди, или кто-нибудь еще снова настроится на критический лад. Но сейчас все они были во власти радостного возбуждения. Сила, подчинившая их себе, затронула не только уста, но и сердце каждого из них. Эта власть сродни той, что обуревает человека, случайно забредшего в храм чуждой ему веры. Стоя поодаль и глядя со стороны, мы сохраняем способность смеяться над ней, отрицать ее или — что хуже всего — дать волю сантиментам. Но очутившись внутри, перед лицом чуждых богов, мы ничем не отличаемся от ее приверженцев.

Так что после всех проб и ошибок, всех дурных предчувствий этого дня члены семьи Ханичерч и их гости взяли себя в руки и приступили к приятному чаепитию. Если они и фальшивили немного, то, во-первых, не отдавая себе в этом отчета, а во-вторых, фальшивые чувства в любой момент могли стать искренними. И не могли же они отстать от Энни, которая ставила каждую тарелку на стол с таким видом, будто это свадебный подарок. Мистер Биб то и дело хлопал в ладоши, Фредди превзошел самого себя по части остроумия, именуя «обрученного» Сесила не иначе как «обреченным». Миссис Ханичерч с блеском изображала будущую грозную тещу. Что касается Люси и Сесила — тех, для кого, собственно, и разыгрывалось представление, то они также участвовали в потешном ритуале, но как истинно верующие, — предвкушая встречу с каким-то иным, священным источником радости.

Перевод с английского Валерии Ноздриной.



Так расцветает рассвет

Латышская поэзия

Я перевожу латышскую поэзию двадцать пять лет. Я не знаю, так ли она прекрасна, как кажется мне, ведь всякая любовь субъективна и беспричинна... Однако думаю, что любой народ рано или поздно обретает свою песню и что песнь латышей определенно состоялась — придясь на XX век, в особенности на вторую его половину. Балтийское море по геотектоническим меркам достаточно молодо. Его относительно пустынное и до последнего времени мало воспетое побережье охотно и с радостью дает свой голос и силу тому, кто сможет облечь их в слова и хоть немного возвысить над шпилями рижских башен. А если искать исток звучания этой песни в дайнах, и по сей день сопровождающих мысль и, значит, жизнь каждого латыша от колыбели до гроба, то мы вернемся к ветру, волне, песку, из которых, словно из первоэлементов, сложены строфы дайн...

А теперь совсем коротко о представляемых в этой подборке поэтах.

Оярс Вациетис, 1933—1983. Великий латышский Поэт с большой буквы. Первопроходец, создатель современного латышского поэтического языка. Пожалуй, никто прежде с такой свободой и широтой не пользовался конкретными языковыми инструментами. Обладал редкой для XX века универсальностью, будучи лириком, *физиком,* эпиком, философом. С точки зрения формы чрезвычайно разнообразен. В силу космичности мировоззрения определенно наднационален. Его поэтика пронизана всеохватывающим ритмом, и — подобно джазу — близка и понятна академику и таксисту. Младшие поэты посвящали Вациетису прекрасные строки: не как учителю и коллеге, но как *чему-то большему.*

Улдис Берзиньш, 1944. Знаковый поэт, разбивший языковую культуру на *до* и *после Берзиньша.* Поэтический тип — поэт-шаман. Он узнаваем и довольно распространен: повелевающий тучами Велимир Хлебников, вызывающий песнями бури Вейнемейнен. Адепт культа языка, безоговорочно верящий в силу и власть слова. Гораздо гибче и доступнее Хлебникова, он по-человечески более ограничен и в силу этого органичен. То, что у Хлебникова кажется искусственным, у Берзиньша блистает как жемчужина. Укладом души сродственен Илье Муромцу, защитнику вдовьему и сиротскому. Полиглот и толмач, патронирует в безъязыком пространстве лива и чуваша, жмудина и латгальца.

Юрис Куннос, 1948—1999. Великолепный поэт, уникальный, как Алмаз раджи. Сгусток вербальной энергии, кристаллически самодостаточен и — даже когда не слишком жантильно огранен — чист и первозданен. Если бы он писал на языке, который понимают не полтора миллиона человек, а хоть на полпорядка больше, его известность была бы европейской. *Третий брат* в обойме Берзиньш-Рокпелнис-Куннос. Идеально подходил на роль хранителя-домового в почти, по балтийским понятиям, мегаполисе — и на *отдаленном хуторе.* Совершенный лингвистический слух позволял смешивать английскую лексику с русским матом, чистый лиризм с детальным повествованием.

Майра Асаре, 1960. Чуткий лирик, фиксатор бесед с *Ангелом за кухонным столом,* продолжатель традиции Берзиньша, разве что с отчетливо выраженным христианским пафосом. Точнейшее женское ухо Латвии. При этом — отрезвляющая ирония, предельно ясный и четкий, порой совершенно мужской взгляд на вещи. И, опять-таки, при этом — нежность, смирение и почти всепрощение. Автор романа *Женская зона*, посвященного тюремной действительности как опыту преодоления наркотической зависимости. Блестящим переводом *Школы для дураков* Саши Соколова опровергнув миф о «сущей непереводимости», открыла новый этап в становлении латышского прозаического языка.

Сергей Морейно

Оярс ВАЦИЕТИС

•

Твои слова меня
влекут, словно волны,
вплавь,
в мистическом свете
Луны —
в них весомость, в них невесомость, и память скользит вдоль ресниц снежной совой, я застыл на месте, а ты меня несешь и несешь еще и еще…

Твои слова меня
обжигают, как клекот поленьев иззябшие руки решившего клясться, отогревают их для восхожденья, сдирания кожи, я должен быть на вершине, где встала, лавиной застыв, и зовешь, и зовешь еще и еще…

Твои слова меня
ранят, словно шипы ладонь без перчатки, я бьюсь о них птичьей грудью жемчужной, скоро по ней прольется оранжевый жемчуг, ведь слова эти рвут, продираясь к кровному братству, пожалуйста, рви меня, рви еще, и еще, и еще…

Но глубже всего пред тобой меня заставляет склониться
до самой земли
та тишина между слов, та нагота между слов и то, что позволено мне в обнаженности этой до боли счастливой застыть, ожидая — что еще, что еще и что еще…

Поединок

Выстрел грянул. Победитель ушел.
Побежденного унесли. Но кровь еще пачкает траву.
И, может быть, душа в меня вставлена косо,
только в этой крови я не вижу примет пораженья,
в самом деле, не пуле обуславливать жизнь,
но крови, мертвой или живой, — безусловно.
Когда поля сражений обрызгали кровью пруссы
и в алом потоке исчез последний из павших,
я, конечно, усматриваю здесь гибель народа,
но надо всем этим полем плещет крылами вечность.

Нет у меня иллюзий на тот счет, кто кого зароет,
но, когда в единый ствол срастутся летты и ливы,
кровь всех пропавших племен над его корою
будет дышать, бурлить, проливаться ливнем.

•

Отапливаемые центральным отоплением
никогда не бывают согреты,
как нужно —
где только можно,
когда только можно,
они разводят костры,
которые идут за ними,
а они смотрят
застывшими глазами
в этот живой огонь,
с ностальгией,
с эмиграцией
в этих застывших глазах.
Господи, пожалей их, они так красивы.

В разжигании огня
есть свои первоклассники,
гимназисты,
магистры,
академики,
мэтры и подмастерья,
но нет несогревшихся.

Разводят огонь
чем угодно
и, в общем-то, всюду,
он хорош для всего:
можно варить еду,
сушить одежду,
сунуть руку
и клясться.
Это уж как когда.

Улдис БЕРЗИНЬШ

Стихотворение о старости

1

(Иоанна 21: истинно истинно говорю тебе
когда ты был молод то препоясывался сам и ходил куда хотел а когда состаришься то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет куда не хочешь) а Петр смеется.

Учитель он говорит что ты о старости знаешь ты умрешь молодым.

Молодому страшно его ведь можно убить со старика что возьмешь жизнь его птица в ветвях.

Юноше страшно его окуют цепями старый и в яме свободен свобода его птица в небе.

2

(Все проходит) неохота чушь молоть (все проходит) надоело бахвалиться старость близко и каков ты есть таков ты есть (чего лукавить).

Возраст приходит как ливень
Смывая пыль.

3

А иной до последнего вьюном вьется
с ведром к колодцу пока не споткнется

пошел черпать а куда на что
льет а что и не знает во что

так год за годом полжизни мимо
придет ли старость да и старость жди мол.

Начнет похваляться он тем что было
тем что в годы мужа свершил он

добро он копит (а добро гниет)
так полнится чаша за годом год

в гробу он лежит свечи горят жизнь прошла
что старость отвернулась мимо прошла.

4

Лишь бы сердце было зрячим
О глазах не плачу.

5

Еще одна вещь хороша то что спина не гнется.

Старому трудно юлить старому пятиться трудно хочешь не хочешь надо стоять на своем.

Копейка осталась лежать унизиться не пришлось (ботинки не зашнурованы но это пустяк).

6

Дай мне Бог старости на порог.

Средние века

Душа о мыле стонет, скользкий пол смердит, заныла в сапоге нога и хочет пены Ян.

Залито пивом платье, немыта рожа, рот мой черен, камнем чешет черт лопатки, медведь об угол трется.

Скачет царский сын и просит осьмушку мыла за полцарства, Ян, эй Ян.

Тонет конюшня в жиже, соль жжет плечи, на каждой балке висну, задыхаюсь, Ян.

Доспехи рыцарей рублю, рубахи смердов, вши меня заели, эй, Ян.

Стоит на белых холмах Рига, мухи жужжат, вливается в Двину ручей и в муках дохнет рыба, эй, Ян.

Прет солнце в небо, уже одиннадцать пробило в немецких землях, в зените встало время, ищет мыло палач.

На колесо ведут меня, на дыбу, вошь из бороды сбежала, Ян.

ЮРИС КУННОСС

Песня большой латгальской дороги

там лето все в репейнике с дорогами молочными
в пузатых жбанах пенится и нам усы щекочет
вплетает ленты в волосы распятьям панских вотчин
вздыхает на три голоса и о душе хлопочет
цыганской скачет бричкою звенит ключом лабазника
в Прейли едет в Резекне на ярмарки и праздники

моргает старый чертов черт играет кнутовищем
мол в Силаянях вам почет а здесь ты как посвищешь
послушай эй я твой свояк ах как горят глазищи
три головы смотри чудак и вон еще почище
но лето красное само на жеребце проказнике
пускает рысью в Даугавпилс на ярмарки и праздники

замурзанные мордочки блестят коленки голые
и хочется и колется мы пешие вы конные
а под землею бродит сок колосьям кружит головы
и осень тащит туесок колоды краски полные
везет дожди за пазухой бегут лошадки в яблоках
в Лудзу едет в Краславу на праздники и ярмарки

•

забыть о курземском сплине о Земгале своенравной
крепленых портовых винах крапиве кусавшей ноги
заехать за Балвы в чащу и сделаться месяцем славно

или пыхтеть и дуться кипящим котлом на треноге

санями полными скрипа проехать вспученным лугом
стать лошадиным бегом на пасеке вдоль опушки
когда дороги под снегом а с мая солнце по кругу
где пчелы требуют выкуп когда кукует кукушка

где горла коса не щекочет притом стена за спиною
ни места ни срока точно туман нависает стеною

правый берег в осоке стена за спиною

Стихи о сладости азарта

Причаститься можно повсюду.
В церкви, в избе, в Мазирбе, в Мазсалаце.
Главное:
совибрация.
Чудо.

Юрмала. Дюны, перелески и Саулкрасты,
фуникулер лунных бликов, т. е., переправа.
Луч локатора ловит отчаянных.
Причастие нон-стоп. Слава!
Сентябрьским сумеркам! Угарным ветрам, балласту
и китайскому чаю!

Христово тело воскресным утром. Глоток кагора.
В понедельник с изюминками грильяж.
Или с орешками, но время пойдет еще в гору.
Надеюсь, примется. Сладость азарта.
Мираж.

Тем не менее, музыка сфер в извивах корней.
Если можно назвать поэзией то, что мне снится,
это — алиби, невиновность. И мы с тобой не
более чем нарушители границы.

МАЙРА АСАРЕ

Плыть

Прикосновение воды —
дрожь кожи, мышц, тока крови,
    дрожь и воспоминания, глубже и ярче тех,
    что присущи памяти человека — подкожная, внутримышечная
    и внутривенная память рыб, водорослей и
    птиц.
Под черепом дышит ледник — на его
    ладони нить моей пуповины.
Прочие нити оборваны — голое
    тело летит в воде, волнуясь, как
    водоросль, как водопад.
Без жалости, без ностальгии —
    мгновение милосердия к изгнанному из
    Эдема.

•

Лист бумаги — милость
    ямки в песке
вышептать выкричать выплакать
уйти и не видеть
как подрастает тростник
сдать тебя
    уйти и бровью не повести

как безупречен лист
и как песок искрист
и ты невинен чист
    лишь камыши — ши-ши

•

Проснувшись, с трудом выбираемся из дому, там
под сенью деревьев в цвету, а деревья в цвету
творят нас бесплотными — так расцветает рассвет
расцвечивать наново нас подобающе дню
и окнами ветра речного встречь растворяя
беспечных нас, будто решивших — Да будет! —
способных внезапно бледнеть, будто воды, которым
в мгновение ока открылись их сила и свет, там
нам на заре ободряюще глухо гудят
холмы вдалеке и звенят вопрошающе звонко
полушки в ладонях — чин-чин. Паучок поутру
и баба с пустыми ведерками значат лишь
то, что проснулся паук и какой-то бабенке воды
захотелось — лишь то и едва ли еще что, как будто
беспечно решили — Да будет! — готовы ко всем
обычным подвигам, обыкновенным свершеньям,
обыденным речам и страстям, следя за тем,
как ливень грядет смыть след, не забудь —
будто воды, которым в мгновение ока
открылись их сила и свет.
Свят грядущий.
Свят.

Перевод с латышского Сергея Морейно.

ВАЛЕНТИНА КУЛЕШОВА

«Ты была маёй любай зямлёю...»

Война

Зимой 1941—1942 гг. в Уральске искали людей, которые могли бы работать на лесозаготовках. Ясно было, что хотя работа из самых тяжелых, мужских, но и из таких, где платили. Мать нанялась.

Маленькая стройная Ксеня выглядела в тот период толстушкой, ведь приходилось одеваться так, чтобы выдержать день работы на открытом воздухе в плавнях Урала. Тогда в ее гардеробе и появились «ватники» (стеганые штаны) и кожаная куртка. Тогда же мы увидели дома и первые деликатесы — жидкий гематоген в бутылках, который выдавали лесозаготовителям как людям тяжелого труда. Выпивали его, естественно, мы, дети.

Леса на Урале не было, и заготавливали кустарник, который куда-то отвозили на волах. Возы продирались сквозь заросли, как сквозь лес, возчик то шел рядом, то ехал на возу с кустарником, как на возу с сеном. У матери с упрямыми волами проблем не возникало, помогал опыт обращения с конями. Но, как оказалось, так получалось не у всех.

На перевозках работали и другие женщины, были среди них и городские. Они не имели навыков тяжелого труда, а тем более работы с животными. Волы, будто чувствуя их слабинку, еще больше упрямились. Обычно борьба животного с погонщиками начиналась на стадии запрягания. Стоило преодолеть этот этап, как дальше все шло относительно гладко. Однако не всегда. Так, однажды моя мать наткнулась в пути на воз с хворостом, возле которого стояла в отчаянии женщина. Ее волы заупрямились и не трогались с места. Только матери удалось их сдвинуть, и дальше возы ехали вместе. Мать — впереди на возу той женщины, с длинной хворостиной в руке, а та — сзади, рядом с Ксениным возом, который тащили уже «дрессированные» мамины волы…

Да цябе дарог не знаю,
Да мяне не знаеш ты.
Лепей нас дарогу знаюць
Нашы шпаркія лісты.

Переписка началась, когда мы жили в Уральске.

Маминых писем я почему-то никогда не видела. Вероятно, она сожгла их вместе с большей частью отцовских в стремлении уничтожить память об их счастливой жизни, за что-то обидевшись на него. Отцу тогда удалось спасти только небольшую часть переписки, выхватив письма из огня. Это он рассказал мне сам, когда я впервые поинтересовалась содержимым свертка из старой газеты.

Вот одно из тех писем.

Окончание. Начало в № 5 2011 г.

16 мая 1942 г.

Дорогая моя Ксанюша!

Пишу тебе не дожидаясь твоих писем. Вчера я дежурил и поэтому, как водится, не спал ночь. Рано утром все вокруг проснулось, запели соловьи и прочие пернатые существа. А потом закуковала зязюля, и это так напомнило родные места, Белоруссию, что я вот уже целые сутки хожу под этим впечатлением и, как видишь, не удержался, чтобы не написать тебе. Так все живо и ярко прошло перед моими глазами, столько родного и хорошего всплыло, что я физически почувствовал необходимость вернуть, отбить у врага родную красоту, родные дорогие нам поля и леса! Хорошо, что этими чувствами у меня есть с кем поделиться — письменно с тобой, а устно с моим дружком Цваней Кипнисом, таким же впечатлительным, как и я сам.

Устроились мы сейчас хорошо, на свежем воздухе, спать уже не холодно, а от дождей нас защищает брезент. В трех шагах от нашего жилья под еловым кустиком обнаружено семь яиц наседки-куропатки. Яйца, как куриные, только с темноватыми (коричнево-желтыми) крапинками или, вернее, веснушками. Так и не удалось куропатке досидеть до конца и повести по лесу выводок. Около самого гнезда теперь стоит колесо машины, и наседка, конечно, не возвратится на свое место. Мы сейчас в тех местах, где раньше были немцы, и вчера нашли труп фрица, который лежал уже несколько месяцев. Валяются пробитые и заржавевшие немецкие каски.

Весна в полном разгаре — тепло, стоят солнечные дни, и я часто вспоминаю, как-то даже невольно, что делал я в это время в прошлом году. Вспоминаю тебя и детей и думаю, что будущей весной мы уже, безусловно, будем вместе на родных местах и вместе будем видеть и пробитые пулями немецкие каски, и брошенные трупы, которых фрицы не успеют подобрать, удирая восвояси с нашей земли.

Уехала из нашего коллектива группа товарищей в связи с переходом на двухполоску. В их числе и зам. редактора Н. Шванков. Мы трогательно простились с ними вчера. Пиши почаще. Целую крепко Валюшу и Вову. Крепко обнимаю тебя и целую, твой Аркадий.

Отцовское видение возвращения в родные места исполнилось буквально. Мы вернулись в район минского котла, в который попали пятьсот тысяч немцев, осенью 1944-го. Когда мы впервые выехали на трофейном опель-кадете в лес, на то место Могилевского шоссе, что за тракторным заводом, мы увидели и пробитые каски, и гильзы от больших снарядов, и труп немца под елью.

Отец ошибся только в одном: все это происходило не весной 1943-го, а осенью 1944-го.

30.VIII.43 г.

Дорогая моя Ксанюша!

От тебя все еще нет ничего, и я очень беспокоюсь, бессовестная, разве можно так долго не писать? По моим расчетам, если ты написала мне 21 или 22 марта, открытка должна была бы уже давно прийти. Но ты, по-видимому, этого не сделала — и вот я теперь в крепкой обиде на тебя, и не без основания — только что принесли почту и твою открытку от 28 марта, где ты и сама признаешься, что ты мне до 28 (т. е. восемь дней!) ничего не писала. <...>

Я имею возможность подать рапорт об использовании меня в белорусской прессе. Но это связано с возможно длительным и неопределенным пребыванием в резерве, и я пока никак не могу решиться. Знаю, что если я спрошу твоего совета, ты мне ответишь: «Делай, Аркаша, как знаешь, тебе виднее». Но все же, Ксанюша, я возможно, решусь на этот шаг, поскольку меня здорово тянет к белорусскому языку и я уже ощущаю острую необходимость в этом. Ведь иначе можно вообще отвыкнуть и перестать быть тем, кем был раньше. Подумай,

родная, и не осуждай меня, если я так поступлю, возможно, подобная пертурбация может материально отразиться на семье (я точно не знаю) — во всяком случае, надо готовиться к этому…

С мая месяца я выписал тебе аттестат на 900 рублей — он должен быть послан прямо в облвоенкомат, где ты получишь на руки расчетный чек.

Дорогая моя! Извини, что это письмо короче прежних, но я тороплюсь. Скоро напишу более, как говорится, пространно, но при условии, что ты будешь писать почаще. Если некоторое время будет задержка с письмами — не удивляйся и не беспокойся, т. к. весна со своей стихией и грязью может отразиться на доставке. Целую тебя и детей крепко, твой Аркадий.

Отцовские аттестаты, которые мы теперь временами получали, дали нам возможность вслед за семьей Чорного оставить Ульяшину мазанку и переехать в более цивильное место — деревянный одноэтажный домик на Чкалова, 42, где мы снимали две комнаты. Кроме нас там жила семья актеров витебского театра. Говоря «мы», я имею в виду и Надежду, сестру отца.

Относительное материальное благополучие внесло в наш быт и элементы духовной культуры, главным из которых были песни. Пели хором. Звучали народные — белорусские и украинские, поскольку среди гостей нередко бывал хромой украинец Яша.

Была и любовь. Помню, какое приятное впечатление произвела на меня нетипичная для времен войны сцена, когда средь белого дня сидела, обнявшись, на диване нашей общей комнаты красивая пара: тетка Надежда с драматургом Аркадием Мовзоном.

Эта любовь не прошла даром. В 1943 году родился мой двоюродный брат Виталий. Отец его, правда, не связал себя брачными узами с теткой Надеждой — нашлась в Минске его семья, которая, слава Богу, не погибла в годы оккупации.

После войны счастье улыбнулось и Надежде Александровне: она встретила достойного человека, Ивана Иосифовича Масловского. В 1947 году у них родился сын Сергей. Но это все — впереди. А теперь — 1943-й. Мы — на Чкалова, 42. В нашем доме звучат песни, кипит самовар, и люди, собравшиеся тут, хоть на миг забывают о своей горестной, напряженной, полуголодной и мрачной тыловой жизни.

Хромой Яков, кстати, где-то договорился о молоке для Володи, и мать каждый день ходила за ним, пересекая железнодорожные пути. Хозяйка давала ей поллитровую банку, которую она несла перед собой как драгоценный сосуд.

Однажды, когда она переходила пути, на нее буквально налетела высокая женщина и выхватила из рук молоко.

— Врежь ей, врежь! — донеслось откуда-то.

Мать оглянулась и увидела, что за этой сценой наблюдает весь воинский эшелон, везущий на фронт молодых парней. Они едут, как когда-то и мы, в телятниках. Двери широко распахнуты, и часть их плотно уселись на полу вагона, свесив ноги. Именно в этот момент они остановились напротив того места, где происходил разбой, но только на другом пути.

— А почему они тебе не помогли? — поинтересовалась я.

— По законам военного времени им нельзя было покидать вагоны без соответствующей команды. Но их неожиданное сочувствие меня утешило. Мне даже подумалось, что женщина была, видимо, в отчаянии, если решилась на такой шаг. Молоко мой организм не принимал, и когда меня заставили выпить его много, разболелся живот, да так, что пришлось вызывать медиков. Недолго думая они отвезли меня в инфекционную больницу.

Назавтра меня пришла проведать мать. Ее не пустили. Она подошла к окну и увидела свое дитя, в сиротском отчаянии прильнувшее к стеклу.

Знаками мать дала понять, что нужно сделать, чтобы открыть окно, и выкрала меня оттуда в одной больничной рубашке.

По диагонали от нашего дома находилась школа. В августе 1943-го во двор, где я качалась на качелях, вошла женщина с тетрадью в руке. Она спросила, сколько мне лет, и что-то записала. На прощание сказала, что через месяц мне надо идти в школу. 1 сентября я пошла туда с мамой. Это был, однако, ее единственный визит в школу до самого нашего отъезда из Уральска.

Помню, как долго ждала я у окна, когда в школу пойдет первый человек. Вторым всегда была я сама. Дело в том, что моей матери, при всей ее тяговитости, было очень тяжело рано вставать, чтобы помочь мне собраться. Тем более, что ни будильника, ни завтрака у нас все равно не было.

30/VIII — 43 г.

Дорогая моя Ксанюша!

Несколько дней тому назад послал тебе письмо в ответ на Надино. Меня очень беспокоит состояние здоровья твое и Вовино, потому что Надя в своем письме писала об этом. Ты, вообще, мало пишешь о себе и своем здоровье, а должна была бы писать. Правда, ты считаешь, что помочь я ничем тебе не могу, но все же это неверно, т. к. я ведь могу предпринять кое-что, чтобы улучшить твое положение. Об этом я думал всегда и думаю сейчас все время. Я написал довольно резкое письмо Лынькову относительно лимита на 300 рублей ежемесячно для тебя. Конечно, с лимитами сейчас уже поздно, но с нового года я надеюсь добиться. Распределение лимита зависит от Лынькова, т. к. Союз писателей СССР дает не персонально, а на Бел. союз определенное количество (5 лимитов). Эти лимиты распределяются Лыньковым, и он их распределил, конечно, между своими приближенными. Резкое письмо я ему написал, т. к. заинтересован в сохранении своей семьи. Если это не поможет, напишу тов. Пономаренко и тов. Фадееву. Думаю, что в этом случае я должен отбросить мотивы скромности и ложного стыда (в этом меня поддерживает и Кипнис) и потребовать не для себя лично (мне он не нужен), а для своих детей. На это я имею больше прав, чем холостяк Глебка или не холостяк Бровка и даже чем холостяк сам Лыньков. Ты можешь представить себе волчьи натуры этих «писателей» хотя бы потому, что больному Чорному они лимита не дали, но себя, конечно, не забыли. Как бы там ни было, с нового года лимита для вас я добьюсь, т. к. имею на это полное право. Не Бровкой и Глебкой определяется сейчас лицо белорусской поэзии, и это все понимают прекрасно, в том числе и они сами, и следовательно, нам незачем скромничать, если дело идет о детях.

Мне очень хочется лично побывать сейчас в Москве, чтобы еще более успешно решить этот вопрос. Вообще мое теперешнее пребывание я рассматриваю как временное и думаю, что ситуация должна измениться в течение полугода, а может быть, и раньше, раз и навсегда, и тогда я или приеду и устрою вас по-настоящему, или же вообще заберу вас всех к себе. Таковы мои планы на будущее. Вам же сейчас надо обосновываться на зиму в Уральске и ждать терпеливо лучшего, — я надеюсь, что ждать осталось гораздо меньше, и я буду считать тебя тогда героиней. Во всяком случае надо нам еще крепиться, Ксанюша. Ты долго любила, как говорят, меня ни за что в надежде на будущее, т. е. любила черненьким. Я это ценю, и не думай, что я не хочу или не стараюсь оправдать твои надежды. Я уже многое сделал, ты знаешь сама, но я еще сделал не все, или, вернее, не все доделал, но я сделаю, я еще чувствую, что сила у меня кое-какая есть. Крепко целую тебя, моя родная и любимая. Целую Вову, Валюшу и Надю. Желаю вам жить дружной и честной семьей, переносить невзгоды в надежде на лучшее, которое придет. Еще раз целую вас всех. Пишите мне. Твой Аркадий.

Посылаю тебе конверт в письме и клочок бумаги.

Я уже упоминала, что мы уезжали в канун праздников. Собираясь в дорогу, мать несколько дней держала меня дома. Моя первая учительница была жен-

щиной исключительной интеллигентности и доброты. Ей было уже лет сорок. Своих детей она не имела. Возможно, именно поэтому так по-матерински относилась Клавдия Павловна к своим ученикам. Перед нашим отъездом она зашла к нам справиться о моем здоровье, поскольку думала, что я заболела. Ее взволновало и оскорбило известие, что мы могли бы уехать, даже не попрощавшись.

И вот мы в поезде. Снова пересадка в Саратове. Снова синие огни вокзальной светомаскировки. Поезда на запад идут довольно часто, но нас не берут. Мы уже не просто «посещаем» темные улицы города, как когда-то семья Чорного, но и спим на асфальте мостовой, поскольку вокзалы забиты такими же, как мы. Так мы провели две ночи, а на третью, поменяв тактику, дежурная по станции втолкнула нас в вагон воинского эшелона. Капитан, ехавший в купе плацкарты один, взял нас к себе. Нас — это мать, Вову и меня. Это был единственный взрослый человек из всех, кто тут ехал. Был вечер. Он понимал, что нас нужно покормить. На столе вдобавок к традиционному чаю появились белый батон, масло, осетровая икра. До этого я не видела даже белого хлеба, не то что икры, и есть не отваживалась. Матери все же удалось убедить меня, что это не только полезно, но и вкусно.

Результат был самый неожиданный: меня стошнило. (Подобное со мной случалось и после войны — большинство продуктов мой организм уже не воспринимал. Почему-то в особенности — яиц и помидоров. Ела я вначале только мясо, картошку, лук и чеснок.)

У остальных таких проблем не было, и после ужина молодые солдаты забрали красивого голубоглазого Вову к себе. Его неожиданное появление было для них подарком судьбы. Молодые отцы тискали его, словно собственного сына, с которым, понимали они, не каждому повезет вновь увидеться. Не имевшие еще детей играли с ним, глядя на дитя как на свою неосуществленную мечту. Так, с комфортом, мы доехали до Орехово-Зуева. С комфортом, но не без приключений. Где-то на этом длинном пути, на какой-то станции, в вагон вошел воинский патруль. Увидев гражданских, они велели нам немедленно высадиться. Была холодная темная ночь. Ссылаясь на темень и непогоду, капитан попросил об исключении. Патруль, однако, и слушать не хотел. Тогда капитан вытащил из портупеи последний аргумент. Это нас и спасло.

Мы вышли в Орехово-Зуево. Думаю, потому, что там с маленьким Виталем жила уже тетя Надя. И потому еще, что, приезжая в командировку в Москву, отец мог увидеться с нами. Ведь Орехово-Зуево — это всего сто километров от Москвы.

Так и вышло. Отец заехал к нам аккурат тогда, когда болезнь свалила мать. Когда приехала «скорая помощь», у нее была температура 41,6°. Она только и смогла сказать мужу:

— Береги детей, Аркадий!

И ее вынесли на носилках.

Отец, к сожалению, через день-два должен был возвратиться на фронт.

Матери поставили диагноз: малярия. Она подхватила эту болезнь, очевидно, в плавнях Урала.

А нам тогда исключительно повезло: приютившая нас женщина была учительницей еще дореволюционной закваски. Анна Антоновна Манилова лишилась мужа и старшего сына чуть ли не в один день. Остался Сергей, которому исполнилось семнадцать, и он проходил подготовку в танковом училище.

Анна Антоновна не просто хорошо о нас заботилась все то время, пока мать болела. Маленького Вову она опекала, словно родного сына. В тот год он, шестилетний, пошел в школу. Каждое утро на стуле возле кровати мальчик находил свой выглаженный форменный пиджачок. Во всем чистом и отглаженном он, формалист по натуре, чувствовал себя комфортно, что отражалось и в учебе. Учился он хорошо еще и потому, что Анна Антоновна как учительница знала, что

на самостоятельность ребенка надеяться нельзя, что надо помогать ему делать уроки, своевременно объяснять то, чего он не понял.

Потом, когда мы уезжали в Минск, она просила маму оставить Вову у нее, пока мы обустроимся. Она знала, что город разрушен и в таких условиях легко могут быть растеряны ее учительские наработки.

Так и случилось. Мы приехали в Минск, если не ошибаюсь, 9 октября 1944 года и сразу же пошли в школу. Мне было восемь, и я была уже относительно самостоятельной. А шестилетний Вова среди этих руин, рядом с одичавшим Роланом, которого мать взяла в нашу семью, чувствовал себя неуютно. Ролан учился плохо. Ни на какие вопросы взрослых не отвечал и только молча смотрел исподлобья, будто онемел. Я уже упоминала, что он был моим ровесником и его пример повлиял на Вову так, что спустя год брату пришлось повторить первый класс. Отец вошел в Беларусь с армией Конева. Вот его первые открытки с освобожденной родины.

3.VII. 44 г.

Дарагая мая Ксанюша!

Заўтра выязджаю з Хоцімска і, відаць, у Нова-Беліцы доўга не затрымаюся, а адразу паеду ў госці да Тамары. <...>

Усе гэтыя дні ў Хоцімску еў клубніку і ўспамінаў цябе, Вову і Валю і шкадаваў, што вы не пакаштуеце. Учора быў у Елаўцы, глядзеў кватэру, дзе вы маглі б жыць. Кватэра добрая. Елавец зусім не змяніўся, і ўсё там вельмі жыва і яскрава нагадвае мірны час. Скажы Вове і Валюшы, што Бобік жыў-здароў і мяне пазнаў адразу і па-сяброўску ставіцца да мяне, відаць, не забыў і іх.

Чакай ад мяне новых вестак з Гомелю. Не сумуй. Моцна цалую цябе і дзяцей. Аркадзь. Прывітанне Ганне Антонаўне.

9.VII. 44 г.

Дарагая мая Ксанюша!

Сёння ў сем гадзін раніцы вылятаю ў Мінск. Не вельмі здзіўляйся, калі пасля гэтага ад мяне доўга не будзе весткі, бо сама разумееш, калі ў газетах друкуюцца артыкулы з Мінска і пад імі пазначана, што дастаўлена самалётам, дык гэта не дарма. Пры першай магчымасці буду пасылаць вестку аб сабе і, вядома, Тамары, якую пастараюся знайсці ў Мінску. Крэпка цалуй за мяне Валюшу і Вову. Крэпка цалую цябе, т. Аркадзь.

Пішы мне на адрас: Н.-Беліца Гомельскай вобласці, Пралетарская, 107. Валюжынец (для мяне).

14.VII. 44 г.

Дарагая мая Ксанюша!

Ужо некалькі дзён, як я ў Мінску. Ролік і Гарык жывы і здаровы і жывуць у Лёлі. Я іх знайшоў учора і жыву ў іх. Тамара была арыштавана за сувязь з партызанамі, некалькі разоў сядзела ў гестапа, дзе яна цяпер, невядома, ёсць надзея, што яе не расстралялі, а выслалі ў Нямеччыну, але гэта — хрэн рэдзькі не саладзей. Шкада Тамары. Дом наш згарэў у часе адступлення немцаў з Мінску, але мне дадуць (абяцаюць даць) кватэру ў тым доме, дзе жыла Ніна, — гэты дом захаваўся. Тады мы з Ролікам, Гарыкам і Лёлей перабяромся туды. Цяпер кватэра Лёліна на Нямізе, але яе хутка могуць заняць жыхары яе ранейшыя.

Навін многа: Мурашка загінуў ад рук немцаў, Хайноўская жыва-здарова, яна памагала ў свой час Тамары і навяла мяне на след Лёлі і дзяцей. <...>

Мінск цяжка пазнаць: так яго зруйнавала нямецкая свалата, але ўсё ж багата ў якіх раёнах дамы захаваліся па сённяшні дзень. Пішы мне часцей пра сваё жыццё і свае далейшыя планы. Працаваць буду ў «Звяздзе». Моцна цалую цябе і дзяцей. Твой Аркадзь.

Всю войну мать волновала судьба ее сестры Тамары, с мужем-военным жившей до войны в Бресте. Кроме племянника Ролана Головача Тамара имела уже и собственного сына — Гарольда.

До самого освобождения Минска мы ничего о них не знали.

Первые вести пришли от отца. Он сразу же бросился искать родственников и нашел их на Немиге, где все они жили вместе в двухкомнатной квартире. Все — это значит мамина тетка Мария Семеновна, младшая сестра ее матери Дарьи, ее дочери Нила Павловна и Елена Павловна с детьми Галиной и Юрой, а также с упомянутыми Роланом и Гарольдом, которого мы называли Гариком. К ним осенью присоединилась и наша семья. Как мы там помещались, до сих пор не понимаю. От них отец и узнал, что Тамару арестовали немцы.

Чуть позже появился в Минске и муж Тамары, Викентий («Виктор») Шуляковский, которого отец начинал искать уже в 1942-м, однако…

22 июня Виктор стал участником обороны Брестского вокзала, а Тамара с детьми села в поезд, вывозивший в тыл семьи военных.

По дороге эшелон попал под бомбежку, и те, кто уцелел, пошли на восток пешком.

Из всех ее рассказов про отступление мне врезалось в память одно: про переправу через какую-то широкую реку. Мост через нее в районе Минского шоссе был уже разбомблен. Когда толпа беженцев подошла к реке, стало понятно, что ее можно только переплыть. В этом тетке помог попутчик-военный. Он посадил себе на плечи Ролана, а Гарик занял соответствующее место на шее матери, которая по рекомендации мужчины держалась за его ремень. Так они и форсировали реку.

Когда семья появилась в Минске, он был уже захвачен врагом. Они пришли к нам, на Московскую, 24. Двери были распахнуты настежь. Можно было понять, что воры тут уже побывали. Тамара с детьми всю войну прожила в нашей квартире, будучи связной Минского подполья. Для такой работы место было очень удобным: в соседнем доме на Московской, 26, находилось немецкое кафе, а невдалеке — партизанская явка, с которой, кстати, и начались аресты. Было это либо в конце 1943-го, либо в начале 1944 г.

Тамарины и мамины кузины Лёля и Нила, как и их мать, не знали, естественно, причины Тамариного ареста и, когда Виктор отыскал их, рассказали ему, что она общалась с немцами. После этого Виктор исчез из нашего поля зрения. Он пошел дальше со своей армией, прихватив 16-летнего Юрия Вильчика, моего троюродного брата, более успешного романтика, чем Артур Вольский. С войны Юрась пришел без руки.

Юра окончил филфак и стал не просто хорошим учителем, а старшим товарищем своим ученикам, с которыми не расставался и летом, строя с ними лодки, плавая на них по рекам. Он написал и роман о войне, который принес на рецензию моему отцу. Прочитав его, отец сказал:

— Мне очень понравилось твое произведение. Но тебе не удастся его напечатать: время для идеи, что народ — победитель в войне, еще не настало.

Виктор отыскал Тамару спустя несколько лет после войны, когда мы, в свою очередь, считали, что его уже нет на свете. Пройдя всю войну от Бреста до Москвы, а оттуда — назад до Берлина, он жил теперь в Москве с новой женой, с которой вместе воевали. После смерти второй жены он вроде бы снова сватался к Тамаре, однако его женитьбу на москвичке она всю жизнь считала предательством.

А тогда, во время войны, Тамаре повезло. При отступлении немцы вывели арестованных во двор тюрьмы, приказали рассчитаться на «первый-второй» и каждого второго расстреляли, а первых вывезли на принудительные работы в Германию. Она побывала на подземном заводе во Франции и в концлагере в Германии.

Когда Тамара появилась на пороге нашего дома, мать перекручивала мясо. Она кинулась к машинке и, выхватывая сырой фарш буквально из-под мясорубки, жадно заталкивала его себе в рот. Присутствовавшие онемели от смеси

чувств: радости от того, что видят Тамару, ужаса от ее дистрофии и удивления от ее поведения. Врач, которому родители показали Тамару, сказал, что инстинкт срабатывает правильно, так как у нее — дистрофия миокарда. Мои родители долго лечили Тамару, не очень надеясь на успех. Однако она выздоровела и дожила до 95 лет.

На Белорусской, 4, куда пришла Тамара, мы жили в трехкомнатной квартире вместе с семьей Кузьмы Чорного, которого в ноябре 1944-го не стало. Уже в конце 1942-го, когда отец читал, лежа в номере, поэму «Знамя бригады» и защищал ее от Бровки с Глебкой, пытавшихся порвать рукопись, у него был инсульт.

Мы получили эту квартиру на первом этаже, кажется, в начале 1945-го. Дом заселили преимущественно писатели, актеры и художники. В нашем подъезде жили Аладовы, Бровки, Зайцевы, Ахремчики, Малкин с Поло. В соседнем — Приходьки, Платонов с Жданович, Танк с семьей, Ачасовы и еще две семьи, которых я не помню (этот дом и сегодня стоит на Ульяновской под номером 29).

Когда мы въезжали в квартиру, я нашла в печке советскую противотанковую гранату, которую, если бы не отец, привела бы в действие.

Чтобы мы могли вести хозяйство, «немиговцы» выделили нам посуду. Там были трофейные фаянсовые тарелки и кружки и всякая прочая фаянсово-фарфоровая мелочь, которую несли в детской оцинкованной ванночке. Двое мужчин, держа ее за ручки, уже входили на кухню, когда как раз на пороге дно отвалилось, и посуда разбилась. Мать с сожалением посмотрела на осколки и сказала:

— Это на счастье.

И действительно, прожили там четыре счастливых года.

Наличие в нашем доме старшей девушки развило во мне многое из того, к чему у меня были способности. Помню, как мы с Ирой устраивали музыкальные вечера, где она играла на фортепьяно, а я пела. Главными в нашем репертуаре были военные песни, среди которых мы особенно любили «Заветный камень».

Конец войны запомнился мне салютами, от которых в нашей квартире на Белорусской вылетали стекла. А вылетали они потому, что между торцом дома, где находилась наша квартира, и десятком зениток, стоявших на том месте, где теперь травяной газон на пересечении улицы Ульяновской с улицей Свердлова, напротив шара-фонтана, расстояние незначительное.

Первый салют, который мы наблюдали в Минске, когда жили еще на Немиге, все приняли за бомбежку и, похватав кто что мог из теплых вещей, в ночных сорочках высыпали во двор. Нас успокоила мать, когда, увидев огни ракет в ночном небе, вспомнила, что уже наблюдала что-то похожее в Москве и что тогда это был салют в ознаменование освобождения Орла и Белгорода. Кстати, первый советский салют.

Мать с Любой Кучар, которая была нашей соседкой по Чкалова, 42 (жила в доме напротив), ездила однажды в Москву. Думаю, это было в 1943-м, когда отец приезжал с фронта в командировку в связи с хлопотами вокруг публикации поэмы «Знамя бригады».

Обстановка в нашей квартире была убогая. Стол и кровать — в спальне-кабинете отца, тахта и стол — в комнате, где мы с Вовой жили и спали. На всей нашей улице уцелели только два наших дома и шикарный особняк, в котором жил генерал Роман Мачульский. Напротив была горка, что вела вниз на бывшую Гарбарную, которую потом поглотил стадион, когда его отстроили. Гарбарная выводила на Володарского к единственной уцелевшей тут постройке — гостинице «Беларусь», на первом этаже которой находился гастроном. Перед этим гастрономом мы часами простаивали в очередях за сахаром.

Дорогой, которую только что описала, я ежедневно одна ходила в школу № 12, находившуюся на Мясникова. Начиная от гостиницы «Беларусь» и до тюрьмы в конце Володарского я проходила мимо трех уцелевших домов. Остальное было разрушено. Когда мы, возвращаясь из эвакуации, подъезжали к Минску и он был уже виден, кто-то выкрикнул:

— А говорили, что Минск разрушен!

То, что он издали принял за дома, на поверку оказалось выгоревшими коробками.

Вокруг нас были развалины, а напротив — развалины стадиона. Мы, дети, находили там много оружия, патронов, штыков и дымовых шашек.

Стадион отстраивали пленные немцы, и один из них начал заходить к нам и выполнять всякие столярно-плотницкие работы. Когда кто-то напомнил женщинам, что это — фашист, мать ответила, что теперь это просто бедняга. Мать вместе с Ревеккой Израилевной подкармливали человека чем могли.

Жутковато было в семь утра зимой, когда еще темно, выбираться в этот путь, хотя он и был скорее пустынным, чем опасным. За четыре года на том пути мне однажды попался эксгибиционист, однажды изнасиловали нашу соседку и однажды нашли убитыми знаменитого актера Соломона Михоэлса и русского исторического писателя Сергея Голубова.

Конец войны наша семья, как и большинство минчан, отмечала не в день Победы, 9 мая, а чуть раньше — в день взятия рейхстага, 30 апреля 1945 года.

Пили, пели, плакали, палили в небо…

А 9 мая было уже всенародное гуляние.

Однако для нас, минчан, ужасы войны закончились позже, в канун 1946 года. Лучших учащихся десятых, выпускных, классов минских школ пригласили на встречу первого послевоенного года в красивое четырехэтажное здание, которое до революции было купеческим клубом, на Площади Свободы.

Ира тоже получила приглашение, но не смогла туда пойти, поскольку уже пообещала парню сходить с ним в кино. А ведь оказаться там было большой честью, и встреча Нового года обещала быть интересной. Назавтра мы узнали, что за зарево полыхало новогодней ночью со стороны площади Свободы[1].

Семейные перипетии

Когда в канун 1982 г. в нашей квартире неожиданно появилось несколько этюдов Дучица[2], они кардинально изменили отрицательную в этот момент эмоциональную атмосферу дома. В результате у нас с сыном появилась новая привычка: поздно вечером садиться на диван перед стеной с картинами и, как выражается сейчас молодежь, «балдеть», всматриваясь в изображение так, словно бы пытаясь впитать энергетику гармоничного мироощущения художника. Так в ночной тиши дома мы с Володей[3] молча сидели рядом и изредка обменивались мыслями.

— А знаешь, с каким чувством писал Дучиц этот этюд? — спросил Володя, указывая на небольшую картину, где был нарисован простенький пейзаж: за полем спелого жита высятся три сосны, а справа эту природу замыкает пень от четвертой. И все это на фоне голубого неба с редкими прозрачными облачками.

— Каким?

— Как хорошо без войны. (Здесь следует, по-видимому, напомнить, что во время войны, опасаясь вылазок партизан, немцы вырубали лес по обе стороны дороги до пятисот метров.)

Этюд был написан в 1945 году.

Вторая половина этого счастливого для страны года оказалась трудной для семьи Кулешовых. Проблема была связана с отцом поэта, Александром Николаевичем. В начале войны на собрании жителей Малого Хотимска его избрали старостой. Дедушка не мог отказаться от поста, так как был жителем Хотимска,

---

[1] Речь идет о большом пожаре, в котором погибли почти все ученики, бывшие там.

[2] Николай Дучиц — белорусский художник XX века.

[3] Володя — Владимир Берберов, создатель белорусского фольклорного ансамбля «Литвины».

деревни, которая находится на расстоянии семи или даже десяти километров от места, где ему оказали такую честь. В 45-м его с сыном Владимиром вывезли в Германию на принудительные работы.

— Вэрке, Буна-вэрке, — повторял часто дедушка, когда нам удалось с ним встретиться. Так называлось, по-видимому, предприятие, где они работали. Стоило мне высказать свою догадку, как мой сын Володя уточнил:

— Нефтехимический завод, очень известный.

А его сына Аркадия уже трясли. Защищаясь, он написал председателю Союза писателей М. Т. Лынькову письмо, в котором задал вопрос, на который не могло быть ответа:

— А может, Вы мне посоветуете отречься от отца подобно Павлику Морозову?

А сорок шестому, наоборот, суждено было стать удачным в жизни семьи Кулешовых. 27 января, в мой день рождения, папа узнал, что стал лауреатом Сталинской премии первой степени за поэму «Знамя бригады». Ее денежное выражение папа пустил на восстановление отцовского дома, сожженного немцами при отступлении.

Следующее счастливое событие года — реабилитация Александра Николаевича Кулешова, которого поэт Петро Приходько, капитан Советской Армии, с большими трудностями вывез из Хотимска и привез в Минск, где ему была дана возможность рассказать обо всем, что с ним происходило, первым лицам республики. Они нашли обвинения безосновательными.

Тогда же Пономаренко приказал руководству Союза писателей прекратить травлю единственного в Союзе писателей «настоящего поэта-фронтовика». Об истинности сказанного свидетельствует сегодня общий снимок Центрального штаба партизанского движения за 1943 год, где в погонах (а их в то время разрешалось носить только офицерам действующей армии) лишь один Аркадий Кулешов.

(И о премии, которую отец получил в сорок шестом вместо сорок пятого, и об инциденте с Александром Николаевичем я пишу так лаконично потому, что уже рассказывала об этом в книге об отце и отдельных публикациях в «ЛіМе». Написал об этом и сам Петро Приходько, который, наконец, решился признаться в своем участии в судьбе Кулешова публично.

Однако когда мне с большими трудностями удалось «пробить» и снять на студии «Беларусьфильм» документальный фильм об Аркадии Кулешове, главные эпизоды фильма были отбракованы из-за присутствия в них отца поэта.

То ли в том самом 1946-м, то ли в 1949-м в Минске в рамках циркового представления, которое состоялось, мне кажется, в Доме офицеров, выступал экстрасенс Вольф Мессинг.

На одном из них я была и всю жизнь, сталкиваясь с цирком, ждала от иллюзионистов чего-то подобного по силе воздействия. Я тогда не знала, кого мне посчастливилось увидеть, не ведала того, что перед нами выступает не обычный иллюзионист, а провидец.

В те дни маму представили Мессингу, он предсказал ей будущее. Помню, что она очень боялась наступления 1951 года и не раз повторяла, что в этом году изменится ее судьба, и не в лучшую сторону. Ко всему экстрасенс добавил, что конец ее жизни будет похож на начало. Уж не потому ли мама стремилась строить свою жизнь в расчете на сыновей, как, по ее мнению, на более надежных детей?

— Где ты была, Ксаня? — спросил Аркадий, когда она вернулась домой.

— А что? — вопросом на вопрос ответила мама.

«В какой-то момент, — объяснил мне папа, — мне стало так плохо, что подумалось, будто я умираю».

Такое могло случиться. Тем более, что прецеденты были. Как, например, его второй инфаркт, который случился с ним в Москве по возвращении из Лондона, куда он ездил в составе делегации советской молодежи в октябре 1945 года.

И тем более вероятно, если знать, что мой отец был асом в области предчувствия. И плюс ко всему, он не мог не уловить того мощного энергетического посыла от экстрасенса Мессинга, который через Ксению мог срикошетить на отца. Тем более, что смена маминой судьбы не могла не включать в себя и мужа, как часть ее судьбы. Мессинг назвал тогда 1951 год.

А тогда, в начале 1946-го, Ксению Вечар пригласили на работу в Министерство торговли, потому что в послевоенном Минске ощущался дефицит кадров. И потому также, что ее бывшие довоенные коллеги помнили Вечар как квалифицированного и энергичного сотрудника.

Ксения стремится выйти на работу, но Аркадий противится этому, он знает, что его жена — человек эмоций, и если освободить ее от домашних обязанностей, то вернуть ее на исходные рубежи будет трудно.

Не раз, по-видимому, возвращаясь в мыслях к этому «пограничному» периоду своей жизни, а может, и к более раннему, тому, судьбоносному браку с талантливым поэтом, она думала: «Надо было мне не замуж за Аркадия выходить, а становиться Героем Соцтруда!»

Впервые мы, дети, услышали эту долго, по-видимому, вынашиваемую мысль на Нарочи, где все мы тогда отдыхали. Все, только не она! Чтобы обеспечить отдых всем, в том числе и хронически больному творчеством Аркадию, она должна была работать на огороде: сажать, полоть, поливать и т. д. В этом ей, за исключением моего мужа Христо Берберова, никто не помогал. А Христо просто не мог смотреть на то, как красивая молодая женщина каждый вечер после долгого дня работы по хозяйству носит из озера воду, поливая яблони. Яблонь было сорок. Под каждую надо было вылить четыре ведра.

Вова и Саша, мои братья, в это время играли с папой в шахматы, а ситуацию вокруг яблонь комментировали так:

— Пусть поливает тот, кто сажал.

А посадил сад Александр Николаевич. В этом дедушка снова проявил себя и как хороший садовод, и как неисправимый мечтатель, ибо решение посадить сад на песчаном берегу озера было очевидно непрактичным.

Христо же понимал ситуацию иначе:

— Вы, Оксана Федоровна, ломовая лошадь своей семьи.

Кстати, его мать, Екатерина Наумова, не знала даже, как выглядит подвал, откуда мальчики носили уголь для «буржуйки». Даже в их, далеко не образцовой, по понятиям Болгарии, семье всегда для такой работы находились мужчины. А с семилетнего возраста уголь на их четвертый этаж носил сам Христо.

Не отказывая теще в помощи, Христо тем не менее жаловался мне на ее невладение системой организации труда на уровне семьи. Она посылала своего зятя в магазин столько раз, сколько видов продуктов не оказывалось у нее под рукой в процессе приготовления пищи. И ради этого она отрывала Христо от работы. В это время он переводил на болгарский язык стихотворения классика белорусской поэзии Максима Богдановича.

Подобные аллогизмы маминого поведения мой брат Володя называл «ксанкеризмами», а ее самоё — Ксанкой. Каким было эмоциональное наполнение этого слова в его устах — я не знаю. Воспринимаемое в системе белорусского языка, ее имя в такой форме приобретало фамильярно-ласкательный оттенок. Если первое нас поначалу настораживало, то второе («Ксанка» по-белорусски значит «Ксаночка») примирило. Если же учесть, что она была моложавой, непосредственной, остроумной и смешливой, то следует отметить, что и такое имя ей шло и что при всем ее уме ей было проще реагировать на возникающую ситуацию, чем планировать что-либо наперед.

Однако вернемся к идее мамы стать Героем Соцтруда. Это звание, между прочим, денег не давало. Оно, в отличие от титула «академик», приносившего ежемесячно оклад в триста рублей, было почетным. Это было общественным признанием трудовых достижений лауреата. Кулешов, которому намеренно про-

валили очередные две литературные Госпремии (за 1951 и 1964 гг.), мечтал иметь это звание. Между прочим, любители поэзии считали, что оно у него есть. Этого звания Аркадий Кулешов так и не получил. «Перехватил» его друг юности, скульптор Заир Азгур, обратившийся в ЦК партии с объяснением, что по возрасту ему следует быть первым в очереди, а Кулешова можно наградить и попозже, к дню рождения. 6 февраля 1978 года папа должен был получить долгожданное звание Героя Социалистического Труда, но в ночь на 4 февраля он ушел из жизни.

Этим объясняются слова Петра Мироновича Машерова, сказанные им во время прощания с лучшим белорусским поэтом советского периода:

— Мы снова опоздали…

Что же касается Оксаны Кулешовой, то она, если учесть все «за» и «против» ее биографии, ее трудовые качества, как и ее склонность делать карьеру по законам советского времени, могла бы стать Героем Соцтруда.

Нас, детей, ее несбывшаяся мечта, озвученная в восьмидесятых, бесспорно, очень насмешила.

Понятно было, что к такому выводу мама пришла в результате ретроспективного взгляда на свою жизнь, которую она строила согласно традициям предков. Конструктивным для стабильной страны, в которой из-за количественного преобладания мужчин женщина имела возможность выбора мужа-кормильца.

Войны, революции, гражданское противостояние… Мужчин и ресурсов стало меньше. И функций у семьи — тоже. Вопрос о качестве жизни уже не стоял. Главным было само продолжение рода.

Кулешовым руководили законы творчества, а не потребности материального характера. Едва ли он в начале пути осознавал это, как, впрочем, и каждый новобранец в сфере истинного творчества, но ко времени работы над поэмой «Варшавский шлях» он уже явно представлял себе сверхчеловеческий характер поэтического напряжения.

Чем укорочен век его? Войной?
Смертельною болезнью? Нет, не это…
Самозабвенный труд. Судьба поэта.
Поэзия.
        Вот кто всему виной.
Та одержимость косит исполинов,
Как молния, сжигающая лес.

Вскоре после того, как мы с моим вторым мужем, врачом Валерием Безручкиным, стали жить вместе, его отец, заслуженный строитель Филипп Иванович Безручкин встретился в санатории «Несвиж» со своим давним знакомым, писателем Иваном Шамякиным. В одной из задушевных бесед он поделился с другом своей радостью: его сын женился на дочери Аркадия Кулешова, попав таким образом в состоятельную семью.

— Должен тебя разочаровать, Филя, у Кулешова денег нет. Они есть только у меня и Бровки.

Разговор состоялся в 1974 году. Шамякин в этот период был не просто писателем, но и занимал в Союзе писателей Белоруссии высшую из чиновничьих должностей, как некогда Бровка.

Жизнь с поэтом такой преданности делу была не под силу женщине, ориентированной на благополучие. Всю бытовую сторону жизни мама несла, если не сказать тащила, на себе. И в этом смысле стала прочным фундаментом творчества Кулешова. Папа высоко ценил в ней силу духа, как и способность посвятить себя делу его жизни.

Ксениным планам избавления от «семейного рабства» не суждено было исполниться. Помешала беременность. Мама не хотела снова попадать в зависимость, но папа пошел на шантаж.

— Если этот ребенок не родится, я умру!

Теперь я понимаю, почему папа тогда так поступил: он, фронтовик, повидавший столько смертей, сражался за жизнь. Прерывание беременности виделось ему убийством.

Папину угрозу мама восприняла в мистическом плане, но именно это решило судьбу моего брата Александра и более чем на десятилетие похоронило мечты Ксении.

Появление братика меня обрадовало. Я любила детей, но Володя, который был моложе меня на пару лет, тяжело пережил смену ситуации, в которой как младший из детей был общим любимцем.

Дело в том, что, как утверждают психологи, сирота обладает ослабленным эмоциональным статусом и вместо нормы в семь-восемь человек способен любить одного-двух из числа членов своей семьи. Мама это свое свойство, по-видимому, предчувствовала и мечтала о семье с одним ребенком. Но судьба распорядилась иначе, и появление каждого следующего ребенка лишало предыдущего ее внимания. Изменение наступало внезапно и немотивированно для вчерашнего баловня. Дело в том, что по причинам царившей тогда морали (надеюсь, не повсеместно) детей не посвящали в грядущие в семье перемены, и они наступали как гром среди ясного неба. Подобные ситуации порождали комплексы и враждебность. То же самое происходило позднее и с внуками.

Ксениной вины в этом не было. Она даже не чувствовала ненормальности ситуации. Сиротство — это та же самая бедность. А бедность — это депрессия. Такие люди воспринимают семью как тяжелую обязанность, довлевшую над ними с детства. От семьи они бегут в дружбу. Там они веселы, вплоть до эйфоричности, туда несут все лучшее, что сохранилось в душе.

Меня с детства в устах матери удивляли словосочетания типа: «моя Циля», «моя Рахилька», «моя Люба», «моя Аня», «моя Рита» и, опять-таки, «моя Люба». Удивляли, по-видимому, потому, что по отношению к членам семьи это местоимение никогда не звучало.

А женщины, которых я перечислила, были мамиными знакомыми, с которыми в разное время сводила ее судьба и которые эмоционально заменяли ей, по-видимому, мать. Сказать «моя мама» маленькой Ксении так и не довелось: она ушла из ее жизни, когда дочери было полтора года.

Что же касается последней Любы, то это была Любовь Николаевна Зонтович, супруга Алеся Кучара, тесная дружба с которой началась во время войны, в эвакуации, и продолжалась всю жизнь.

Когда в январе 1971 года у меня родилась дочь, мама с Любой Кучар собирались в Карловы Вары. Узнав, что у нее родилась внучка, мама написала мне в роддом, что отменяет поездку, чтобы мне помочь. Я же, считая, что ей надо подлечиться, заверила маму, что мы с мужем как-нибудь продержимся первый месяц. Зато потом ей, отдохнувшей, будет легче помогать нам.

Мы жили на одной лестничной площадке в квартирах напротив. Когда мама вернулась с курорта, она заглянула к нам только на третий день около часа ночи, когда мы купали малышку.

— Смотрите, какое пальто я себе сшила! — сказала она, крутнувшись на каблучке и… пошла домой. Мама не стала помогать нам и в дальнейшем, объяснив, что «своих детей она уже вырастила».

В конце жизни мама потеряла зрение, а Любовь Николаевна тяжело заболела, и их дружба носила уже «телефонный» характер. Любовь Николаевна ушла из жизни на несколько месяцев раньше подруги. Как-то мама вдруг обратилась ко мне с вопросом:

— Как ты думаешь, почему в одну из наших последних бесед Люба сказала, что никогда не встречала большей дуры, чем я?

Меня такие слова удивили не меньше и заставили задуматься. Я поняла, что такой вывод Любови Николаевны касался не маминого ума, а ее сиротского неумения строить нормальную семью, тем более, городскую.

— Почему вы у меня такие недружные? — расстроенно спрашивала она время от времени.

Летом 1994 года, после более чем двадцатилетнего перерыва, на папиной даче на озере Нарочь вдруг появился Николай, старший сын моего брата Володи и его первой жены Натальи. Мама казалась чем-то очень напуганной. Новые отношения с Колей складывались у кого как, а в целом довольно странно и даже несколько детективно. Через неделю, когда он уехал, мама призналась, что он приезжал решать вопрос с дачей.

— Я ему ее когда-то (когда Коле было лет шесть-семь) обещала.

Ситуацию тогда неожиданно разрядил ее первый внук, мой сын Володя Берберов. Смеясь, он объяснил двоюродному брату, что сначала она обещала эту дачу ему, Володе, потом его двоюродному брату Николаю Кулешову, затем их двоюродной сестре Даше Кулешовой, дочери сына Александра от первого брака, потом Ксении, дочери сына Владимира Кулешова от его брака с Надеждой Твороговой, затем, возможно, и последнему из внуков, Аркадию, тезке Аркадия Александровича Кулешова, рожденного в браке Александра Кулешова, ее сына, с Натальей Васильевной Ивашиной. Никаких обещаний не давалось только моей дочери Ольге, которую она за глаза называла «дочерью Безручкина» и смотреть отказывалась, хоть мой папа и делал попытки объяснить ей, что девочка — и ее внучка тоже.

Зато сам Аркадий Александрович любил и моего мужа, и его дочь. Она оказалась единственной из внуков, с кем он вызвался остаться на даче один, когда мы с мужем собрались определить ее в школу шестилетней.

— Не лишайте ребенка детства! — заявил он решительно. Мама уезжала в это время на отдых в Мисхор, так как те, ради кого она сидела на Нарочи, уже разъехались. Мы же, родители Ольги, работали в Минске, и преодолеть эти сто семьдесят километров до Нарочи, кроме воскресных дней, удавалось по вечерам в среду, чтобы заготовить для них пищу на следующие три дня до выходных.

Ольгу ее дедушка не просто любил. Как поэт он гордился ею.

— Она начинает, как я. Только раньше, — высказался он однажды. Стихи Ольга писала с четырехлетнего возраста. Она была для него благодарным объектом любви. Я рассказываю сейчас о том, что происходило в сентябре 1977 года. Спустя четыре месяца ее деда не стало.

Их не зовут, а звали ведь когда-то.
Им не звонят, а есть ведь что сказать.
Есть только камень с именем и датой.
Они ушли, и нам их не догнать.
Они ушли, и нашими следами
Их след последний был поспешно стерт.
Лишь иногда, как ветер с моря, память
Следов тех звук случайно донесет.

Эти строки внучка посвятит деду спустя десятилетие, покидая родину.

Ксения, так мне кажется, по-настоящему почувствовала себя матерью после рождения третьего ребенка, Саши. Она так увлеклась материнством, что остальные дети, включая и мужа, эмоционально осиротели. И дело не в том, что это дитя росло в лучших, более легких для родителей условиях, а в мамином мироощущении. Именно к этому времени относятся мои воспоминания о моей детской беспомощности.

Мама, помнится, хлопочет на кухне.

— Мама, дай две копейки на тетрадку!

Даже не вслушавшись в сущность проблемы, она механически отвечает:

— Отстань!

Здесь в ней, безусловно, говорит тетя Ольга.

Позже моему сыну Володе занижали оценки по географии потому, что он не вел календарь погоды, так как бабуля не считала существенной его прось-

бу купить наружный термометр (отвечаю на недоуменный вопрос читателя: я была тогда в Болгарии). Меня подобные ситуации очень обижали. Как я выходила из них — не помню, так как повторно с просьбой не обращалась, как не обращалась и к отцу, потому что мое доверие к нему было подточено, после того, как однажды он позволил себе расспрашивать меня об отношениях мамы с хромым Яшей из Уральска. То обстоятельство, что в этот момент папа был под хмельком, не оправдывало его в моих глазах. Мне было тяжело слышать от отца, которого я так любила, грязные домыслы в адрес моей горячо любимой мамы…

А мой брат Володя в ситуациях, подобных этой, с тетрадками, не «загонялся», как говорит теперь молодежь, а поступал просто:

— Дай две копейки, дай две копейки, — монотонно канючил он, преследуя по пятам маму до тех пор, пока она не осознавала суть его проблемы и не исполняла ее со словами:

— На, отстань!

Мне кажется, что в то время все родители деревенского происхождения, а после войны их в городе было большинство, относились к своим детям как сироты.

Впрочем, как мне теперь кажется, после войны редкие родители относились к своим детям иначе. После школы мы, дети, все свободное время проводили на улице. Там летом играли в карты во дворе под кустом сирени, лазили по развалинам, принося оттуда оружие.

Если везло с винтовочными патронами, мы разбивали их, добывая порох, а вечерами развлекались тем, что бросали гильзы в костер и ждали, покуда оттуда со звуком вылетит капсюль. Так продолжалось до тех пор, пока однажды такой капсюль не угодил в ногу Рогнеде Романовской, проходившей мимо. Лишь тогда мы поняли, что не только пуля, но и непогашенный капсюль представляет опасность.

Зимой нашим главным развлечением было катание на санках. Мы съезжали вниз с многочисленных горок, которых уже нет в районе теперешней Ульяновской, их сровняли при проведении трамвая.

И никто из взрослых не беспокоился о том, когда дети вернутся домой. Только актриса Купаловского театра Вера Поло регулярно часов в десять вечера звала свою падчерицу Лялю Пигулевскую, дочь ее мужа, театрального художника Бориса Малкина.

— Ляля, домой! — доносилось с балкона последнего этажа, и, понурив голову, Ляля тащилась на голос. Она была хорошей девочкой, мы ей сочувствовали, и тем не менее издевались над единственной, как я теперь понимаю, нормальной для города традицией семейного воспитания.

На ситуацию уменьшения внимания со стороны жены папа реагировал как обычно: уходил в творчество.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему белорусские поэты, в том числе и прекрасный лирик, мой отец, оставили так мало стихов о любви?

До меня даже дошел слух, что когда-то, по-видимому, в конце пятидесятых, Кулешов читал кому-то, кажется, Лужанину, в Доме творчества писателей «Королищевичи» цикл стихов о любви. С тех пор прошло полстолетия. Где они? Уж не потому ли исчезли, что «практичные» жены сразу же начинали поиски прообраза лирической героини?

А Аркадий Кулешов, возвращаясь в мыслях к любви, нередко решал эти вопросы «виртуально». В конце концов, размышления, вызванные чужими чувствами, должны были вылиться (и вылились) в собственные.

Я встречался с тобой молодою,
Как был молодым.
Ты была моей любой землею,
Я — морем твоим.

Поэтесса Эдди Огнецвет утверждала, что это стихотворение[1] посвящено ей. Однако его финальные строки свидетельствуют о том, что речь идет не о минутном увлечении, а о длительном, живом чувстве.

Хочется снова вспомнить Алексея Зарицкого: «Характер у Аркадия был сложный, не чуждый могучих порываний».

Таким порывом стала любовь Кулешова к молодой актрисе Лилии Дроздовой. Поэт вообще был домоседом. Он любил близких, свой письменный стол и поэзию.

«Твой отец, — сказал мне Микола Аврамчик, — сжег себя одержимостью поэзией». Сказанное выше не означает, что он был затворником, «хуторянином», как называли его коллеги, белорусские поэты. Он живо интересовался всем, что происходило в стране, в мире, черпая информацию из прессы, от друзей и близких. Он был заядлым грибником, рыбаком, ходил на футбол, играл в городки. По шахматам он был кандидатом в мастера спорта.

А про Дроздову, каюсь, он узнал от меня. Рогнеда Романовская пригласила меня на спектакль выпускников Театрального института, который она тогда заканчивала. Ставили «Детей солнца» М. Горького. Одну из женских ролей играла Лиля Дроздова. Мне, восьмикласснице, понравилась и сама Лиля, и ее игра. Вернувшись домой, я за чаем поделилась своими впечатлениями с домашними, но прислушался к ним, кажется, один только папа. Где и когда он познакомился с моим кумиром, я не знаю. Его увлечение началось весной 1951 года и продолжалось несколько лет. Папа был в восхищении от актрисы, а она принимала его чувства, как принимают молодые актрисы ухаживания «спонсора», как говорят теперь. Из всего, что Кулешов смог тогда сделать для нее, с уверенностью могу назвать роль Павлинки в одноименном фильме киностудии «Беларусьфильм».

— Лиля Дроздова, — рассказывал мне как-то Алексей Слесаренко, один из лучших исполнителей поэзии Кулешова и непревзойденный чтец его поэмы «Знамя бригады», — обладала хваткой, она требовала от твоего отца жениться на ней. Однако их роман утратил уже свой первоначальный накал. К тому же Аркадий никогда не собирался бросать семью, которой очень дорожил.

Вскоре после того, как они расстались, Дроздова вышла замуж за режиссера Горьковского театра и переехала в город на Волге. Однако теплые чувства друг к другу они сохранили навсегда. Когда в семидесятых Горьковский театр находился на гастролях в Минске, папа виделся с Дроздовой и даже ходил на встречу с нею с моим мужем, человеком исключительной красоты. Мне кажется, что он хвастался ею перед ним, а им — перед нею. Следует отметить, что к красоте как природному совершенству мой отец был на редкость чувствительным.

Мама тяжело переживала папину измену. Я уже училась в Москве, когда в один из моих приездов на каникулы она поделилась со мной своим горем.

Она плакала, рассказывая мне, что встретила их на проспекте Сталина, где мы тогда жили, когда шла куда-то с восьмилетним Сашей. Саша, увидев отца под руку с чужой женщиной, судорожно вцепился в мамину руку.

— Я повешусь, — говорила она мне, и мы, дети, поняли, что ей нужно искать работу, чтобы она не зацикливалась на семейных ситуациях. Вскоре Ксения, теперь уже Оксана Федоровна Кулешова, как она стала называться после 1949 года, когда они с Кулешовым зарегистрировали свой брак, начала работать в гастрономе по улице Янки Купалы, 19. Люди, с которыми ей довелось тогда работать, поминали ее добрым словом.

Правда, проработала она там недолго и вскоре перешла в Союз писателей на должность директора клуба Дома литератора.

Увязнув в коллизиях папиной любви, я ушла в сторону от быта семьи.

В 1953 году, с подачи Максима Танка, мы, в ту пору соседи по дому (теперь проспект Независимости, 12) — отдыхали летом на озере Нарочь. Это лето было

[1] «Земля и море», 1950 г.

замечательным как для взрослых, так и для их детей. Катались на рыбацких лодках, ловили рыбу на удочки и спиннинги, ходили по грибы и ягоды, играли в преферанс, который почему-то называли «пулькой», и подкидного дурака. Благодаря веселому эксцентричному Евгению Ивановичу[1] острили, шутили и много смеялись. Такой беспечно-возвышенной атмосферы литературной среды я не помню ни до, ни после. Хоть и жили мы тогда в тесноте (каждая семья занимала по комнате в доме рыбака), к нам тянулись посетители. Приезжали Лужанин, Пимен Панченко, была даже Анна Антоновна, наша хозяйка из Орехово-Зуево. Ей шел тогда семьдесят третий, но это была все еще умная, стройная женщина с по-девичьи длинной каштановой косой.

В августе того же года я поступила в Московский университет.

— У вас какая-то странная семья, — сказала как-то моему сыну Лена, скрипачка из его ансамбля «Литвины». — Где ваш эмоциональный вклад в судьбу друг друга? Вы все время заняты разбором поведения близких, в то время как их нужно просто любить.

…Вот-вот, подумала я, как раз это в отношении моей матери ко мне постоянно вызывало у меня недоумение.

— Твоя мама не любила тебя, — вклинилась в разговор моя дочь Ольга.

— ?

— Она мучительно рожала тебя. Это оставляет след в подсознании.

Анализируя теперь наши отношения с нею, я понимаю, что это, по-видимому, так. Но, к счастью, я этой правды не понимала, и если что-то и коробило меня, то я списывала это на особенности ее характера.

Как бы там ни было, но именно она внесла самый существенный вклад в мою судьбу. Это ей принадлежала идея отправить меня учиться в Москву. Московский университет был мечтой всех Щербовичей-Вечоров. Этим шляхтичам по наследству передавалось понимание значения образования в судьбе человека.

Мой брат Володя (Владимир Аркадьевич Кулешов), который моложе меня на два года, мечтал о матфаке Ленинградского университета, но родители воспрепятствовали его поступлению туда, мотивируя свое несогласие причинами материального характера. Моему папе и в самом деле было бы сложно, хоть и не невозможно, содержать двух студентов в разных городах, но не это было истинной причиной их отказа.

Когда в 1953-м я уехала в Москву, Вове было пятнадцать. В юношеском стремлении познать жизнь он стал иногда выпивать. Вполне умеренно, как каждый из его друзей-сверстников. Но стоило маме, открыв дверь, увидеть, что он нетрезв, как она оседала в кресло, стоявшее в прихожей, так как у нее отнимались ноги. Эта ее реакция уходила корнями в детство.

Ей было лет двенадцать, когда произошло то, что вызвало и закрепило в ней такое восприятие гибельного пристрастия людей.

Мама жила тогда в деревне Мащицы у Ольги Щербович-Вечор, своей тети. В этой или же в родственной семье умер мальчик, мамин ровесник Костя. Прощаясь с ним, родственники по очереди дежурили у гроба, сменяя друг друга. Мамина очередь пришлась на ночь.

Гроб стоял посреди комнаты, освещаемой неверным светом свечи в руке покойника. Мама сидела рядом и вглядывалась в неподвижное лицо друга. Время от времени она впадала в дрему, а очнувшись, снова бросала взор на Костю. В мерцающем свете догоравшей свечи ей вдруг почудилось, что лицо мальчика ожило. Девочка вскрикнула и в ужасе бросилась вон из избы. «Сменщица» нашла ее на крыльце лежащей без сознания на теле мертвецки пьяного голого мужчины.

В браке с Аркадием Кулешовым маме не приходилось сталкиваться с пьянством. Ощущение «полета» вызывало в нем творчество, а в войну право на «внеплановое» творчество на белорусском языке он «покупал» у главного редактора

[1] Евгений Иванович Скурко (Максим Танк).

фронтовой газеты, уступая тому свои «боевые сто грамм». Папа был счастлив, получив законное право выплеснуть на родном языке то, что наболело в сердце. Это стихи цикла «На поле боя», баллады, многие из которых первоначально были написаны для газеты «Знамя советов» на русском языке, как, например, «Комсомольский билет» или «Письмо из плена», но главное — это шедевр лирики военного времени — поэма «Знамя бригады», высоко оцененная Александром Твардовским.

Редкие дружеские застолья бывали, конечно, и в нашем доме. В разное время они собирали таких людей, как Александр Твардовский, Михаил Луконин, Михаил Дудин, Микола Нагнибеда, Пимен Панченко и другие.

Что касается моего брата, то дружеские пирушки, с которых он возвращался навеселе, пугали маму, и она решила, что если после окончания школы он будет предоставлен самому себе, то не исключено, что сопьется. Так Володя остался в Минске и, обладая недюжинными математическими способностями, что проявилось в будущем, поступил в Политехнический институт. Учился он хорошо. Было очевидно, что в выборе профессии не ошибся.

Но однажды утром раздается телефонный звонок. Папу вызывают в ЦК. Когда он вернулся домой и сразу же прошел в кабинет, мы поняли, что что-то случилось. В таких случаях мы не беспокоили его расспросами, а ждали, когда, успокоившись, он выйдет к нам. Мы — это его домашние: жена и дети. Новость мы услышали за обедом. Папа рассказал, что в ЦК ему показали сегодняшний номер газеты, кажется, это была «Звязда», со статьей, в которой «героем» выступал мой брат, Володя, который якобы накануне вечером в ресторане гостиницы «Беларусь» предлагал икону американским туристам. Папа получил выговор по партийной линии, а Володю исключили из института. Родители сына не бранили: накануне вечером сын был дома, да и торговля иконами не была промыслом белорусской молодежи. Закончив рассказ, папа устремил на маму долгий взор. Так с некоторыми из близких он время от времени обменивался мыслями. Мы, дети, в том числе и Володя, который присутствовал при этом, ничего, конечно, не поняли, так как о репрессиях тридцать седьмого, а тем более о газетных статьях, как об одном из фактов этой процедуры, ничего не знали. Фактор, правда, как не могли не отметить про себя родители, претерпел эволюцию: теперь били по детям, если таковые имелись.

Ситуацию неожиданно для всех разрулил литературовед Дмитрий Захарович Бородич, который буквально ворвался к нам в дом и, ничего не объясняя, увел Володю с собой. Позже мы поняли причину его поспешности. За остаток рабочего дня Дмитрий Захарович успел перевести Володю из Политехического в Институт механизации сельского хозяйства. Почему он так спешил, мы поняли назавтра, когда Володю вызвали в военкомат, чтобы забрать в армию. Уберег новый студенческий. Володя успешно окончил институт и стал со временем известным математиком. Правда, в Москве.

Мать и дочь

«Не знаю, какой опыт вынесла ты из прошлой жизни, — писал Ксении (Оксане по послевоенным документам) друг ее студенческих лет Иван Сидоренко, носивший тогда прозвище Ганс. — Но я плодотворно прожил свою жизнь и вынес из нее один опыт — опыт самого внимательного и уважительного отношения к людям, учил их сам и учился у них всему хорошему.

Конечно, очень жаль и даже в какой-то мере странно слышать от тебя, что ты, прожив жизнь, не решила окончательно, в чем ее смысл.

Для меня, как инженера, весь смысл жизни заключался в том, чтобы организовывать труд и жизнь тысяч людей на производстве материальных благ, основы жизни людей.

Второй частью смысла моей жизни было оставить после себя достойное потомство — какое оно, я тебе подробно сообщил.



1956 г. Валентина Аркадьевна с отцом в день ее свадьбы.

Таким образом, в могилу я уйду с чувством честно выполненного долга перед своим народом и убежден, что в памяти и сердцах людей оставлю добрый след.

Ты была женой «инженера человеческих душ», и уж тебе-то должен быть больше, чем мне, ясно понятие смысла жизни.

Я советую тебе: езжай на все лето на дачу, дыши свежим воздухом и «вдали от шума городского» хорошенько подумай и окончательно разберись, в чем «смысл жизни»…»

Ксения Щербович-Вечор — Оксана Кулешова — не дожила семидесяти семи дней до своего девяностотрехлетия. Последние двадцать семь лет она жила с младшим сыном Александром. Он перешел к ней в отцовскую квартиру после развода с женой, Ивашиной Натальей. Переход был короткий: через лестничную площадку. У него сохранились хорошие отношения и с сыном Аркадием, которого мама помогала растить, и с Натальей.

В последние годы жизни у мамы были проблемы со зрением. Во время аварии на Чернобыльской АЭС она работа в огороде, и влажная после радиоактивного дождя земля попала ей в глаз. Когда спустя некоторое время она обратилась к специалистам, ей сказали, что нерв уже отмер. На другом глазу ей сделали операцию по поводу катаракты, но хрусталик почему-то не поменяли, и она по-прежнему видела только очертания. Открывая дверь посетителю и видя на пороге силуэт, она неизменно спрашивала: «Кто ты?»

Это стало для нее катастрофой.

Она была человеком действия и не любила задаваться вопросом о смысле жизни. В этом она в свое время солидаризировалась с Христо, своим зятем, который любил повторять:

— Говорить о жизни? Ха-ха-ха! Это прерогатива русских!

Лишившись зрения, мама потеряла непосредственный контакт с жизнью. Ежедневные отношения с Сашей были главным образом бытовыми. Кроме преподавания в университете он всегда много работал дома за компьютером. Мама, пока могла, вела хозяйство. Саша только ходил за продуктами. В последние пару лет она перестала готовить, боясь перепутать муку с крахмалом или сахар с солью. Про сиделку и слышать не хотела, несмотря на то, что раньше у нее бывали домработницы, хозяйничания в доме чужого человека она не допускала. Беседы вела теперь с Ирой Метлицкой, которая часто навещала ее, принося время от времени даже домашние заготовки вроде квашеной капусты. Но не капуста, естественно, связывала маму с Метлицкими, а искренняя дружба. Умная и сердечная Ира стала для нее в конце жизни бальзамом для души.

В этот период полюбила Оксана Федоровна беседы с Алесей, своей единственной правнучкой, Ольгиной дочерью, которая росла у меня. Аля была не только единственной, но и благодарной слушательницей историй ее сиротского детства, чаще грустных, а иногда и просто страшных. Любопытная девчушка была к тому же и впечатлительной, и прабабушкины истории нередко пугали ее.

Я просила маму пощадить ее, но она изменить характер общения, по-видимому, не могла: ей, как я понимаю, нужно было обязательно выговориться как на исповеди. Несмотря на свою ангельскую внешность, мама не была идеалисткой. Она жила настоящим и не позволяла себе вязнуть в воспоминаниях о прошлом.

Теперь ее настоящим стали воспоминания. Слушательница Алеся сообщала им актуальность.

— Аля, — обращалась она к правнучке в телефонных беседах, — приходи, я приготовила тебе очередную историю.

Они запирались в маминой комнате, а я шла на кухню готовить борщи и котлеты.

Заглядывали мы к ней преимущественно по субботам. Я забегала и среди недели, когда еда заканчивалась. Но маме этого было мало.

— Почему ты не приходишь ко мне ежедневно? — спросила она однажды.

— Некогда, — ответила я.

— Как некогда? А что ты делала сегодня, например?

Я перечислила все, что делала по дому, все, что касалось ухода за ребенком, походы за продуктами, оплаты квитанций и, наконец, работу за письменным столом.

— Ой, — воскликнула она, выслушав меня, — так уж лучше быть сиротой!..

— Вы слишком ответственный человек, — сказал мне недавно Володин друг.

— Юра, нет слишком ответственных, есть ответственные и безответственные.

Иногда во время моих визитов мы вели с матерью довольно долгие беседы. Она расспрашивала меня о разных эпизодах моей жизни, о которых знала по слухам. Иногда, выслушав меня, она поджимала губы и известное время молчала, словно обдумывая услышанное. Я возвращалась на кухню, откуда она вытащила меня своим вопросом.

— Знаешь, — кричала она мне из своей комнаты, находившейся рядом с кухней, — все это беллетристика, литература.

Под словами «беллетристика» или «литература» следовало понимать «чушь». Эти выражения появились в ее лексиконе уже после смерти папы. А недоверие к некоторым событиям моей жизни объяснялось тем, что она слышала о них из уст других людей. Ее отношение ко мне формировалось слухами. И теперь ей было трудно поверить правде, потому что в этом случае пришлось бы пересмотреть давно сформированное отношение ко мне. После смерти Христо и моего возвращения из Болгарии мамино окружение стало называть меня неудачницей, как до этого они уже называли мою тетю Надежду Александровну Кулешову, у которой в 1950-м погиб муж Иван Иосифович Масловский… Однажды, во время одной из бесед со мной, мама призналась: «Ты знаешь, а я ведь могла бы многое для тебя сделать». — «А почему не делала?» После длительной паузы она ответила: «Не хотела». Я не стала продолжать этот разговор. Уже от самого признания у меня дух заняло. Я ведь была уверена в том, что она не помогает мне потому, что не видит моих проблем.

Моя университетская подруга, Лариса Писарек, приезжая в Минск, любила беседовать с Оксаной Федоровной. Я в этих беседах участвовала эпизодически. Недавно мы снова встретились с Лорой и затронули тему наших отношений с мамой. «Твоя мама любила тебя, — сказала Лора, — но она была реалисткой и практичной женщиной. Помнишь, как в связи с папиным романом ты посоветовала ей развестись с ним? И помнишь, что она тебе ответила? «А кто будет кормить, одевать и учить вас?» Естественно, ей было трудно понять, а главное, принять логику твоих поступков».

Ученые утверждают, что дочь похожа на мать отца. Матерью моего отца была, как вы помните, Екатерина Фоминична Ратобыльская, которую мама недолюбливала. Сама она была общительной, любившей позубоскалить. Постоянно пребывающая в работе бабушка казалась ей занудой. Сорок шесть лет жизни отдала бабушка школе, работая в Еловце и Беседовичах, расположенных в семи и трех километрах от Хотимска, где жила их с дедушкой семья. Это расстояние

бабушка преодолевала пешком. Оставшись в семилетнем возрасте без матери, она с отцом и другими детьми (их было шестеро) держала на своих плечах большое хозяйство хутора Ректа, расположенного в трех километрах от Черикова. Навыки планирования работы бабушка совершенствовала всю жизнь и от хозяйства никогда не отказывалась. Вставать, правда, ей приходилось в четыре утра. Праздности Екатерина Фоминична не понимала и прожила девяносто шесть лет.

Когда летом 1978 г. родился папин тезка, его внук Аркадий Александрович Кулешов, моей семилетней дочери Ольге не нашлось места на папиной даче на озере Нарочь. Тогда Надежда Александровна взяла ее с собой в Хотимск. Каждому, кто появлялся в ее доме, Катерина Фоминична находила занятие по его возрасту, силам и склонностям. Ольге она поручила рвать траву для кроликов. Надежда Александровна убирала дом, шила новые занавески, белила русскую печь. Бабушка же делала главное: готовила пищу для людей и животных. И заметьте, даже мужа Александра Николаевича она ухитрялась кормить по часам. Прабабушкина организованность произвела большое впечатление на внучку. А жизнь, которая благодаря этому кипела вокруг нее, оставила в Ольгиной памяти неизгладимый след. В прабабушкином хозяйстве были не только куры, но и индюки, утки, гуси, кролики, свиньи и корова с теленком. О коте Ваське и рыжей собаке Жульке я уже не говорю. Хозяйка любила животных. А в конце жизни несколько раз отказывалась переехать в Минск потому, что не находила в себе сил сдать любимую корову Буренку на скотобойню. Атмосфера прабабушкиного дома, полного любви и созидания, стала для Ольги идеалом существования. Впрочем, не только для нее. Те из бабушкиных многочисленных учеников, с кем случайно сводила меня судьба, как, например, поэт Петро Приходько или профессор Евмений Коновалов, говорили о своей учительнице как о человеке большого сердца.

Что же кается Ольги, которая, закончив Литературный институт им. Горького, так и осталась жить и работать в Москве, поручив мне заботу о своей дочери Алесе, то следует отметить, что она, работая в прабабушкином ритме в сфере бизнесадминистрирования, с трудом переносила гремучий клубок наших с Алесей нашествий к ней с котом и собакой, о которых потом долго и с теплом в душе вспоминала, как обычно вспоминают о своих походах в цирк.

Дать вразумительное толкование своего неприязненного отношения к Катерине Фоминичне Оксана Федоровна не могла. Ее, возможно, отталкивала строгость бабушки, которую она расценивала как авторитарность и от которой так натерпелась в детстве в семье тети Ольги. Не исключено, однако, что это была обычная ревность. Ведь мой отец очень любил свою мать, считая, что все лучшее в нем — от нее.

Во всяком случае, моя мама находила во мне нечто общее с Екатериной Фоминичной и не принимала этого.

— Валерий жалуется на твою авторитарность, — вдруг заявила мне мама в конце жизни.

— А как выглядит человек, который все бытовые проблемы решает в одиночку?

Алеся как-то спросила у бабушки, почему она не целовала меня в детстве.

— Я ее закаляла, — ответила та.

А вышло наоборот. Диковатая по результатам сурового воспитания, я потянулась к тому, кто, как мне казалось, любил меня больше всех. Так появился Христо Берберов, который, когда я уезжала в Минск, ходил по нашему общежитию на Стромынке, 34 с таким выражением лица, что от него шарахались.

На фотографии, где мне лет десять, я стою в крепдешиновом платье. С лицом приютского ребенка. Рассматривая фото, я вспомнила, что, как только появилась возможность, мама стащила с меня суконные американские брюки ядовито-зеленого цвета, полученные по ленд-лизу, и стала обшивать свою миловидную девочку в платья из крепдешина. Летние, естественно. Зимой мы все, ученицы женских школ, носили униформенные коричневые платья с белыми воротничка-

ми. Могу себе представить, как обидно было маме, когда она увидела, что я не ценю ее усилий, используя клешный подол шелкового платья для ловли рыбешек в Юхновской речке. Или же лазаю в нем по деревьям. Враз поменять образ жизни я не могла, а более подходящей, дешевой и удобной одежды у меня не было. У мамы опустились руки, а у меня выработался минимализм в одежде, который в дальнейшем очень пригодился.

— Валя, когда ты снимешь, наконец, эти портки? — спросил как-то у меня мой коллега, редактор телевидения Василий Кошель.

Он не понимал, что брюки — самая удобная одежда для работающей женщины, не свободной и от «домашнего рабства». К тому же, они были единственными. К счастью, их хватило и на то, чтобы написать книгу об отце. Я их, между прочим, храню как доказательство своей женской самоотверженности.

А писать мне и в самом деле было сложно. Я уже не работала в штате телевидения, уволившись оттуда, так как нужно было лечить дочь. Ей врачи рекомендовали теплый климат.

— Валя, а как вы будете жить потом? — спросил у меня сосед и старший товарищ Никифор Пашкевич.

— На Валерины 140 рублей, как в войну.

— Но тогда так жили все. А теперь ты одна будешь так жить.

— Понимаю. Но надо спасать Ольгу.

Мы с Ольгой уехали в Болгарию к родственникам Христо, которые помогли нам продержаться у моря необходимых три месяца. По возращении я стала переводить для журнала «Нёман» роман классика болгарской литературы Павла Вежинова, зарабатывая одновременно на сценариях для телевидения.

Работа над сложным переводом, за который я получила премию журнала за 1983 г., и теплое отношение ко мне автора романа, дали мне смелость начать в январе 1984 г. работу над книгой об отце, поэте Аркадии Кулешове. Не скажу, что в этом исключительно моя заслуга. По-разному помогали мне такие белорусские литераторы, как Нил Гилевич, Галина Корженевская, Алена Василевич, Анатолий Кудравец, Алесь Жук, Анатолий Вертинский.

— Валя, чтобы браться за такую работу, нужно обеспечить себя деньгами, — советовал мой практичный брат Володя. — Продай что-нибудь…

Продавать было нечего.

— Если человеку есть что сказать, — говорил мне папа, — он скажет, чего бы это ему ни стоило. До войны я писал по ночам на кухне, а в войну ночью — в землянке.

В то время, когда мы говорили об этом, я по ночам писала свои сценарии для телевидения.

Папа мечтал, чтобы я, подобно Вале Твардовской, написала о нем.

Он видел, как меня изматывают командировки по республике, и понимал, что в условиях оперативной телевизионной работы меня на другое не хватит.

В конце августа 1977 года, когда на Нарочи оставались только папа с шестилетней внучкой Ольгой, мы приехали с Валерием, чтобы наготовить им еду до следующего нашего приезда.

— Валя, — сказал папа, метнув на меня свой пронзительный взор, — брось ты это телевидение и посиди здесь со мной. Я расскажу тебе все о себе и Твардовском.

— Папа, но ведь об этом уже писалось…

— Писалось, и неплохо, но то, что я хочу рассказать тебе, знали только я и Саша.

— Папа, я бы с радостью приняла твое предложение, но на Валерину зарплату нам не прожить…

— Я готов платить тебе твою.

— А мама это допустит?

Папа задумался.

— Не допустит, — сказал он удрученно. И добавил с грустью в голосе: — Как жаль, что ты начнешь писать только после моей смерти…

В начале нашей жизни с Валерием Безручкиным, и особенно с осени 1969 года, когда мы стали жить на одной площадке с родителями в доме № 7 по улице Янки Купалы, мама по вечерам заходила, бывало, к нам на чай. Я работала тогда на филфаке БГУ, преподавала польский, болгарский, практическую стилистику русского языка, лексику и синтаксис. Моя нагрузка составляла двадцать шесть часов практических занятий в неделю. Были и вечерние. В такие дни любящие меня люди за чашкой чая вскрывали огрехи моего хозяйствования, чтобы подсказать, что еще я должна делать для улучшения санитарного состояния нашего дома. Особенно раздражала их моя спальня, где на письменном столе постоянно лежали бумаги, трогать которые возбранялось. Реванш они брали, когда я куда-нибудь уезжала. Однажды, вернувшись из Москвы, я не обнаружила не только нужных мне клочков бумаги, но и моего любимого вертящегося кресла, у которого наш пес погрыз накануне подлокотник.

Когда в 1953 г. я уехала в Москву, поступив на славянское отделение МГУ, мама находилась в тяжелой ситуации. У нее на руках остались мальчики. Саше было семь, и он пошел в школу. Володя же бурно переживал переходный возраст. Папино увлечение Дроздовой отдаляло его от семьи, и мама растерялась. Ей, возможно, казалось, что я сбежала от проблем, а мой выход замуж она могла воспринять как окончательную измену семье. Я не утверждаю, что это было именно так, она никогда не упрекала меня этим, но делала все от нее зависящее, чтобы оттянуть момент моего замужества с декабря 1954 г. до июля 1956 г. Этим внесла дисгармонию в наши с Христо отношения, потому что любовь не поддается регулированию. Она развивается по своим законам. А вообще же моя мама всегда была против того, чтобы я выходила замуж. Она пыталась отговорить от брака со мной и моего второго мужа Валерия Безручкина.

— Ты же, надеюсь, больше не пойдешь замуж, — сказал она мне, когда я вернулась из Болгарии, похоронив Христо Берберова.

— Почему ты так думаешь? — спросила я.

— Никто не сможет заменить Вуке, — так она называла моего сына Володю, — отца.

— Его и не нужно заменять. Достаточно быть ему другом…

— Я выйду за тебя только тогда, когда увижу, что ты находишь общий язык с Володей, — сказала я Валерию, когда он посватался.

— Знаешь, Вука, твоя мама была вообще беспроблемным ребенком. Она ничего никогда не просила, ни на что не жаловалась, не путалась под ногами. И вдруг — на тебе! — выходит замуж.

— А что в этом странного?

— Как? Она была такая красивая, так хорошо училась… Мы, семья, надеялись, что она не будет связывать себя браком, а станет академиком.

— А зачем?

— Чтобы помочь братьям стать на ноги.

Бедная моя мама! Как, должно быть, напугал ее папин роман! И посмотрите, какие аналогии вытащил он из ее подсознания.

Подобное действительно происходило, особенно в истории становления разночинной интеллигенции. Если семья рано теряла кормильца, судьба перекладывала эту ношу на плечи старшего ребенка.

Подобный образ мысли свидетельствует о том, что в пору папиного романа с Лилей Дроздовой мама допускала мысль о разводе, а значит, воспринимала ситуацию эмоционально.

Это привело к тому, что, когда папин роман закончился, мама не допустила возобновления супружеских отношений. Этим и объясняются некоторые его стихи.

Любовь моя, уже немало лет,
Нарушив все законы притяженья,
Живем мы как взаимоисключенье,
Как мир и антимир среди планет.
Не ходим никогда одной орбитой,
Не делим хлеб, а делим только соль.
И ты смеешься над моей обидой,
Грустишь, когда моя проходит боль.
Со мной не соглашаешься жестоко
Ни в чем и все оспариваешь сплошь,
И стоит повернуться мне к востоку,
Как тут же ты на запад повернешь.
И все ж земля б моя осиротела,
Вселенная заволоклась бы мглой,
Когда б ты, гневно вспыхнув, улетела,
Со скоростью исчезла световой.

1962

Когда отношения моих родителей разладились, маме было сорок два года, а папе соответственно сорок. Он готов был вернуться к жене, но мама не смогла простить измену. Папа был мужчиной горячих кровей, и подобное поведение жены делало его легкой добычей для хищниц. И таковая вскоре появилась. Не стану называть ее имени, так как эта любовь оказалась в конце концов безрадостной. Но и она дала литературе прекрасные стихи. Такие, например, как «Перед дорогой», написанные в 1961 году.

Если бы мой отец не был большим поэтом, я не пошла бы на подобные откровения. Данный эпизод папиной жизни нисколько не унижает его, поскольку был продиктован человеческой потребностью, это во-первых, а во-вторых, стал его последней любовью. Роман начался в ноябре 1958 года, когда будущая пара оказалась рядом за праздничным столом у общих знакомых. Женщина поразила папу сходством с его женой в более молодом возрасте, и сердце его дрогнуло. Роман длился три года и закончился, когда папа понял, что его возлюбленная напоминает Оксану Федоровну только внешне. Но расстался он с ней с благодарностью за свои иллюзии:

Ты не будешь мною позабыта,
Ты осталась в памяти моей,
Как последний сноп густого жита
В памяти заснеженных полей.
Даже если б тяжкою землею
Мне глаза навек закрыла мгла.
…Если бы забыт я был тобою,
Ты бы мной забыта не была.

Стихотворение, написанное в 1967 году, явилось результатом осмысления чувства.

А о видах семьи на мое будущее я узнала только в 1986 году, когда события Чернобыля забросили нас с дочерью в Москву к брату. Володя рассказывал мне об этом с обидой в голосе, как будто речь шла о моем очередном предательстве.

Почему, подумалось мне, они так ошиблись в своих прогнозах? «Под яблонею спать тебя покину…» Так, в гармонии с природой, представлял себе мой отец, истинный поэт, мою счастливую судьбу.

А маме она виделась в свете плодотворной рабочей карьеры. Это планировала моя семья: мама с братьями. Спрогнозировали и ждали, что их планы осуществятся. Сами по себе. Автоматически. Они, возможно, и стали бы реальностью, если бы я была тем, чем им представлялась.

— К тебе же еще в школе приходили мальчики…

— Ты что же, считала, что я с ними… — от удивления у меня перехватило дыхание.

— А что?

— Мама, мы же с ними музыку слушали. Ты же сама рассказывала мне, как после моего отъезда в Болгарию Саша разбивал об угол проигрывателя так надоевшие ему пластинки. А те два литра спирта, которые Леня Пушкарев отдал Володе за пластинки 1907 года, чтобы спасти их? И разве ты не помнишь, как всю жизнь иносказательно пугала меня сексом?.. А помнишь, как в юности называли меня старшие писатели?

— Помню. Наташей Ростовой.

— Этим они невольно подчеркивали результат твоего воспитания. Анахроничный. А как должна строить свою жизнь девушка, которая стремится делать карьеру? По-советски, по-комсомольски. Это было для меня неприемлемо. Возможно, по логике отрицания я и оказалась в семье болгарской аристократии, ограбленной народной державой. Хорошо, что не уничтоженной…

В 1961 году мама с Сашей гостили у нас в Софии. Я бы не писала об этом, если бы во время визита не проявились существенные черты ее характера, ранее мной не наблюдавшиеся. Дело в том, что мы с Христо и нашим сыном Володей жили в трехкомнатной квартире в центре Софии вместе с его братьями-студентами Георгием и Дмитрием. Жил с нами и самый старший из братьев. Илия был энтузиастом нового строя жизни и работал в составе молодежной бригады на строительстве самой крупной в Болгарии гидроэлектростанции в горах. Результатом нарушения нормального ритма жизни стала серьезная болезнь — рассеянный склероз. Когда в 1960-м мы с сыном приехали в Болгарию, Илия еще двигался, но соседи поговаривали о том, что он пьет, потому что при ходьбе его изрядно покачивало. Через полтора года, к моменту приезда моих родственников, он уже не вставал и с трудом выговаривал слова. Братья-студенты ухаживали за ним как могли.

Мама, которая уже имела опыт ухода за больным мужем, сразу же заметила недостатки и принялась их выправлять. Она мыла Илию, готовила ему, кормила и вела с ним долгие беседы о жизни (братья Берберовы хорошо знали русский язык). Она даже упрекала меня в том, что я не ухаживаю за ним.

— Мама, — вынуждена была объяснять я, — я же преподаю в старших классах, и к тому же у меня семья с трехлетним сыном.

…Однажды, когда мы с ней одновременно вернулись с дачи, она позвонила мне через пару часов и пожаловалась на то, что дом нуждается в уборке.

— У меня та же ситуация, — ответила я ей.

— Тебе что, у тебя все само делается, — на полном серьезе подвела она итог нашей беседе.

После знакомства с Оксаной Федоровной мои многочисленные болгарские родственники изменили свое отношение к ней. До этого они втайне считали, что, по всей видимости, у меня плохая мама, если позволила дочери, притом, единственной, уехать аж за границу.

Наша соседка по лестничной площадке Елизавета Атанасова, Леля Вэца, как мы ее называли, прекрасная женщина, не позволила дочери выйти замуж за парня из Пловдива, чтобы не разлучаться с ней. Иванка так и не создала семьи.

Теперь родственники Христо считали, что в отношении моей мамы ошибались. Но в чем здесь дело, они так и не смогли понять. Чувствовали только, что столкнулись с некой поломкой системы нормальных семейных отношений. Я сейчас думаю, что мама оказалась в ситуации, о которой говорят психологи. Они утверждают, что если женщина оказывается сиротой, то только четвертое колено женщин-потомков, начиная отсчет от нее, имеет шанс зажить нормально.

А Илия пережил тогда последние счастливые мгновения своей жизни. Мамин отъезд он воспринял как закат солнца. Когда потом к нему, как обычно, приходили с визитом его сестры и за сигаретой или чашечкой кофе вели с ним светские беседы, он отворачивался от них с выражением страдания на лице. Умер Илия спустя четыре месяца, 2 января 1962 года.

В начале рассказа об Илие я упоминала о папиной болезни. Это был его второй инфаркт. Удар случился во время визита в Василишки, что недалеко от Лиды, где находился избирательный округ. После Кулешова этот округ перешел, между прочим, «в наследство» к Василю Быкову.

В тот раз папа впервые наведался к своим избирателям. Как они там «братались» — неизвестно. Но в результате вместо папы на пороге нашей квартиры появился Нейфах, главврач поликлиники Литфонда, и сообщил маме о болезни мужа.

— Что будем делать? — обратился к ней с вопросом Яков Владимирович. Он был информирован о трениях между супругами в связи с недавним романом Кулешова с Дроздовой и не знал, какой реакции ждать.

— Снаряжайте машину. Едем, — ответила она и начала упаковывать одеяла.

Папа с посиневшим лицом лежал на столе в школьном классе. Мама с Нейфахом закутали его в пуховые одеяла, привезли в Минск и выходили. Папа был человеком тонким и оценил мамину преданность. Еще выше ценил он в ней то, что она создавала ему условии для работы. Не помню уже, кто решил посочувствовать маме в том, что ее муж не помогает ей по хозяйству, и привел в пример другого поэта, который был в этом смысле образцом. Мама улыбнулась и сказала:

— Аркадий мог бы быть мне хорошим помощником. Он вырос в деревне, был здоровым, сильным и все умел делать. В начале нашей жизни он охотно помогал мне. А когда у нас появился второй ребенок, Володя, забота о двухлетней Вале легла на его плечи. Особенно любил он укладывать ее спать. Тогда можно было сочетать приятное с полезным: петь ей народные песни и читать стихи любимых поэтов. Вскоре он заметил, что у него возник контакт с ребенком: над некоторыми стихами малышка плачет. Такую реакцию неизменно вызывало в ней чтение стихотворения Лермонтова «Дубовый листок», исполнение которого она уже стала ему заказывать.

— Но ты же будешь плакать, — говорил он ей.

— Не буду, — обещала она, и все повторялось снова.

Если знать, какую роль в его собственном творчестве сыграла позднее первая строка этого стихотворения, занесенная им в записную книжку еще перед войной, то можно при желании усмотреть в этом знак судьбы. Чтобы вы не напрягали свою память, напомню, что перефразированная (Як ад роднай галінкі дубовы лісток адарваны), она вытащила из подсознания поэта длинную ассоциацию впечатлений военного времени, составивших его знаменитую поэму «Знамя бригады». Оценка поэмы Александром Твардовским общеизвестна, как известно и то, что Кулешов получил за нее Сталинскую премию I степени. Это случилось в 1946 году. Скажите, как должна была понимать свою роль супруга такого мужа?

Мама как-то сказала мне, что любит детей в возрасте до трех лет. Ей с ними легко. Уход за ними требует преимущественно физических усилий, которых она не боялась. Она была женщиной исключительного здоровья, очень любила занятия физкультурой и постоянно устраивала их в Доме литератора, директором которого являлась. Помню, как однажды я привезла на дачу ковер, постелила его на земле и принялась мыть. Был погожий летний день. Все, казалось, способствует такой работе, но меня, с моим отцовским сердцем, хватило на два квадратных метра.

Наша кухня располагалась на застекленной веранде. Так что человек, работавший там, мог видеть все, что происходит во дворе. Мама, готовившая обед, время от времени бросала взгляд в мою сторону. Не знаю, как она оценивала то, что там происходило, но вдруг подбежала ко мне, выхватила скребок и принялась за дело сама. Когда ковер высох, я долго не могла сообразить, что в нем не так. Только в Минске, разостлав ковер на полу, я поняла, что он попросту лысый. В рабочем запале она вырвала из него и весь ворс.

Когда мама покинула этот мир, мой брат Саша попросил меня помочь навести порядок в доме и разобрать гардероб с его одеждой. Большую часть того, что там находилось, пришлось выбросить, потому что мама хранила там его рубахи примерно с 1969 года.

По аналогии мне вспомнился другой случай, уже с моей одеждой. Когда весной 1964 года я с сыном приехала на два года в Минск как аспирантка Софийского университета, я снова поселилась в комнате, в которой жила еще школьницей. Повесив в шкаф свою одежду, я очень удивилась, когда по возвращении с Нарочи после отдыха я не нашла ее там. Пришлось заменить весь исчезнувший гардероб одним новым платьем и появляться в нем везде.

Можно себе представить мое изумление, когда в 1983 году, почти двадцать лет спустя после описанных событий, отдыхая на Нарочи, в доме, построенном папой тридцать лет тому назад, моя, уже двенадцатилетняя дочь, как все дети любившая лазать по кладовкам, вдруг появилась передо мной в одном из моих платьев, пропавших в 1964-м. Среди этих вещей обнаружились и Володины часы — его первые наручные часы, да к тому же последний подарок его отца. Можно себе представить, как переживал Володя, когда они вдруг исчезли, и какие предположения могли родиться в его голове. Тем более что спустя три года, в декабре 1967-го, улетая на похороны Христо, я не сказала сыну о смерти его отца. Не нашла в себе сил. Однако, 26-го, в день похорон, он все утро — на уроках достаточно — громко пел траурный марш Шопена, и его учительница, Софья Феликсовна Бородич, знавшая о семейной трагедии, не останавливала его.

— Знаете, Оксана Федоровна, — жаловался на меня Христо, — вместо того чтобы писать, она занимается домашним хозяйством!

В ответ мама только поджимала губы.

— Знаете, Оксана Федоровна, — жаловался на меня Валерий, мой второй муж, — вместо того чтоб наводить порядок в доме, она пишет!

— Мама, — решилась я, наконец, обратиться к ней за помощью в 1975 году, — помоги мне с Ольгой (ей было тогда четыре), потому что если я и в дальнейшем буду так разрываться между работой, домом и ребенком, то приду к финалу одновременно с тобой и не смогу тебе помочь.

— Пусть меня разразит гром, если я рассчитываю на тебя! — неожиданно выкрикнула она.

— А на кого же ты рассчитываешь?

— На сыновей, естественно.

— Мама, это не естественно. Опираться на сыновей — это значит рассчитывать на невесток.

Все произошло так, как я и предвидела. Весной 2005 года с ней случился инсульт. Мы с Алесей находились в санатории. Когда вернулись, она была уже дома после больницы.

23 мая я заглянула к ней. Она спала, лежа на боку.

— Мама, не волнуйся, я здесь, — сказала я, думая, что она меня слышит, склонилась и поцеловала.

24 мая позвонил Саша и сказал, что мамы не стало…

Мне до сих пор кажется, что все время моего отсутствия она усилием воли удерживала себя на земле, чтобы не уйти не простившись. Ведь накануне моего отъезда в санаторий, куда на каникулы я возила внучку и, пользуясь оказией, подлечивалась от собственных микроинсультов, мама, как бы подытоживая свое новое осмысление моей жизни, вдруг сказала:

— Как жаль, что ты не была у меня единственной…

Я не хочу сказать, что в этих словах она выразила свое сожаление о том, что затем родила мальчиков. Нет, она вдруг осознала, что как сирота не должна была распылять свои эмоции. В результате ее внимания хватило только на младших.

Что могла она ответить другу на его настойчивые вопросы о смысле жизни? Кроме того, что написала «на том неаккуратном листке бумаги»? Цитирую ее

ответ еще раз для тех, кто уже не помнит его: «…одной однозначной правды нет. У каждой жизни свой опыт. Я пишу тебе не для того, чтобы вести диспут о смысле жизни, в чем он, я так и не решила окончательно». Своему мужу, Аркадию Кулешову, она ответила на подобный вопрос более определенно: «Каждый человек реализует свою программу, ту, которая заложена в его сознание. Главным компьютером. Твоя программа, как я поняла, — это поэзия».

У поэта соперников нету.
Ни на улице и не в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
Это он не о вас, о себе.

К этим словам Окуджавы я бы добавила то, что однажды в интервью сказал мой отец: «Поэт пишет о себе, но не для себя, а для людей».

В конце жизни мои родители жили очень дружно. Папин внезапный уход из жизни в Несвижском санатории свалил нас с мамой с ног. Я лежала с инфарктом, она — через площадку — с чем-то не менее серьезным. Хорошо, что ее закадычные друзья — москвичи Головкины — не успели уехать после похорон и ухаживали за ней.

…В беседах о тете Владе, Владиславе Францевне, жене Янки Купалы, поэта номер один белорусской литературы, мама всегда подчеркивала ее преданность мужу.

Этими качествами отличалась и она сама. С той только разницей, что тетя Владя, как по-домашнему звала ее белорусская интеллигенция, столь же преданно служила делу популяризации его творчества. С уходом из жизни папы мама поспешила перелистнуть эту страницу его жизни. Свою миссию рядом с большим поэтом она видела в том, чтобы при жизни создавать ему условия для творчества. Будем же благодарны ей за то, что у нее хватило мужества быть спутницей человека столь непростой судьбы.

Авторизованный перевод с белорусского Владимира Берберова.

«Всегда же со мною твой образ...»

Переписка Максима Лужанина и Евгении Пфляумбаум

Банальными кажутся слова: «Его судьба тесно переплелась с судьбой целой эпохи». Но лучше сказать о судьбе классика белорусской литературы, известного поэта, писателя, публициста Максима Лужанина (Александра Амвросьевича Каратая), трудно. Рожденный в 1909 году, он прожил девяносто два года. Революция, строительство нового — социалистического — общества, репрессии, фронты Великой Отечественной войны и мирная послевоенная жизнь, перестройка — все это коснулось его самым непосредственным образом.

Талантливый поэт уверенно ворвался в литературу — первый поэтический сборник «Шаги» был издан в 1928 году — и в своей поэзии воспевал строительство нового общества. Даже по названиям его поэтических сборников можно судить о том, что его волновало и чему посвящал свои поэтические строки — «Единогласно», «Голосует весна», «За весну» (1931), «Голоса городов» (1932), «Широкое поле войны» (1945)...

Стоял у истоков новой волны белорусского культурного возрождения 20-х годов прошлого столетия, являлся членом писательских организаций «Маладняк» и «Узвышша». Работал в редакции журнала «Узвышша» (1930—1931), на Белорусском радио (1931—1933). В 1933 г. был репрессирован. С 1935 по 1941 гг. работал издательским редактором в Москве. С начала Великой Отечественной войны — в Красной Армии. Закончил Подольское пехотное училище, участвовал в боях под Сталинградом, был тяжело ранен. После демобилизации (1944) работал в редакциях газеты «Звязда» и журнала «Вожык», на должности референта АН БССР. С 1959 г. — член сценарной коллегии киностудии «Беларусьфильм», с 1967 по 1971 гг . — главный редактор киностудии. В 1968 г. участвовал в работе XXIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. Заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Литературной премии имени Кулешова, Максим Лужанин был награжден медалью Франциска Скорины, орденами Ленина и Дружбы народов. Его перу принадлежит множество поэтических произведений для детей и взрослых. Максим Лужанин перевел на белорусский язык известные сочинения русских, польских и украинских классиков, написал сценарии к художественным фильмам «Паўлінка», «Першыя выпрабаванні» и «Запомнім гэты дзень».

О его творчестве написаны монографии, статьи. Но, пожалуй, самой неисследованной частью остались его личные архивы. И в частности, его письма. Письма к друзьям, родным и, главное, к любимой женщине и жене — Евгении Пфляумбаум, с которой они прожили долгую-долгую жизнь. Они почти ровесники — она родилась в 1908 году.

Оба с юности писали стихи. Впервые стихи восемнадцатилетней Евгении Пфляумбаум были напечатаны в 1926 году в коллективном сборнике, а потом она вышла замуж, и больше никто никогда не слышал о такой поэтессе. И тем не

менее у Евгении Эргардовны рождались стихи, которые она записывала где-то в тетрадках, на листиках, особо не заботясь о том, чтобы их издать. Но произошло чудо — сборник ее стихов — «Савой жыцця», — написанных в течение жизни увидел все же свет — когда ей было уже за восемьдесят. Кстати, высоко оцененный белорусскими критиками.

Жизнь уготовила ей другую судьбу — быть Музой поэта. И она приняла ее с достоинством, помогая мужу и поддерживая его в самые трудные периоды его жизни. И когда поэт был репрессирован и выслан в Сибирь, Евгения Пфляумбаум продала домашнюю библиотеку с уникальными изданиями и поехала за мужем. Работала учительницей в сельской школе и в любую погоду, будь то сильный мороз, метель или дождь, пробиралась к лагерю, чтобы передать мужу что-нибудь из продуктов, хотя сама голодала. Там и сильно застудилась, потеряв здоровье.

После возвращения из Сибири супруги обосновались в Москве, где жили родители Евгении...

Сохранилась переписка мужа и жены — пожелтевшие листы, листики, написанные за письменным столом, в вагонах поездов ручкой, карандашом. Многие строчки уже не читаются — со временем они выгорели, стерлись. Но самое главное дошло до нас — их неодолимое желание говорить друг с другом. В письмах история их любви, встреч и расставаний, и неуловимо — дыхание того времени.

Приходится только сожалеть, что эпистолярный жанр уходит из нашей жизни: мы в основном общаемся по телефону или шлем короткие эсэмэски, и наши потомки уже не ощутят биение пульса этого времени.

В 6-м и 7-м номерах журнал «Нёман» впервые публикует письма Максима Лужанина и его жены Евгении Пфляумбаум, охватывающие 30-е — середину 40-х годов, которые хранятся в отделе редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси.

* * *

Редакция обратилась с просьбой к научному сотруднику ЦНБ НАН Беларуси **Марине Марковне Лис** поделиться своими воспоминаниями о работе с Максимом Лужаниным при подготовке его архивов, которые предварили бы публикацию переписки.

Отдел публицистики

«И на хорошее, и на плохое — нас только двое…»

В конце 1996 года известный белорусский писатель Максим Лужанин (Александр Амвросьевич Каратай, 1909—2001), находясь уже в преклонном возрасте, обратился в Центральную научную библиотеку Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) с просьбой помочь ему в деле упорядочения его архива. Отдельные творческие рукописи Лужанина на тот момент уже хранились в библиотеке: начиная с 1980 года Александр Амвросьевич передавал их частями, на безвозмездной основе, иначе говоря, в дар, с намерением впоследствии передать в ЦНБ НАН Беларуси и весь личный архив.

Подводя итоги — жизненный и литературной деятельности, он готовил к печати последние сборники своих произведений, а также оформлял для новой книги не вошедшие в предыдущие издания стихи супруги — талантливой, самобытной белорусской поэтессы Евгении Эргардовны Пфляумбаум (1908—1996). Ее первые поэтические выступления вызвали живой читательский интерес еще в начале 1920-х годов, а затем было долгое поэтическое молчание, растянувшееся на шесть десятилетий.

Для этой работы требовалось много времени и сил, а состояние здоровья М. Лужанина оставляло желать лучшего, да и годы брали свое. Кроме того, собрать все поэтическое наследие поэтессы и надлежащим образом оформить его было довольно сложно. Стихи Евгении Пфляумбаум долгое время не предназначались для широкой читательской аудитории, писались украдкой, «в стол»

(на это были свои причины). Черновиком мог служить и блокнот, и тетрадь, и просто клочок бумаги. Порой текст был трудночитаемым или совсем неразборчивым, иногда присутствовал лишь его фрагмент. Нужно отдать должное Максиму Лужанину, проделавшему колоссальную восстановительную работу, вернувшему к жизни не одно произведение поэтессы.

Мы с моей коллегой Я. М. Киселевой откликнулись на просьбу Александра Амвросьевича и в течение некоторого времени оказывали ему посильную помощь.

Работать с таким маститым писателем, родившимся на заре XX века, было и интересно, и полезно. Столь близкое общение способствовало наиболее полному и объективному моему восприятию Лужанина как человека, писателя, гражданина. Оно вносило и некоторую корректировку в понимание отдельных фактов его биографии, творческого процесса, событий, очевидцем которых был Максим Лужанин, а также давало дополнительные ценные сведения, касающиеся его жизни, окружения: он был близко знаком со многими выдающимися представителями творческой интеллигенции, долгое время выполнял обязанности секретаря у классика белорусской литературы Якуба Коласа. Все это сыграло положительную роль и впоследствии в некоторой степени облегчило обработку личного архива писателя.

М. Лужанин был человеком с большим жизненным опытом, широко образованным, интеллектуально развитым. Он являлся своеобразным мостиком между той романтической, многоликой и противоречивой эпохой 1920—1940-х годов, о которой мое поколение знало лишь по книжкам, и современностью. Александр Амвросьевич был интересным собеседником. Его рассказы можно было слушать часами. Несмотря на свой почти 90-летний возраст, обладал ясным умом и великолепной памятью.

Весь облик М. Лужанина внушал какое-то особое почтение, располагал к контакту. И по внутреннему содержанию, и внешне это был настоящий интеллигент. Не помню ни одной нашей встречи, когда бы он предстал пред нами неаккуратно одетый, не чисто выбритый или же без галстука. Даже тогда, когда Александру Амвросьевичу нездоровилось, когда «отказывали» ноги и приходилось прибегать к помощи так называемых «ходунков», даже тогда он старался быть, по возможности, галантным: встретить у двери, помочь раздеться, проводить в комнату.

Особое внимание в нашей совместной работе М. Лужанин уделял подготовке последнего, посмертного сборника Е. Пфляумбаум под названием «Зімовае сонца». Чувствовалось, что эта работа полностью захватила Александра Амвросьевича. Ему нужно было успеть отдать последнюю дань памяти, уважения и благодарности дорогому и очень близкому человеку, каким была для него Евгения Эргардовна.

С фотографий в комнате на нас смотрели и совсем юная, романтически-задумчивая девушка, и зрелая, умудренная жизнью женщина — Евгения Пфляумбаум присутствовала среди нас. И хотя воспоминаниями о своей личной жизни Александр Амвросьевич делился довольно скупо, тем не менее, чувствовалось, что светлое чувство, зародившееся на заре их отношений, несмотря на все жизненные перипетии, не угасло со смертью жены — любимой женщины, друга и соратника, она незримо была рядом.

Еще при жизни Евгении Эргардовны все первые экземпляры изданных книг Максим Лужанин со словами благодарности дарил именно ей, а она, когда стали печатать и ее, дарила ему свои. Об этом свидетельствуют многочисленные дарственные надписи, например, на книгах М. Лужанина: «Выгараваная, выхвараваная, яна больш твая, чым мая, гэтая кніжка. А. 3.III.73» (Рэпартаж з рубцом на сэрцы. Мінск, 1973), «Віншую, першы паасобнік Табой названай кнігі — Табе. А. 31.X.82» (Колас расказвае пра сябе. Мінск, 1982), «Як вялося, хай і вядзецца: першая кніжка — Табе. А.» (Добры хлопец Дзік. Мінск, 1993). А вот инскрипты, оставленные Е. Пфляумбаум на книге «Сувой жыцця» (Минск, 1989): «Алесю Каратаю. Табе з падзякаю за вызваленне радкоў», и тут же: «На добрае ці на благое — нас толькі двое… Жэня».

На сегодняшний день личный фонд Максима Лужанина насчитывает 2 577 единиц хранения без учета последнего поступления — заключительной части архива, переданной уже после смерти писателя внучкой друга его юности Тодора Кляшторного — талантливого белорусского литератора, репрессированного в 1930-е годы. Составной частью в фонд входят также и архивные материалы Е. Пфляумбаум.

Несомненный интерес вызывает эпистолярий М. Лужанина. Он содержит сотни писем разных лет, как самого писателя, так и многочисленных его корреспондентов. Особое место, и это не удивительно, отведено личной переписке М. Лужанина и Е. Пфляумбаум — двух поэтов, двух близких по духу людей, чьи любящие сердца звучали в унисон на протяжении почти всей их долгой совместной жизни.

Марина Лис

* 13.12.1930.

Никогда еще не были у меня такими непослушными карандаш и бумага.

Три раза я уже порвал все написанное. Не потому, что мудрствую, не хочу говорить искренне, просто потому, что как-то как надо не говорится вся славнота, которую хочется раскрыть тебе.

И вместо того, чтобы просто сказать, что я уже целых 26 часов не видел тебя, я пишу о том, что здесь чудный мостик, что сегодня я проехал 18 верст на конях, в санях — оврагами, пролесками, через речки, озера, и когда замерз, постучал в двери, и чуть не обомлел — ты!

Тишина... Такая тишина... Это взамен бури, в которую я хочу.

Ты говоришь, что у меня много женственного? Может, и правда. Может, потому, что лучшими моими друзьями были женщины. (...)

Но как жалко, что не видела ты сегодняшнего утра! Не ощущала холодного ветра в лицо! И не спеша бредут лошади, а я сижу тихонечко... Думаю все, думаю... вижу (...) твое лицо... библиотечную твою руку.

И недосказанного много, много... И каждый день увеличивается оно.

А может, а если бы.

И что это все такое? Что ты для меня? Надо выяснить. Солнце? Сумрак? Радость? Печаль?

Я тебе еще напишу. Сегодня. Завтра. Каждый день.

Не удивляйся только. Все будет ясным. А так, как теперь, еще никогда у меня не было.

(Подпись)

* 1931. (Без точной даты. — ***Т. К.***)

(...) За такие грозы, что берут человека всего — без остатка. За грозы, из которых человек выходит истомленным, но победителем.

И все же я мало понимаю. Твой внутренний мир остается, говоря по-старому, каким-то заколдованным кругом. И от этого незнания мне иногда кажется, что где-то глубоко мы с тобою враги. И кажется еще, что эта враждебность лежит в основе всего и манит неотступно, сильно. Несвязностью этой и объясняется та жизнь, которую веду я в Минске.

Это не выход. Ты зови меня на помощь, когда я есть. И чаще зови. Ты хочешь тишины и не знаешь, чего хочешь. (...) ...Метель — твои слова. Тебе надо шторм. Может, на один день, но крепкий, холодный, соленый. А больше всего тебе надо — дом, знаешь, такой звонкий, сосновый, на стенах которого еще проступают капельки смолы.

Надо тебе утренние туманы над озером да роса — босыми ногами по ней. Лес. Я спасался так. Я знаю такой дом, и озеро, и лес. За двадцать верст от железной дороги, за три версты от деревни. Я загоню тебя в этот дом, чтобы закончились тупики. Они также жизнь — тупики, — но не надо их.

Стыдно просто. Когда так много жизни и работы в ней.

Ты много пишешь? Я хотел бы посмотреть. Хорошо?

Только во сне увидеть радость? А приобрести ее, живую, мохнатую? Все это в твоих руках. Мое плечо всегда радо, когда рядом — твое.

Теперь — давай истомленную свою лапу, поцелую.

Мы скоро выезжаем.

Привет от Анатолия.

Наш альянс — неплохая вещь. Приедем с реальными результатами — работаем.

Пока я конструировал конверт, он предложил мне поставить на место герб.

— Какой?

— Сердце, пронзенное стрелой.



Максим Лужанин

* 15.05.1932.

Год, кажется, не видел, не писал тебе. Два часа, а я только пришел из твоих мест, в (...).

Приехали в двенадцатом. А вчера от усталости сразу упал на кровать. 300 километров, хоть и на хорошей машине, тяжеловато проехать. Позавчера Досовичи, вчера Пропойск, сегодня Быхов.

И не спится, и снится глупое, и зайцы бегут на дорогу на огонь, прыгают — глупые — перед колесами. А машина берет свои семьдесят километров. Везет меня то ближе, то дальше от тебя. А когда успокаиваются мои попутчики, я ощущаю тебя со мною, там, где обосновалась ты перед выездом. Маленькая такая.

Начальство мое славное. Только Товарищ. Пошлый маленький человечек. Циничная скотинка. Меленькая. Глядя на него, не хочется быть писателем.

Когда летит в лицо солнце и воздух, разрывается вокруг зеленое полотно — отступает с обеих сторон лес вдоль шоссе, — появляется странное ощущение жизни, ощущение Скорости.

Странно и хорошо.

И жалко, что не ощущаешь этого ты.

Писать есть много о чем. Я не видел давно деревни. И теперь самый интересный и ответственный момент. Поле должно быть засеяно. Колхоз должен существовать. Кое-где слышны выстрелы. Горят костры у дорог. У большевиков новая война, новый фронт. Большевики должны выиграть. И вот теперь крепче я приобщаюсь, ощущаю себя неотрывной частицей этой крепкой армии. Я говорил тебе неоднажды, что счастлив тем, что живу в это время. Такой остроты никто не видел до сих пор и не увидят потомки, для которых идет эта война, для которых мы строим мир.

Рано засыпает город. Все спит. И ты спишь, боишься, тревожишься. А я сегодня видел море. Километров двести воды на лугах под Быховом. Широк Днепр. Красив Днепр. И вода даже (...) чуть. А при дороге белая, белая цветет черемуха. Стоит, думает. Смотрится в воду.

И думаю я. Мысли к тебе, о тебе. И где-то связываются мысли наши. И чем-то другим наполняется жизнь.

Завтра увидимся. А потом снова километры. Опять небо, опять солнце. Такое солнце будет с нами. Крепнуть. Возрастать.

Разбросано мое письмо. Пожалуй, потому, что мыслей много. Приеду, все отдам тебе.

Что тебе солнце, крепость
Обветренных рук.

(Подпись)

* 16.05.1932.

Маленькая, хрупкая моя Девчушка! Женик!

Послал тебе весточку вчера, а разве сегодня худший день, разве сегодня не хочется поговорить, прислонить, позвать маленькую свою близко-близко. (...)

Хочется что-то сказать, раскрыть себя. (...)

На Витебском бульварчике горят клены, внизу с величавым достоинством идет Двина, а я думаю, где буду завтра? И, не раздумывая, отвечаю: с тобою. Да. С тобою. Как вчера и сегодня. Как каждый день. (...)

Я хочу тебе спокойной ночи и яркого — солнце в глаза — утра.

(Подпись)

* 24.09.1932. Шумилино.

Оно не скоро закончилось сегодня, это непобедимое желание говорить с тобой...

...Я между землей и небом. На третьей полке вагона горит свечка, на нижней спят мои товарищи, а на второй сижу я... Мне только что постлали постель, хорошую, чистую.

Ночь смывает с мыслей и с самого досадный налет будничного. И я иду к тебе просто, как ребенок, чистый, как тогда, когда первый раз побежал по твоим следам, когда начиналась зима, когда я забрел в библиотеку.

Здесь надо слово. Слово, которое обозначает все идущее через века, с давних времен, это слово я не могу сказать. Я знаю, что (...) у меня оно новое, большое, как все, что живет к тебе и что ночь помогает сказать это.



Евгения Пфляумбаум

Оно родилось в твоем маленьком имени, когда-то жаждущего солнца цветка, еще там, где льется много солнца. (...)

Мы пойдем рука об руку по осенней солнечной земле, гордые собой, ясные... Той ясностью ясные, как тогда, когда твои руки обвили меня в эту же осень, а губы просто сказали мое имя.

Неожиданно это было в тот пьяный вечер, неожиданно, ведь мечталось о такой крайней близости каждый день, каждый час.

Я стремился узнать тебя. Если бы я знал тебя, я знал бы, почему это случилось.

Помню вечер до мельчайших подробностей.

Это дорогой, украденный от людей момент, совсем детский, как у учеников украденный момент. Украденный у людей, чтобы не украли у меня.

У меня нельзя ничего украсть.

И отчего у людей есть нужда этой кражи? Интереснее жить — скажешь ты? Интересно всем, кроме обворованных. Украли, значит, достойны они этого.

Не жалею, как и не верю в то, что человек может не заметить пропажи.

Прости мне, что завтра я пошлю тебе это, не прочитав. Завтра я буду знать, когда буду с тобою. Правда, я с тобою и не разлучался. Правда?

(Подпись)

* 25.09.1932.

Это время называется ночь. Часы опять показывают половину одиннадцатого. А могу я здесь уснуть, не побыв с маленькою моей хотя бы одну-единственную минутку? И, вопреки ночи и расстоянию, я беру эту минуту. Днем в людской суете, как всегда, не могу я успокоиться, все жду, когда окажусь наедине. И это удается только в половине одиннадцатого.

Где ты, что ты, моя родненькая? Простираешь руки ко мне.

— Здесь, — говоришь тихонечко.

Это неправда, что меня чуралось слово. Я знаю, я ощущаю его звон и ощущаю силу (...).

Открою тебе (...) и принесу на ладони. Отдам тебе и всех людей, и все страны, что живут во мне. Крепких и хрупких, пылких и холодных, всех их услышишь ты. Может, тогда оправдается жизнь. Когда человек ухватит столько — он будет жить.

Творить жизнь и давать жизнь — это предназначение человека. И вместе, и порознь это дает полноту.

(...) А какая досадная вещь вранье! Главное, это честность мысли, слова. Когда мысль может рассказаться вся в словах (...).

Только, наверное, не то я пишу тебе, маленькая. Это придет с новым человеком. Теперь нам надо много мыть и надевать республику, веками загрязненную страну. Я буду счастлив, если потомки вспомнят, что один метр республики очистил я. Самого себя очистил, сделал ясным путь, вывел на него себя. Если осилю сделать большее — мое, а не осилю — буду счастлив тем, что не имею пятен.

Не хочу сегодня ложиться...

(Подпись)

Телеграмма из Витебска

Задержали девятнадцатого.

С тобою... (рукой Лужанина дописано: через три дня арест. — ***Т. К.***)

* 15.10.1933.

Хочется думать, что ты получила все мои открытки, а послал я не меньше десятка. За четырнадцать дней мы доехали до Новосибирска. Когда-нибудь все расскажется дорожное и о первых днях пребывания здесь. Пока что я здесь жду, что куда-нибудь пошлют дальше, ведь это пункт пересыльный. Доехал я совсем здоровым и бодрым, здесь тоже ощущаю себя неплохо.

В последней открытке просил тебя прислать заказным союзный билет и справку, что я не лишен права голоса. Но это пришлешь тогда, когда я сообщу свой постоянный адрес. Чтобы во время переездов они не потерялись. Думаю, они нужны будут для того, чтобы скорей добыть свой срок.

Здесь живется ничего. Город большой и интересный, строится, растет. Живем мы километра два за городом. Говорят, началась паспортизация. Жить здесь не тяжело и не дорого (...). Если бы знать, что здесь задержусь на все время, можно было бы тебе изменить местожительство, но чувствую — я знаю (...). А дорога большая, трудности, и на месте обустроиться легко ли будет тебе одной, маленькой моей. Тревожит твое здоровье, условия жизни, паспорт. Если ты получила паспорт, поработай немного в Минске, а если тяжело, неприятно там, езжай в Москву или куда посчитаешь возможным, удобным для себя. Если ты не имеешь этого документа, выясни места, где ты сможешь жить, и выбери, где теплее и удобнее. Все равно все надо начинать сначала, с новыми людьми, с новой работой, с нового места, и тебе, и мне. Тяжело одно, что переезды, обустройства эти тебя, родную, сильно изведут, отберут много здоровья. Его тебе и так недостает. Если бы это можно было мне отдать тебе силы, упорство и полноту свою в неразделимо светлом будущем, радостно-бесконечном нашем.

Прости мне письмо это. Глупое оно, без нужного слова тебе, но через рассуждения про нашу жизненную прозу услышишь ты тревогу мою о тебе — жизни — ты все, чем живу, о чем мои мысли и каждое движение.

Разве эта разлука, это расстояние могут что-то значить. Они бессильны, им не добраться до нас, до тебя, яркого южного цветка, который (...), светит в морозной дали, ведет, держит меня.

Образ твой, последние слова — все в глазах — передо мною. И увез поезд меня от тонкой наклоненной фигуры под огнями минского вокзала на столько тысяч километров! И она со мною!

И я помню ее слова и веру, что не потерял я в нее. Она же обманывать не может. Она скажет, когда дали и расстояния отзовут и человека. Так?

А если... нет, я не знаю «если».

Родная, родной!

Бери же побольше солнца, берегись. Ведь и издалека моя рука возле тебя, всегда, когда нужна тебе. Лишь бы только нужна была!

Здоровья ж тебе!

Приветствую всех. Алесь.

P. S. (...)

Еще одна просьба: подбери все документы мои до мелочей, армейский билет (...), удостоверения и припрячь. Если сумеешь, возьми из техникума аттестат и из Университета удостоверение об окончании двух курсов. Техникум я окончил в 1928 г., Университет был с 28 по 30 гг. (начало).

Пусть это будет у тебя.

Открытку шли мне: г. Новосибирск, стройгородок Сиблага... Адрес этот не постоянный, но я хочу иметь весточки.

* 21—22.10.1933.

(Письмо читается частично, вырвано посредине. — ***Т. К.***)

Ой на горцы сьняжок трусе,
А пад горкай ручэй цячэ.
Там казача каня пасе...

Наверное, знаешь эту славную нашу песню...

Бормотал ее всю дорогу, и сегодня днем она припомнилась. Как раз стоял под горкою перед крутым оврагом, и беленький кружился снежок. Два дня пробует обосноваться звонкий ядреный морозец. Для наших мест это много — -10 градусов, а здесь даже не мерзнут уши. (...) Утром пойду в город и буду иметь возможность отослать тебе лист (...).

(...) Может, завтра и закреплюсь. Если это будет так — значит, мы уже сумеем быть вместе, а пока что ночь впереди — поговорим, родная!

Спит железная дорога... Народ спит, успокоившись после «трудов дневных»... Часов около двенадцати. Я уже немного поспал с вечера, а теперь пользуюсь тишиной, светом и покоем. Живется здесь неплохо, работается не тяжело, не голодаю и (...), пока установится, туговато с жильем, но я полагаю, что это все условия пересыльные, так что, значит, будут перемены в лучшую сторону. Зимы, говорят, с большими морозами, но переносятся легко, в чем я уже имел возможность убедиться.

Вообще, все выглядит издалека куда страшнее, чем это бывает на самом деле. Так вот и с Сибирью, и с далью (...). Наверно, мне помогает бодрость и вера в лучшее, но, во всяком случае, я не преувеличиваю. С запасом жизненной энергии люди не гибнут, если не опускаются, а я на диво здоров и к слету вниз себя никогда не допущу, независимо от условий. Всегда же со мною твой образ, бесконечно родной, и бодрит, и поднимает, и держит. Я хочу жить, и значит, буду жить, всегда оберегая тебя и от тревоги, и от злых жизненных ветров. Не могу же я винить республику в том, что она не поверила моей работе и (...). Много трудностей было в эти месяцы, очень переживаю, что посыпались они на твои плечи, но это жизнь, а в жизни бывает все — тяжелую жизненную школу должны пройти все. Так бы к старости остался мальчуганом, сидя в Минске, а теперь — какая полнота жизненной практики! Я не умею задерживаться на частном, может, и теперь смотрю слишком широко, может это письмо застать тебя в очень тяжелом положении, но я верю, что мы и сейчас сойдемся мыслями, как всегда в основном, в самом большом, из чего складывается наша жизнь... Переживем трудное. Только себя, себя береги, родная, а все другое уже мое дело. Стать во весь рост, говорить в полный голос, работать для республики во всю силу и руки. И тебе будет спокойно и радостно...

Ночь. Перекликаются поезда. Скоро они перекликнутся перед семафорами нашего будущего. Давай руки, родная! Хватит силы на всю дорогу нашу. Слышишь? Веришь?

Хорошо рассмотрел город. Он большой. Много новостроек. Есть кварталы исключительной архитектуры. Интересное построение театра — типа комбинированных зрелищ — цирк, театр, кино (...).

Опять вопрос о твоем паспорте. Если бы знал, что он есть у тебя, — был бы спокоен. И работа? Неужели до этого времени ты не работаешь? Если бы здесь не проводилась паспортизация, можно было ехать сюда — рабочих рук требуется здесь очень много и в заведениях: в школах, видел несколько редакций. Тяжело только с

квартирами. С паспортом можно ехать, а без него? Что если и здесь нельзя будет его получить? Надо точно выяснить местности — где тебе можно жить. Во всяком случае, и с документами, и без них до весны мне не хотелось бы трогать тебя с места. Надо чтобы ты отдохнула немного, ведь дорога сюда и большая, и тяжелая, и одной тебе, хрупкой (...). Может, ты переехала бы в Москву, или, если сможешь добиться денег за перевод, а я не допускаю мысли, что твоя работа пройдет впустую, — больше всего хотел бы, чтобы провела ты месяц на юге. Тебе же так нужны и вода, и солнце. Неужели это пока не доступно? Это будет первое, что я сделаю, — юг тебе. (...)

Хорошей ночи тебе, моя маленькая! Усни, девочка! Дай руку, глаза свои!

(Подпись)

* 26.10.1933.

Пишу не медля, не отрываясь от твоего листа, чтобы застать тебя еще в Новосибирске, чтобы ты услышал меня.

Так ждала это письмо твое, ежедневно, еженощно, и сейчас вот, получив, еще руки дрожат, как у больной, а я же здоровая и сильная теперь.

Две открытки твои получила. Все это время беспокоило одно: едешь ты в холод без меня, без теплой куртки, без денег? Одно радует, что крепок ты, молод и твоя хорошая уверенность протягивает мне руки.

Паспорт у меня уже есть. Назавтра, после твоего отъезда, получила. Через вежливый отказ. Надо выезжать. Если бы ты остался в Новосибирске — я бы немедленно выехала туда. С квартирою бы утряслось. Там есть знакомые. Если тебя перешлют дальше — это не страшно, — я все равно поеду. Поэтому ты и сообщай мне свой постоянный адрес и возможности.

Так хочется знать, что ты ближе хоть на сотню километров. Разлуки для нас нет. Ты же это понимаешь. Мы сделались такими близкими, как никогда, нигде, даже в мечтах (...).

Пишу много, а слово мельчает, и все мельчает около. И это и радостно, и хочется, чтобы и оно выросло около нас. Так же, Аль, мой родненький? А мы его выходим, взрастим вместе.

От Михаила Ивановича Калинина его секретариат прислал мне письмо. Спрашивают про твой адрес и про то, кем ты осужден. На второй вопрос я ответила того же дня. На первое отвечаю сейчас.

Отчего ты не прислал заявления? Оно нужно также.

Надо, чтобы на съезд писателей в мае 1934 года ты имел мандат. Так? Эту первую цель мы себе и поставили. И мандат заслужен всей совестью твоей и беспорочными мыслями.

Радость ращу для тебя всегда. В глазах, в руках. В песню наилучшую. Все это для тебя — беспорочное и ясное (...). Этим и крепну.

Документы твои при мне. Остальные добуду. Будь спокоен и смотри себя как никогда раньше. Было бы очень хорошо, если бы тебя оставили в Новосибирске. Поздравляю тебя с близким нашим праздником Октября. Желаю все той же силы, взращенной этим днем.

Сегодня утро первого снега. Я знала, что ты поприветствуешь его издалека. И вот твой лист. Как радостно жить, имея тебя и твою песню в нашей стране. Скоро день твоего и моего рождения. С них, этих дней, и начнем нашу жизнь сначала.

Жалко Ю. З., привет ему. Нина еще не приехала из дома. Жду ее. Может, мы с ней вместе к вам — учиться и жить и учиться жить. С. в Алма-Ате. Собирает барбарис и также не имеет еще постоянного адреса.

Борис шлет тебе привет и искренне желает наилучшей и быстрой встречи.

Все мои близкие также передают тебе приветы.

Боюсь, что уже много написала. Дошло бы только. На всякий случай с этим же листом посылаю открытку.

Будь здоровый и радостный, как в лете нашем солнце!

Женя.

09.10.1933.

Получила три твоих письма. Такие яркие, от сибирского ли снега, от бодрости твоей или от моего ожидания.

Писала тебе в четырех письмах о получении паспорта, теперь могу порадовать и тем, что, наконец, дали мне работу, в Беллите. Видимо, нашли возможным полную мою реабилитацию. Так хорошо вздохнулось впервые за время от твоего отъезда, когда я начала искать работу.

Теперь живу возможностью совсем близкой встречи. Если бы тебя оставили в Новосибирске до окончания срока, — я сейчас же выехала бы к тебе. Но каким образом узнать об этом? Напиши мне обо всем, имея в виду только одно то, что нам нужно быть вместе — так будет ярче и жизнь, и работа, и радость. Хочется в Сибирь, в холодный чистый снег, в свежесть новой нашей жизни. В прошлом ничего не жаль.

Радуюсь, что здоров ты морально (физическое состояние все же тревожит меня), что много в тебе бодрости и веры.

В одном из писем ты пишешь, что в любом случае мне лучше остаться до весны на месте. Тебя тревожит большая дорога. Ты забудь, родной, думать о том, что я слабенькая беспомощная женщина. Я теперь и сильная, и здоровая, и еще очень много «и».

Хлопочу о твоих документах. Некоторые из них трудновато достаются. Требуют доверенности на их получение. С переводом Горького тоже дело пошло в ход. Вмешалось РКИ. Перевод будет, очевидно, просматривать специальная комиссия.

Ты вскользь пишешь о возможности частной квартиры в Новосибирске. Это было бы совсем хорошо. Мы смогли бы тогда и писать. Пишешь ли ты? Как хочется мне новых твоих ярких строчек. Мама все видит тебя во сне, а я очень редко. Почему? Мне так нужно видеть тебя.

Почему не взял ты ни куртки, ни теплых бурок? Вот теперь мерзнешь в ботиночках, и я ничем не могу помочь. Напиши, можно ли выслать тебе посылку? Только напиши так, как в действительности, а то ты напишешь, что нельзя, чтобы не причинять мне хлопот. Знаю я твой родной упрямый взгляд.

Я писала тебе из Москвы, куда вызывал меня брат с женой спасать их семейный очаг. Тяжелые дни я провела там. Думала остаться работать, но испугалась такой обстановки. На московский адрес тоже ждала письма от тебя. Теперь уже не нужно писать туда. Неужели не получил ты ни одного моего письма? А я так спешила успокоить тебя в отношении паспорта.

Уже и в Минске снег. Неустойчивый, нечистый. По Республиканской ходит трамвай. Остановка у крыльца Соколовских. Закончен Дом правительства, и в дни Октября откроют памятник Ленину перед ним. Приедешь ли ты сюда, изгнанник, не потерявший ни веры, ни бодрости. Мы приедем сюда вместе. Правда? Я так уверена, что скоро буду у тебя. Радостно думать об этом на воздухе, на снежной улице и представлять тебя, родного как никогда раньше, в больших ярких снегах Сибири. Что ты делаешь теперь? Что думаешь, пишешь? Как всегда жду твоих слов, твоего почерка на конверте. Скорее зови меня к себе.

Будь здоров и радостен!

Приветствуют тебя мама и Вл. Раф.[1]

Женя.

* 6.11.1933. Минск.

Новосибирск, Стройгородок Сиблага О.Г.П.У. Александру Амвросьевичу Лужанину.

Поздравляю тебя с солнечным днем нашей страны. Жду твоего письма. Получил ли ты моих два? Успокоился ли ты, что я получила паспорт. Я писала

---

[1] Отчим Евгении.

тебе, что надо мне выезжать, ведь иначе без работы буду. Думаю, в Москву. Улаживаю все дела с документами: часть получила. Хуже дела с документом «право голоса». На руки не выдают. Отвечают только на запросы с места работы. Было бы хорошо, если бы ты остался в Новосибирске. Сразу бы к тебе. Куда там ждать весны — как пишешь ты. Сильная я, и уже никогда никакая дорога не утомит меня. А эта же — к тебе. Радости еще тебе, хоть малой!

Женя.

Привет тебе от всех.

12.11.1933.

Ровнее и тверже ходить мне теперь, думая о тебе. Хоть это мало, но знаю, что ты бодра, услышал тебя после бесконечно длинных дней и ночей. Девятого ответил на твое письмо от 26-го, а вчера получил открытку. Вечером поздно пришла она ко мне, вызвездила мутноватую ночь, позвала сегодня радостное солнце. Сегодня у меня полурабочий день — скоро пойду ходить по улицам, читать октябрьские номера газет, смотреть новые книги. Благо, опять стало тепло, и оттуда, где ты, — мягкий, совсем не по-зимнему, волнующий ветер. Идешь, улыбаясь солнцу моему, жмурясь от белизны. Ох, как солнечно! Чувствую рядом мысли, глаза твои. И уже расцветают синие горизонты близкого, необъятного, бескрайнего будущего.

Хорошо, что мы ни на минуту не теряем его ни из мыслей, ни из глаз — значит, с нами, за нами наше будущее, будущее молодой нашей страны. Шестнадцать ей, армия одногодков — строителей, певцов — растет с ней. Бескрайняя радость моя, безмерно желание с наибольшей пользой работать для нее, много работать, расти, крепнуть. Этими мыслями, чувствами встретил я Октябрь, вступление страны в семнадцатый год — год жизни, борьбы. И живой картиной небольшого отрезка этой великой жизни является Новосибирск, молодой, как страна, город, город, выросший в результате освоения большевиками севера.

Хочется мне, чтоб ты видела его, хочется видеть вместе с тобою наступающие дали. И бодрость твоей открытки все ж не успокаивает меня, не снимает страха перед дорогой, перед многочисленными трудностями пути и первого времени на месте. Я уже много написал тебе об этом в прошлом письме. Долго и тяжело дожидаться весны без тебя, но тяжела зима и зимняя дорога для тебя. Да, пока я твердо не уверен, сколько придется пробыть на этой работе. Пока прошла декада. Буду выяснять положение, чтобы хоть увидеть тебя здесь, а то перелетишь в другое место и будешь опять томительно ждать писем.

Без работы оставаться нельзя. Намерение переехать в Москву очень хорошее. Я писал тебе об этом. А можно ли там будет подыскать работу и жилье? Это нужно узнать, чтоб не сниматься с якоря впустую.

Если бы не зима, здесь была бы и работа, и легче с жильем, а я, если не буду, как теперь, в самом городе, то во всяком случае, не на очень отдаленной периферии. В отношении выбора города и места работы думай сама, я ж не могу учесть всех деталей твоего положения, знаю только, что денег у тебя нет, и это мучит меня, мучит.

Как ты живешь, как изворачиваешься? Неужели перевод так и пропал? Где коротко — там и рвется. (...)

Надо, чтобы ты все писала о себе. Мне нужно это знать. Береги себя, родная. Не беспокойся совсем обо мне. Мне далеко не плохо, об этом ты можешь судить из предыдущих писем. Хорошо если бы со следующим письмом ты мне прислала несколько номеров «Звязды», «ЛіМ». Что там нового из книг, что Минск?

Пиши мне — Новосибирск, Красный проспект, 34, УРО Сиблага.

Здоровья тебе, радости.

Привет всем.

(Подпись)

* 8.11.33. Москва.

Пишу радостно, окунаясь в наше чувство, чтобы смыть все наросты досадного, тяжелого от окружающих и окружающего.

Как видишь, я в Москве, чтобы искать, чтобы найти работу, чтобы обосноваться здесь, пока не позовешь ты меня на свой постоянный адрес. Но вынуждена уехать обратно. Очень досадно и тяжело здесь. Брат второй раз ушел от жены. Ушел грубо и непорядочно. Она беснуется. Кидается (...). Жить у нее не могу. У брата нет квартиры — жить здесь.

Дня два я близка была к безумству. Держали твои руки, твои родные глаза, наша встреча. Теперь оставлю все, только бы к тебе, позови меня скорей, в любые обстоятельства. Стерплю все, только бы вместе. Ведь так давно, так долго без тебя я больше не могу. (...)

Там, возможно, поможет чем-нибудь с квартирой и работой знакомый Шуры, начснаб Миронов. Ему писали про тебя.

Я страшно болею за эту женщину, жену брата. У нее так обнажена боль. За мать тоже. Мне тяжело здесь. Я поеду к тебе. Но до сих пор не имею твоего постоянного адреса.

Пиши на Минск как можно скорей.

Как ты там? Так давно нет от тебя весточки! Заиндевел ты от стуж, родной мой, холодно тебе?

Еще и еще написала бы, да боюсь, что много, что не застанет тебя письмо на месте.

Солнца снежного тебе, силы.

Женя.

1933. (Без даты, без начала. — ***Т. К.***)

Ты не знаешь случайно, кто это обещал мне беречься, быть внимательной к себе? Какая это маленькая родная женушка! Не знаешь? Протяни руку, лапку маленькую свою, возьми со столика зеркало. Сколько рассказывают мне глаза, круги под ними. Все, что недоговаривают письма. Глаза. Горячий лоб. Прячу его на груди. Лапы давай мне. Уймись, боль, отойди. Дай покой ей. Не бережешься ты, нет! Это чересчур много — нести на плечах тревоги и матери, и брата, и женщины, о которой я не знаю ничего, кроме нескольких твоих случайных слов. И всех тебе жаль, кроме себя. А разве ты не чувствуешь, какое преступление перед своим же будущим доводить себя до состояния, в котором писано московское письмо. Испугало оно меня. Как кинопленка, рассказала обо всем так хорошо знакомыми неровными буквами, когда прикуривается папироска, когда тяжело родной тебе. Я знаю, как тяжело тебе было в Москве. Этим же вызваны строки о том, что начинаешь бояться за судьбу нашего чувства. Разве за него можно бояться? Разве может оно измениться? Ведь в другое время ты не написала бы этого. По глубине его и неизменности у себя сужу так. Неужели между нами есть разница?

Вчера днем твое письмо из Минска от 2.10., а вечером, перед сном уже, из Москвы — от 9.10. С ними ночь радости и тревоги. Радостно вздохнулось мне с работой твоей и с паспортом. Это даст возможность тебе немного успокоиться, об отдыхе молчу, хоть и знаю, как он нужен тебе. Мучительно думать, что столько времени ты тащила на иждивении характерную особь, забывая себя, в мучительных поисках работы. Хорошо бы добиться приема перевода, я тогда бы был немного успокоен тем, что ты можешь отдохнуть.

Как я хочу тебя видеть! Века как будто встали между нами. И зову тебя каждым движением, каждой мыслью. И в зове все яснее и мощнее забывается синева, брызжет из глаз сила и бодрость, ярче всплывают огни над городом.

Но я хочу видеть тебя не день и не час, ведь переезд покупается такой дорогой ценой, как твое здоровье!.. А переброски можно ждать каждый день. Тем более новым кадрам. Хоть бы комнатою встретить тебя. Но не нашел я ее ни на

улицах Гоголя, Пушкина, Горького, Тургенева, ни даже... на Есенина, Державина, Ермака. Надо иметь знакомства и прочее и прочее...

Вот почему тебе лучше ждать весны, а там начинать привыкать к кочевой жизни. Много мы будем ездить с тобой, раз уже с места сдвинулись, и по теплу, и по холоду, по всей необъятной нашей стране. Хорошо, что побывала в дни Октября в Москве. Обидно только, что так много было в эти дни тебе тяжелого, чужого.

Славные дни были, когда мы проезжали столицу. Большой радостью дышало громадное сердце Союза, подъемом, напряженной работой. И думалось, глядя из окошка, об этой прекрасной стране, хотелось скорее получить возможность вместе с нею петь, строить. Республика поверит мне, вернет в ряды своих сыновей. Без этого нет жизни, нет ее полноты.

Много замыслов у меня. Пока разрабатываю детали поэмы, думаю. Слов пока для нее нет. Какое-то особенно свежее слово нужно, а по утрам я работаю и писать не могу — утром время моих писаний обычно.

Дорогая, ты думаешь, что я мерзну в ботиночках. В них еще нет возможности мерзнуть по той простой причине, что я их выбросил и теперь хожу в не шибко приятных, но настолько больших, чтоб не зябнуть. Однако зима берет свои права — и против куртки, и бурок (какой добрый или злой гений вдохновил тебя на покупку их) я не протестую, особенно если приложишь к ним бритву, кисть и самый дешевый вид зимней шапки — армейский шлем (видел в «Динамо»). Попробуй выслать это спешною, ценной, на «до востребования», Центральная почта. Страхуй на цену приличную и адрес обратный пиши четко на случай возврата (если меня переведут) и во избежание пропажи. А пока вышли с письмом пару газет — «Звязда», «ЛіМ». Хочется взглянуть на них. Ну, это, конечно, если сможешь. Не иначе.

Один в большой комнате. И через сумрак окна, через хлопья снега — лицо твое, родное...

Нет разлуки у нас.

Доброй тебе ночи! Покоя.

(Подпись)

Привет всем.

13.11.1933.

Родной мой! Неужели не получил ты до сих пор ни одного моего письма? По-прежнему тревожишься о паспорте, о работе моей... А ведь я столько желала тебе в письмах спокойствия и радости нашей.

Есть у меня и паспорт, есть и работа. Вся эта задержка и с тем, и с другим явилась только следствием недоразумения. Все разрешилось в хорошую для нас с тобой сторону.

Теперь осталось одно — добиться того, чтобы быть вместе. На дорогу нужны деньги. После месяца работы в Беллите они будут у меня, по крайней мере, на билет. Остальное даст энергия и огромное, как бесконечные километры до снегов твоих, мое желание видеть тебя.

Буду видеть. Через месяц плюс дни дороги. Это так далеко и так близко. Ведь там, в Новосибирске, тоже нужна будет моя работа и моя, такая радостная от встречи с самым близким человеком, энергия.

В Минске затянувшаяся осень, грязь и мелкий дождь, а мне на улицах и светло, и тепло от мысли про твой новый снежный город.

Боюсь только — замерзаешь ты там без валенок, без теплой шапки. Выслала тебе 50 руб., чтобы ты приобрел хоть валенки, и боюсь, что ты, упрямый, родной мой, не послушаешь меня и не купишь.

А надо же беречься, сохранить себя для нашего радостного будущего.

Как хорошо, что свободен ты относительно, что работаешь, что дышишь, что живешь, что пишешь мне яркие бодрые письма. Как хорошо. Это все, и как много этого, и в то же время как этого всего мало, потому что мы еще не вместе. Но я день за днем отвоевываю это наше «вместе», буду много работать и буду скоро у тебя.

Успокой меня — купи валенки, боюсь, что отморозишь ноги. Можно ли прислать посылку?

Не может ли твое учреждение сделать запрос Минскому горсовету о том, имел ли ты право голоса? На руки теперь справок о нелишении права голоса не выдают. Отвечают только на запросы.

Будь здоров! Береги себя!

Приветствуют все. Женя.

16.11.1933.

Родной мой! Слышишь ли ты меня? Неужели еще ни одного моего письма не получил? Тяжело это и обидно. Знаю, что нужно тебе мое слово, моя радость, что скоро увижу тебя, потому что я ликвидирую тут все, не останавливаясь перед самым трудным, чтобы скорее уехать. Там у тебя, с тобой буду работать и радостно дышать крепким бодрым морозом. Разве я не сильна, потому что есть у меня твое слово, я слышу тебя и увижу.

Теперь я «очень временно» работаю в Беллите, работа, правда, нервная, но, пожалуй, мне теперь такая и нужна. Хочется услышать от тебя еще слово о моем приезде, но расстояние так далеко. Письма идут бесконечно долго, а мне нужно быть в Новосибирске.

Что с тобой? Тревожишься ты, боишься за мою слабость, нездоровье. Напрасно, Аль, — я совсем, совсем здорова, как никогда прежде.

Верь мне. Как всегда.

20.11—19.33.

Ворчливый старикашка положил мне на стол твое письмо. И хорошим-хорошим показался. Вот что ты делаешь через огромный свиток пространства! Семь дней мчится ко мне слово родных губ твоих. Семь дней тащится оно в сером конверте, чтобы расцвести у меня в руках невиданными цветами невиданных радуг, гореть не угасая. Пятое оно сегодня, слово твое, пять больших-больших радостей в одну эту декаду. Девятого — первое, а перед этим месяц томительного ожидания, тревоги и разнообразнейших предположений.

И все мы играем в прятки, родная! Письма, в которых я писал о получении твоих, расходятся с новыми, в дороге еще, а ты тревожишься, что я ничего не получил. Думаю, что у тебя уже должны быть к сегодняшнему дню и более поздние письма. Писал вчера тебе, рад писать сегодня в тишине, как будто и с тобою. И вчера еще писал, чтобы дождалась весны в Минске.

Ночью почувствовал, идя домой, что это невозможно. Нужно быть вместе нам, а к остальному пробьем дорогу. Только мне тяжело, что ничем не могу я помочь тебе в переезде. Ничем не могу ускорить встречу нашу. Ведь ты понимаешь, что иметь билет— это еще половина, в Сибирь надо собираться хорошо, нужно одеть тебе ноги и голову по-настоящему, без этого нечего думать о дороге. А ты еще посылаешь мне зачем-то деньги! Журить, журить тебя надо, родная! И потому, что — надо иметь эти деньги, чтобы посылать их, и потому что я уже акклиматизировался и не мерзну, и если отвечал утвердительно на вопрос о присылке куртки, то только исключительно потому, что ты не поверишь, что не холодно мне, и будешь тревожиться. Одно только хорошо: может, они помогут подыскать комнатушку родной моей. В зиму, в веселый снежный день сегодняшний, жду родную весну. Жду и знаю, что слышишь ожидание мое. Крепко и хмельно оно, как весенние соки, выгоняющие в рост деревья и травы.

Жду!

А снежок падает и падает, и вокруг так радостно — бело, что даже больно от белоснежной радости этой.

Хочу, чтобы был у тебя сейчас тоже вечер прозрачной синевы и мерцающего снега. Чтобы радостью встретила ты его.

Здоровья тебе. Пойду на почту, чтобы письмецо двинулось сегодня.

(Подпись)

P. S. Про это нужно договариваться теперь. Ты уведомляешь заблаговременно о дне выезда своего. В случае — я двигаюсь с места — телеграфирую. Справки о «голосе» больше не добивайся. Я узнал, что действительно делаются запросы, а билет мой прибереги на случай, если с запросом затянется.

Привет домашним.

(Подпись)

20.11.1933.

Так долго идут письма. Я знаю только то, о чем думал, чем дышал ты 6—7 дней назад. А теперь, а вчера, а ночью? А всегда и везде без меня?

Мало дней осталось мне в Минске. Считаю их, отрывая листки нашего календаря с «будущим буденновцем» на лошади. Помнишь? Приближаюсь к тебе.

Ты пишешь — если бы не зима, «мне можно было бы приехать». А если зима? Разве боюсь я холода, дней дороги, которые совсем не 7—8, а 4—5. Знаю точно. Мне только радость. Работа будет. Уголок будет.

С деньгами, конечно, неблагополучно. С переводом бесконечно тянут, то обещая, то отказываясь. На суд у меня есть энергия, но боюсь, потеряюсь я, наконец, в этой слишком затянувшейся мелочности. Оставаться тут, с другой стороны, и ради сомнительного успеха прожить до весны без тебя — ненужно и слишком трудно. Ведь, само собой, волей неумирающего в самые мертвые минуты инстинкта, я выбираю то, что легче мне, — атмосферу большего воздуха и света.

Легче перенести все связанное с этой поездкой, чем остаться здесь без тебя и так надолго.

Ты уже согласен. Знаю это, и радостнее мне.

Сегодня удивительно солнечно. Из моего интервью с рабочим изобретателем ничего не получилось, и я, пользуясь свободной минутой, а теперь их у меня мало, прибежала в нашу комнату поговорить с тобой.

Получила твое письмо от 12-го. Боюсь, что писал ты в Москву на данный мной адрес, и хоть письмо перешлют мне, но все же задержится оно, да и ты будешь неправильно ориентирован. А такие яркие (...).

Даже мама и Рафаилович с сияющими глазами встречают меня. Взглянув на них, уже знаю: радость, письма от тебя.

Когда ты получишь это письмо, я уже буду очень близка к дороге навстречу тебе.

Если можно тебе телеграфировать — телеграмма будет дана за несколько дней.

Только береги себя радостным, бодрым, здоровым до моего приезда. Береги, потому что очень тяжело будет, если встречу тебя с затуманенными глазами. Сбережешь? Знаю, уверена как в себе, и неизмеримо больше.

С документами твоими все возможное улажено. Возьму с собой. Вот не знаю только, что из рукописей твоих нужно захватить. Вышли спешное в день получения с детальным распорядком моих обязанностей. Жду вашего распоряжения и так далее, и так далее, мой хозяин, загостившийся в снегах. Я всегда хотела попасть в Сибирь. Страшно то, что все мои желания исполняются, но какими опустошающими путями... Боюсь желать. Учусь брать, уверенная, что возьму. Возьмем с тобою будущее, и хоть узкие ладони у меня, но и я помогу тебе удержать его радостным и ярким.

О теплом для меня не беспокойся. У меня есть бурки, куртка и шапка. Везу тебе куртку твою.

А пока поберегись. Особенно ноги и уши. Купил ли валенки? Получил ли деньги?

Родной мой, Аль! Как радостно думать о том, что вместе... Быстрей бы перелистать оставшиеся дни.

В твоем городе много света. Ты читаешь Теккерея, работаешь, думаешь, дышишь. А мой город говорит мне — уезжай, тогда я полюблю тебя больше и позову обратно.

Сбереги себя!

Женя.

21.11.1933.

(...) Предупредил тебя телеграммой, что сегодня больно и неожиданно свалилась весть о переезде. Выезжать нужно несколько севернее, в Мариинск, за пару дней смотав пожитки. А я уже жил мыслью увидеть тебя здесь, видел уже, вместе были. Такое уже невезение в жизни, как говоришь ты. На новом месте, вероятно, и вести от тебя задержатся, как было с первыми письмами.

Тяжело, но не гаснут голоса бодрости, не опускаю я головы. Силою всей бросаюсь на помощь тебе — нашу встречу мы отвоюем все ж таки.

Дай руку мне, родная моя!

Будь здорова, береги себя.

P. S. В двух предыдущих письмах писал тебе о возможности пересылки мне куртки и прочего. Понятно, что теперь слать не нужно, тем более что я тревожусь, получу ли деньги, чтобы не заблудились они, как в Могилеве. Сохрани хорошо квитанцию. Жаль писем твоих, видно, они в дороге и не застанут меня. Я совсем здоров. Не тревожься ни о чем, о себе, о себе, родная, думай.

(Подпись)

23.11.1933.

Несколько дней было так больно, что рука не поднималась, не могла взять перо. Так и не пришлось нам увидеться в этом городе. А жил этой мыслью. Этим я креп. А с твоей стороны тянули теплые ветра и морозы спадали... Хорошая пороша сыпалась. Крепко тянуло на стихи, и по пути с работы бормотал отрывки мелодий ветру, снежинкам. Говорил им, приглаживал непослушные слова в стройные созвучия. Как всегда в ходьбе — борьба с материалом не чувствуется и слова льются сами, на первый взгляд тяжелые, громоздкие, непослушные. Много думалось, легко дышалось — ты была почти совсем со мною.

Какие это слова: ты со мною! Сколько таится в них нового, неизвестного, неразгаданного!

Дни мои, дни! Молодые, быстроногие! А ведь скоро год, как нет тебя. Это бесконечно много и как один день. Глыбами отламываю я пространство и время, разделяющие нас. Потому не ощущаю ни того, ни другого. Никогда не рыл и не видел, как роют тоннель, а вот такое же чувство. Знаешь, после вычислений работа производится с двух сторон, и на определенном месте две партии рабочих, под землею, встречаются. Тогда в прямом, как луч, отверстии видно небо, тогда через тоннель проходит ветер, а за ним поезда. С таким чувством ожидаю встречи нашей. И чувствую, как тает гора пространства и времени над упорством воли, выраженной самым большим человеческим оружием — чувством.

А мороз опять пал, опять ветер от тебя, родная! Ночь впереди — поговорим, поговорим с тобою, маленькая! Пишу пока из Новосибирска, где каждый день ожидаю отправки в Мариинск — это километров 300 севернее и гораздо глуше. Городок этот, говорят, неприглядный, но не место красит человека — я, видимо, еще высокого мнения о себе. Здесь задержусь не больше чем до десятого декабря, очевидно, как раз уезжать придется, когда это письмо увидит тебя. Сегодня у меня ночное дежурство, я сижу в чудесной комнате такой чудесной громадины дома — что не приукрашивая надо сказать: никогда еще не был в таких домах. Говорю с тобой я никак не один. По полу прыгает воробышек и что-то оживленно рассказывает мне на своем воробьином наречии — не хочет спать пичуга. Недавно мы с ним пили злой сибирский чай, от которого первое

время сводило рот, а теперь как будто и нет лучше напитка. Его (воробышка) принесли совсем мерзлого, как ты когда-то. Помнишь? И то время маленьких командировок, помнишь? А мне напомнило твое письмо, как мы смеялись перед какой-то из последних командировок, что уеду я на год. На дольше пришлось уехать.

Как же рассказать мне тебе это время, родная? Много будем говорить и с глазу на глаз, и на улицах, и в театрах, и в книгах, и в стихах — пока не загладится эта разлука. Нехорошее это слово — и какою всплыла строка в памяти, вечерняя строчка моя —

«в ожиданье свое —
ни процента разлуки,
ни полграмма
тоски».

Работой я стараюсь занять все время. Каждую свободную минуту овладеваю французским произношением, благо сосед мой — кровный француз. Отсюда попутно вытекает просьба к тебе — может, подвернется под руки томик Беранже в оригинале, его — в первую очередь, и вообще, не пропусти возможности подхватить под руки ни Мюссе, ни Бодлера, ни Лиля. Кстати, у Зарецкого пара выпусков (мои) нового издания Беранже, надо бы их взять, а то перейдут в давность, а мне могут понадобиться. Твердо ставлю задачу научиться говорить, теперь набираю словесный багаж и сижу над грамматикой.

Встречаются лица, типы. И опять жаль города, где ты бы имела возможность хорошо работать и свободно дышать в этой громадине с литературными улицами. Я писал тебе, что как будто чудак какой-то смотрел в писательские святцы и называл улицы по очереди. Между прочим, со времени приезда моего идут все фильмы Белгоскино, и новые — «Первый взвод» и «Сосны шумят», и даже «Кастусь Калиновский» рекламируется как «героический фильм».

Тут очень приличное издательство — супер, по оформлению книги, и хороший магазин комиссионной книги. Классика тут в бешеной цене.

И разве можно писать столько маленькой, родной моей, ненужного?

Ей нужны слова тихие, как пожатие руки в сумеречной комнате, когда нужен покой и отдых после тревоги. Всей своей силой и бодростью укутываю тебя.

Покойна будь, берегись. Наше все с нами.

Из Мариинска сейчас же напишу. Только ты никак не беспокойся, что я замерзну: у меня есть уже шапка и большие-пребольшие ботинки. Мне совсем тепло. Хуже с деньгами. Они получены и переведены на счет учреждения, а оттуда я могу получать их только небольшими суммами и очень редко. Обидно, что они нужнее тебе и будут здесь лежать неиспользованные.

Будь же здорова. Приветствуй мать, пожми руку Рафаиловичу, а город «прежний мой», как ты пишешь, и теперь люблю я крепко, принимаю его как свой, люблю без налета тоски и ностальгии. Привет ему и комнате на одной из его улиц, комнате, в которой родная.

Пусть берегут ее все.

(Подпись)

27.11.1933.

Утром письмо твое. Ослепительно яркое. Тепло и радостно стало вокруг. И с большей силой врубаюсь я в гору пространства, и знаю, и вижу: вместе будем. Тем более, что в Мариинске, очевидно, надолго остаться придется.

Как я рад, что бодра ты! Не трать солнечности своей, богатой такой, родной.

Жму руки твои через тоннель пространства от Минска до Сибири.

Спасибо за документы. Да не беспокойся, родная, ни о чем. Ничего мне не надо. Только бы ты, чтобы вместе скорее, и чтобы слова солнечные твои были. Рукописи можешь сжечь, а если мать согласится, пускай поваляются на чердаке.

Об отъезде писал тебе и должна прийти телеграмма. Вероятно, и она, и письмо уже у тебя.

Будьте здоровы.

(Подпись)

12.1933. Мариинск.

Дни... И в днях звуки чудесных слов, что-то нестерпимо яркое, превосходящее необузданную фантазию детства... Теперь пока нет их — нет твоих писем. А они будут идти еще дольше, еще пару лишних дней. Вот и Мариинск...

А несколько дней тому назад, у яркого пламени (...), под ее звонкие песни, когда грел меня твой славный плед — многодневный спутник мой, — много думалось. О созидании прекрасного мира, вырастающего на наших глазах в нашей молодой стране, о коллективе строителей, и словами Олеши, об «одинокой человеческой судьбе». Не думай, что я чувствую оторванность и одиночество. Просто думалось о себе. Мне кажется, что нужно благодарить обстоятельства, в силу которых жизнь оторвала меня от груди и жестко бросила на пол. Вовремя сделано это. Чтоб не избаловался, не заплыл человек. Ведь там, на родине, что я делал в наилучших условиях, скажем, для самосовершенствования, хоть бы просто для того, чтобы хоть немножко выше стоять, чем любой из обывателей? Вывозили только нюх, «верхнее чутье» (у Пришвина хорошо сказано о нем) да способности, которые хоть и не развивались, но и не заплывали (...). А ведь можно было заняться языками, музыкой, научиться писать остро, нужно, культурно, лучше, нежели делал это я. Ведь несмотря на загруженность, у меня теперь хватает времени и для себя, для серьезной работы, хоть бы над языками. Трудовая дисциплина налажена, а это значит, что желание совершенствоваться, брать жизнь возможно шире и глубже — заценено снова. А если это налицо, значит и эффект, который даст человек, будет значительнее.

Возможно больше работать — с этим я иду в Новый год, к дате, о которой писала ты.

Почему-то Новый год не стал днем нашей встречи? Почему, маленькая моя семья с будущим буденновцем, сторожащим календарные листики? В такие же дни декабря переселились мы с тобой в наше жилье... Хоть не нужно этого, потому что нас ждет жилье и светлее, и больше, и теплее. Мы ведь молоды и бодры.

Мариинск... Город это незавидный, обошел его вчера. Хуже Слуцка и лучше Толочина. Педтехникум, библиотека, два книжных магазина, радиоузел. До почты не добрался. Дома деревянные, есть улицы в одну сторону. Хуже всего, что тут сильные ветра, летом грязно и свирепствует враг твой — малярия. Представляю, где ты будешь жить, но совсем не знаю, что ты будешь делать, чем займешься здесь. С жильем здесь, понятно, гораздо легче, чем в Новосибирске.

Я примирился уже с тем, что ты едешь в зиму, но малярии боюсь. Это ведь гораздо хуже мороза. Относительно своего положения — видимо, тут буду уже до конца. Работаю там же, в УРО, только теперь дальше ходить от жилья до места работы. По-прежнему у меня есть свободное время днем, и я так же здоров и бодр. Только по-прежнему я еще острее жду тебя, каждый день, каждую минуту. Жду и боюсь звать тебя, сюда в глушь, в мороз, в малярию. Боюсь за здоровье твое, за силу... Не подготовлена ведь ты ни к пути, ни к жизни тут, в которой будет немало трудного и тяжелого. Но почему-то я совсем не чувствую ни разлуки, ни расстояния между нами. Вижу тебя, встречаю тебя, жду твоих слов.

Пускай тебя встретит Новый год синим небом, белизною снегов и приливом бодрости, которая торит пути, зажигает огни.

Береги себя, родная моя!

Дай руки свои мне и послушай, как сильны мы. Привет родным твоим.

(Подпись)

9.12.1933. Мариинск, Зап. Сиб. края, УРО Сиблага ОГПУ.

То ли раскрыт был семафор, не знаю почему, но рано утром сегодня, когда бежал я поговорить с тобою, — стоял на переезде пассажирский. Дымил облаками пара, вдыхал, смотрел он в твою сторону. Чтоб не обходить — шагнул я через площадку, а сойти не смог... Слишком глубоко вдохнула грудь запах легкой гари и утренней вагонной краски, чересчур заманчиво пахнуло на меня широкими крыльями пространства славное слово — дорога!

Прыгал на ходу...

Несколько дней люди ходили как бы в ломком хрустальном стакане. Висел сверкающий иней, опушал ресницы, торопил шаги, освежал щеки утреннею ходьбой. И казалось, над головой и под ногами одинаково синее, и ночью, и днем, стелется хрустящее звездами небо. А дома, как продавцы шаров, стояли — смешные! — с радужными пузырями дыма над головой. Ломается под ногами звонкая тишь, а из тяжелого морозного тумана вырывается заиндевевшая лошадиная морда с такою славной звездочкой на лбу...

Потом вдруг теплый снежный ветер... Тяжелый, сырой, бьющий в лицо, как складки поднимающегося занавеса. Как хорошо знаю я его, мутный ветер родины, в котором дыхание близкой весны...

И тяжело забуранило — меня в чувства, Мариинск — в снега... Пурга... Пурга... Пурга и тайга... Знакомые давно, овеянные романтикой. Детства слова. Щемящие... Таинственные... Под шумы пурги идет время. Вот уже вторая декада кончается здесь, может, уже хоть одно из моих писем у тебя, может, через несколько дней ожидания будет у меня листок из твоих рук... Родная! Родная! Звенят тишиною мои одинокие вечера в мыслях, словах к тебе, о тебе. Шли мне скорее свои слова. Ты слышишь меня? Беспокоит меня твое здоровье и, как писала, «очень временная» работа. Так долго ничего не знаю... Если бы береглась ты, как мне хочется этого, если б имела возможность жить, как думается, тогда спокойнее...

Если б мог я через расстояние это взглянуть, присмотреть за тобою... Тяжело быть вместе только мыслями, когда тебе давно уже нужен и отдых, и покой, а думать о себе ты совсем, совсем не умеешь.

Как всегда я здоров и бодр. Живется мне неплохо, немного далеко ходить на работу, но я не особенно мерзну. Да и зима теперь мягкая, как будто не в Сибири...

Береги себя, родная, да шли мне скорей свои слова.

Привет всем домашним. Мариинск ЗапСибкрая. УРО Сиблага ОГПУ.

Деньги я получил уже все.

20.07.34. Минск.

Как мало нужно женщине. Маленькое слово и родная забота. Только сейчас получила все три письма. А то все предыдущие дни — неодолимая тревога.

Я не расстраиваюсь. Читаю понемногу. Везти в Москву не хочется. А отвозить назад? А после это снова затянется. Сделаю. Только мне надо писать, чтобы спокойно трогаться.

Ты ни о чем не беспокойся. А спать и есть надо конечно.

Сейчас, сегодня, едет Мария Константиновна. С нею тебе веселей будет. Наверно, будет до первого. Она полагает, что доставит тебе хлопот. Убеди ее, чтобы спокойно прожила все время у тебя. (...)

Смотри за собой. Спи и ешь. Я поправилась немного. Ем так много, что трудно и представить.

Глаза, чело, родные.

Женя.

* Минск. (Без даты. — ***Т. К.***)

Последнее письмо твое снова о том, чем я жила в Сибири(...). И может быть, неслучайно: сегодня во сне я снова была там, блуждала по лесу, в топи, при бурных речках и с ясностью в мыслях. От того, что стало постоянным в моих днях, именно,

моих — не наших, ведь это только женщине нужно — эти твои слова бесконечной искренности — ветерок не подует — слова, которые не повторяются как слова, а начинают жить жизнью того, кто произнес их.

И сразу почувствовала тревогу. Ощутила твои родные руки. Это богатство. Как всегда. И этого нельзя ничем нарушить.

Работаю понемногу, играючи. Много сплю, ем. Дождь мешает попользоваться речкою, воздухом, лесом. Жду, может, мы вместе пойдем за грибами. Их много в этом году. Мама начинает солить рыжики.

Вчера была снова в Издательстве. Третьего тома нет. Окончательно. Ну, ничего, он самый маленький — 26 авторских листов. Сделаем.

Как там наша гостья? Передавай ей привет. Старика жалко мне. Поехал зря, а приехал — уже назначили другого. Дикость. Но он уверен, что устроится.

Как чувствуешь себя? Нужно все-таки, чтобы ты приехал в Мамонтовку. Если появится у тебя какая-нибудь возможность. Может, с площадью здесь получится. Если же нет — ориентировка на Шуру. Надо перебираться. Вот и все.

Жду письма.

* 25.11.1934. Москва.

Еще так близко стоишь ты возле меня, как в минуты перед отъездом, а уже звенят трамваи, надо оглядываться на каждом шагу, на каждый гудок. Москва...

Был у Шуры. Нашел ее в банке, в очереди, веселою, хорошо выглядит. (...) Мимоходом она сказала мне, что какая-то знакомая спрашивала у нее про квартирантов. Видишь, перспектива опять.

Бабушка уточнила эту перспективу: комната с ванною, отоплением и светом: газовою плитою, но 2000 р.

Если это всего — так я думаю, что на две вещи она разобьет эту сумму. Половина — это моя куртка, а вторая — это перевод. Только я пока что полагаю, а медведь в лесу. Завтра напишу уже более полное письмо.

Теперь еще о том, что недоговорено: спроси у Головача про Зарицкого и Семашкевича, а также про адрес и отчество Буйло. Также ты хотела написать письмо, а адрес я забрал: п/о Исаклы Ср.-Волжского края Сергиевский р-н политотдел МТС, Тимофей Кондратьевич и Анна Фоминична. (...)

Будь здорова, мая маленькая, родненькая-родненькая!

Дай мне лапку свою. С нею яснее, радостнее, полнее смотреть в будущее.

(Подпись)

Мать и Бороду приветствуй от меня.

* 1934. Ноябрь.

Чуть нахмурился день. Похолодало. Не собирается ли он послать тебе белую дорожку с первого молодого пушистого снега. Хочешь проехать, пройтись по дорожке этой? Будто по светлой дороге весенних садов первой весны нашей. Не с сожалением прошлого вспоминаю я ее, а с радостью окрепшего нашего сегодняшнего. И через двенадцать часов дороги протягиваю тебе руки, привлекаю к себе ясноту, радость свою.

Вдруг (...) и неправдою сделались, а кажется, звучали реально совсем слова твои про очерствение, про привычку. Нет этого и в помине. Как в первые дни, не могу терпеть разлуку, как всегда хожу с именем, с рукой твоей, хочу и смотрю глазами твоими везде, где надо думать нам вместе. (...)

* 1935. (Без даты. — ***Т. К.***)

Женик, милый!

Не вижу тебя и во сне, и из писем также мало слышу тебя, родную. Мало ты бываешь со мною, и потому особенно ощущается отсутствие. Так давно притрагивались ко мне малые мои руки, далеко от меня губы твои, тревожные твои мысли.

Сколько солнца здесь, родненькая! Я прячусь от него в речку, как крокодил, за ставни комнаты, — достает. Представляю, как досаждает оно тебе, хотя ты ему и рада обычно.

Не хватает здесь маленькой моей женщины, обидно мне, что она там работает, перерыва себе не давая. Но я верю, что ты немного все же слушаешь меня. Надо беречь себя. Будет больше у нас светлых дней, на которых мы держимся в жизни, на берегах ее и в ее глубинах.

Приказываю головке не болеть, сердцу — биться, груди дышать спокойно. Пускай ходит по дому нагая, славная такая девушка, чуть важная, но готовая смеяться и дурачиться.

Минск интересует полнотою жизни, хорошим обликом, статными фигурами. Только я хожу один. А ты?

Я не готов здесь весь отдых высидеть. А то приезжай ты ко мне.

Мать не понимаю. Она хочет ехать, но что-то ее здесь задерживает. Я говорю, чтобы ехала — каждый день. Встревожилась, что голодаешь, — посылает тебе через Аксельрода яйца. Не мог уговорить.

Пиши мне! Не забудь зайти к доктору.

Вечерок здесь. Славно, милая!

Иди ко мне! Иди!

(Подпись)

11.05.1935. Минск.

Приветствую тебя, родной!

Еще лежу, но завтра думаю подняться. Чувствую себя очень странно. Есть ничего не могу — рвота. Кроме того, все тело в волдырях, которые я ночью разрываю, — реакция кожи на сыворотку.

Деньги мы получили, так что не беспокойся. Все-таки думаю скоро увидеть тебя.

Весна растет с каждым днем. Вчера Рафаилович притащил мне огромный букет черемухи.

Апельсины не присылай. Противно думать о них.

Как ты? Отдохнул ли уже по-настоящему? Больше писать трудно.

Женя.

Жду от тебя письма.

Минск. (Без даты. — ***Т. К.***)

Приветствую, родной!

Прости, что пишу скупо и слишком редко. Разленилась, не поднимаются руки. Учусь ходить. Не совсем удачно. Но уже порозовела. Встревожило твое письмо о болезни твоей. Все ли прошло окончательно? Телеграфируй — мне будет спокойнее. Денег достаточно — 1500. Так что не работай теперь, ведь это уже свыше всяких сил, а значит, грозит тебе всякими реакциями. Думала выехать 17-го курьерским. Сегодня был районный врач. Он не советует и вообще не санкционирует. Боится взять на себя эту ответственность. Отсылает к Шиху. Если этот разрешит — 18-го буду в Москве, если нет — высижу еще пару дней. Волдыри прошли от кальция. Реакция кожи. Организм отравлен сывороткой, и я наблюдаю всякие странные явления в себе. Но в целом живу, и это меня даже ослепляет неожиданностью. Мама принесла нарциссы и тюльпаны — я их вдыхаю, как жизнь, как весну, с которыми так страшно было... Ну это так не думается. Думается о большем, о тебе.

Шлю тебе все лучшее в себе.

Телеграфируй обязательно о здоровье. Женя.

29.04. Москва. (Год не помечен. — ***Т. К.***)

Письмо изобилует точками. Как будто бы симптом четкости мысли. В мыслях твоих обо мне не хотелось бы ее (этой четкости). Как видишь, хоть в одном я всегда последовательна: хочу невозможного.

Мелочи. Они мне не удаются, по обыкновению. Плаща не могу «выстоять», шляпа получилась нелепая и уже своим цветом (голубой — осеннее небо) исключает плащ. Но уже это не волнует. Слишком устала. Еду 30-го. Перевод почти закончила. В комнате у меня чистенько, отдаленно, слишком отдаленно, напоминает май ударницы. Неважно. Мелочь. Завидую тебе только «в ванне».

Уже начинаю напряженно дышать без тебя. (...)

Напиши в Минск спешное о приезде в Москву.

Береги себя во всех отношениях (мужское любопытство не включаю).

Женя.

17.07. Москва. (Год не помечен. — ***Т. К.***)

Приветствую, родной!

Чувствую себя замечательно, встаю почему-то очень рано, успеваю и с чаем, и с уборкой, и с купанием, и с лечением. Хочу повторить санаторный месяц. Есть, правда, не хочется — жара, но ем упорно, чтобы сохранить «тяжелый вес».

Как видишь, выполняю все твои инструкции. Отсюда, по чисто мужской логике, вывод — необходимо, Вам, выполнять с такой же добросовестностью мои. Обязательно нужно поправиться, ничего не делать, ни о чем не тревожиться. Ни о ком тоже. Маме я напишу завтра и постараюсь убедительно, пусть тебя ничего не смущает. Если она посидит пару лишних дней — для тебя это все-таки лучше. И ей спокойнее.

Шлю тебе каплю со лба свежего московского, нашего, дождика.

21.07. Москва. (Год не помечен. — ***Т. К.***)

Доброго утра!

Поправился ли уже мой парнишка в мамином доме?

Сегодня ждала письма, но, возможно, оно будет после обеда.

По-прежнему толстая и ленивая. Вечером не работаю, а необходимо. Приезжаем с Линой в 6—7 часов и в лес… Спим с 11-ти, встаем в половине седьмого. Совсем по-санаторному.

Пришлось согласиться на заместительство с 15 августа. Имеется в виду, что я и останусь на этом месте, но поскольку я категорически отказалась, мне дано право сделать по усмотрению по истечении этого месяца.

Хочется, чтобы ты был абсолютно спокоен, чтобы радостно и полно дышал, немножко писал для себя, немножко помнил обо мне… Хорошо, родненький?

Смотрю в зеленые глаза и улыбаюсь отраженному солнцу нашей еще молодости.

Приветствуй маму и Рафаиловича.

Женя.

1935. (Без точной даты. — ***Т. К.***)

С утра слежу за сменой чудеснейших эмалей, даже не знаю, как можно назвать все эти цвета, тона, полутона и оттенки. У меня нет для них имен, и потому воскрешаю в начальном звучании слово — прекрасно. Начинаю понимать, что всю жизнь можно рисовать только море и писать только о нем. Особенно хорошо повыше уйти в горы и там думать, не оскверняя воздуха даже папиросой. Книгу таскаю больше для проформы. Вот уже около декады ношу «Сыновья» Фейхтвангера, а прочитано страниц 30. (...) Иногда отдельные фразы несколько раз перечитываю вслух.

Дни настолько хороши, что по свойственному мне недоверию начинаю думать о предстоящей расплате за них. Это очевидно нервы. Их не залечишь, не успокоишь. Обостренное восприятие, пожалуй, скорее достоинство, чем недостаток.

А в Москву здорово хочется. У тебя уже, наверно, морозцы. Это слово — морозец — особенно приятно и неожиданно произносится и представляется у моря в белой рубашке с расстегнутым воротом. Очевидно, сразу придется перей-

ти с купальни на каток. Хороша страна наша! Столько простора у нее, что с одной стороны тропики, а с другой вечные льды. И мы граждане этой страны!

Приветствую тебя!

Возьми из рук моих синей воды на лоб, на глаза.

Будь здорова.

(Подпись)

16.08.35—36. (Год помечен рукой Лужанина. — ***Т. К.***)

Не тоскуй о прекрасном городе нашем. Изнанка его для меня: утренняя тряска — Плющево — Казанский вокзал — Андроньевка. Почему-то опаздывают поезда, люди звереют, и с утра я уже чувствую себя разбитой.

Море дает тебе спокойствие. Оно необходимо тебе даже в большей степени, чем мне. Не нужно приписывать мне, Аль мой, и таких мыслей о «проступке», которым ты называешь свой отъезд. Тебе нужно было уехать, и, как всегда, я была только эгоистична, когда хотела этой поездки. И если мой эгоизм, мой инстинкт сохранения остатков равновесия, дал тебе радость видеть море, спокойно думать твоими строчками — это дает мне маленькую радость наряду с приходом, постепенным, правда, спокойствия. Время мое не ушло. Ты прав. Я тоже увижу море в 1937 г. после пятилетней разлуки с ним. Об этой встрече я мечтаю, как может мечтать девушка о многих еще непонятных вещах. Я знаю, что дает море, и нельзя так надолго безнаказанно уходить от него.

Буду искренне рада, если оно даст тебе столько, сколько давало мне всегда. Оснований для твоих тревог нет. Дыши легко. С квартирой по-прежнему (...). Харин говорит, что теперь мы не в его власти. Даже квартплату будет взимать ВИМ. Оказывается, в этой комнате поселились ВИМовские рабочие.

Слышу тебя. Приезжаю рано домой, даже так рано, что успеваю хоть 40 минут побыть в лесу. В 11 мы с Линой уже в кровати. Но почему-то спится, как всегда, когда нет тебя в комнате, очень тревожно. Просто не спится. (...)

Купила какао. Пью по утрам, по примеру Лины, с маслом.

Что касается коньяка, то его выпил Лазарь Каплан, почему-то пожелавший навестить меня в выходной день. Он и без работы, и без крыши. Не понравилась мне немного его слишком большая осведомленность о ситуациях моих (работа). Не знаю, чем вызвана была эта откровенность. Но это мелочь.

Ты не оставил мне доверенности. Каким путем получать деньги?

Большая просьба к тебе. Настаиваю на выполнении. Если что-нибудь коснется ограничения твоего, вызванного недостатком денег, — телеграфируй. Я получила за Данилова — они у меня лежат. Зарплата почти не расходуется. Вообще у меня в этом отношении без задоринки. (...)

Сердце меня беспокоит только изредка, но к врачу пойду обязательно. Будь спокоен. Уточнила для себя даже срок визита.

Хочу для тебя много хорошего, как в тот выходной день, день, когда уезжал, о чем не сказалось.

Возьми его безоговорочно.

Основное — спокойствие. А не спокойнее ли остаться в гостинице?

Женя.

Лина передает тебе привет. Не забывай и ты об этом в письмах.

1936. (Без точной даты. — ***Т. К.***)

(...) Сегодня был сон. Во сне была ты, было много хорошего яркого солнца. После грозы оживали деревья и трава. Улыбались капли росы. Мы шли, взявшись за руки, как дети, смеясь, улыбаясь, радостно и светло находя губы, заставляя улыбаться и оборачиваться прохожих.

Сегодня был день. В дне было много солнца и никакой работы. Я ходил около Невы, смотрел на первую зелень, радовался нежной улыбке северной весны. Почему не было тебя? Бессмысленно. Ведь я чувствовал тебя, руку твою в своей,

ловил на губах у тебя слово, звал на губы улыбку. И она была. Расцветала ясно, как весна.

А вечером в Александринском я плакал. Хотелось пожать руку соседу, схватить на руки старушку Корчагину, расцеловать хирурга Кречета, спасшего наркома.

Прекрасно и велико искусство. И в этот вечер я очень ярко почувствовал смысл настоящей человеческой жизни, полноценной, радостной и простой.

Ушло отупение от моей невразумительной работы, исчезли налипшие частицы пошлости и цинизма, налипшие в результате безразличия и к себе, и к жизни.

Радость больших человеческих чувств пришла ко мне. Я почувствовал рождение слов, смятение чувств, предшествующее этому. Мне хочется закрепить это. Сделать этот вечер нашим, общим, как и все. Но тебя нет, родная. Пусть же сегодня ночью уйдут эти слова к тебе.

Дай мне руку, моя славная, родная, безгранично близкая девочка!

Обними эту родную, неспокойную башку. Дай мне глаза свои, руки свои. Послушаем тишину, послушаем себя и наше.

Иди ко мне. Иди!

(Подпись)

13.08.1937. Новороссийск.

Сегодня после четырех дней дороги был на море. Именно сюда мне нужно было приехать, в место совершенно новое, ничего не возбуждающее в памяти, не обязывающее к разговорам и знакомствам. Может быть, это в дальнейшем будет обременительно, но сейчас кажется изумительно просто и хорошо пройтись по улице, влезть в воду, посидеть на бульваре, подумать в номере над строчками — отдавая отчет только себе одному. Молча.

Коробка, которую я занимаю в гостинице, выходит окнами на главную улицу города — «Улицу Советов». Тут есть вполне приличная и доступная столовая и кондитерская, где за стакан какао, молока и сдобу спросили 2 р.18 коп.

(...) Оказывается, что дней в моем распоряжении осталось не очень много. Но если я сумею сохранить душевное равновесие и использовать их возможно эффективнее, то будет довольно.

Дорога была интересной и промелькнула очень быстро. Два дня шел, покачиваясь, пароход — «Грузия». И кругом было море, настолько синее, что небо казалось бесцветным. Из Одессы я выехал с палубным билетом, но в пути очень быстро нашел местечко в каюте. Оно мне почти не пригодилось. Все время сидел я на верхней палубе, у самого борта, слушал море, смотрел на знакомые места. Евпатория, Севастополь, Симеиз, «Ласточкино гнездо», Ялта. Смотрел панораму, ходил по Ялтинской набережной. Но самым лучшим было сидеть и разговаривать с морем. Рождались строки, которых у меня давно не было, и было неожиданным, впервые за много лет, спокойствие.

Солнце светило ярко, море вздыхало широко и спокойно. Они хотят видеть тебя. Я отвечал им: «Увидите!»

Не мне нужно было первому попадать сюда. Это больно и мучительно. Тебе давно уже нужно солнце и море. И в это время больше, чем кому-нибудь. Мне нужно было еще на пару месяцев взять себя в руки и отправить тебя. Может быть, уехать вместе. Я не знаю, как лучше. Может быть, вместе мы смогли бы здесь найти общий язык. Найти искренность и договориться обо всем. Может быть, лучше, что ты побываешь здесь одна. Я знаю лишь одно. Вернее, не знаю, ум и память не принимают участия. Я чувствую, что тебя нет. Ведь времени от последнего взмаха твоей руки до этого вечера мало. Одно незаметное мгновение. Пятидневка, которая прошла бы в Москве, прежде чем успеешь опомниться.

Оказывается — не так. Той тебя, которую я хорошо знаю, нет давно. Но нет и той, которая появилась не очень давно, той, которую ты ограничила для меня.

Неужели я примирился с этим? Неужели сгладилось чувство большой утраты?

Или ничего не изменилось во мне. Все, что жило к тебе, осталось трепещущим, живым и больным? Это нужно понять.

Я ничего не могу повторять, не хочу ничего вносить нового. Я не могу только зачеркнуть вопрос к тебе. Я хочу только, чтобы пред тобой всплыли ассоциации, воспоминания, владеющие мной много дней. Они не могут быть написаны сейчас. Но я вызываю их и ставлю перед тобой. Я буду возле тебя, когда они появятся. Может быть, ближе и понятнее будет тебе боль, горечь и одиночество.

Я хочу многого, и тем настойчивее, потому что это относится именно к тебе.

Я исполнил твое, неоднократно высказывавшееся желание: как можно скорее уехать. Я уехал. Сознание, что моя поездка на юг по отношению к тебе — преступление, которого ты мне не забудешь, — обострилось. Но я знал, что мне надо на этот месяц уехать, уехать как можно дальше, от знакомых, от привычной обстановки. И это совпадало с твоими мыслями. Мы разговаривали и думали, что это должно помочь обоим. Что думала ты — я не знаю. Но уже оба мы стали перед фактом. Я хочу, чтобы это время дало возможность тебе несколько окрепнуть до поездки сюда. И еще раз повторяю просьбу — смотреть за собой, отдыхать возможно больше и проверить сердце — побывать у врача.

Твое время не ушло. Для жизненной полноты необходимо здоровье, а без него не обойдешься при всех вариантах будущего. Услышь меня хоть издали. Слышишь?

Дело идет к вечеру. Сядь и расскажи мне, что ты делаешь, что ты думаешь.

Пиши больше, если можешь, чаще. Обязательно напиши, что с комнатой? Мне больно, что она опять свалилась только на тебя. (...)

...Сейчас иду в библиотеку, добывать роман поинтереснее. Постараюсь почитать.

Будь здорова. Смейся.

Дай руку.

(Подпись)

А меня уже потянуло в прекрасный наш город, в шумную, беспокойную, родную мою Москву. С какой радостью я опять увижу ее, пройду по знакомым площадям и переулкам.

Лучше места нет! Я понимаю Маяковского:

Я
хотел бы жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой страны —
Москва!

Маяковский прав и здесь. Жалею, что не взял томика его стихов.

Новороссийск, главная почта, до востребования.

19.08. Москва. (Год не помечен. — ***Т. К.)***

Рабочий день окончен. Сегодня он был совсем приемлемым. С утра до 1 ч. Консультант пребывал в Ленинской библиотеке. Там огромные праматери книг, требующие реставрации. Отобрала древнееврейские «стези жизни» — 16 столетие. Альбомы Репина с варварски вырванными листами (корешки оставлены) пойдут во вторую очередь. Чувствую себя совсем неплохо, несмотря на то, что вчера мы с Линой попали во второразрядные бани (все на ремонт закрыты) и чуть не погибли. «Домыться» я уже не сумела. Сердце. Больше не буду делать таких экспериментов. Сейчас еду домой. Читать. «Огоньковский» кроссворд уже решила самостоятельно, без вашего нахального вмешательства в мои не совсем логические мысли и без ваших наводящих вех.

Платье все-таки купила за 150 р. Цвет вишни, блеклый. Крепдешин. Так дешево, что не хочется верить в его приличие. Ты бы не одобрил. Знаю. Но потребность в новинке оказалась сильнее этого аргумента. Оно только полнит

меня. Оказывается, размер 50 это и есть мой размер. А вес 60 кг (без курсива). А в санатории было 58. Значит, «наращивание» началось после санатория. И еще, значит, не все потеряно.

Будь спокоен и займись этим приращением всерьез. Я хочу тебя встретить сильным, радостным.

У нас сегодня холодно, но когда утром я выходила из метро «Ленинская библиотека», мне казалось, что это путь к солнцу и морю. Ты уверен, что я увижу его?

Женя.

21.08. (Год не помечен. — ***Т. К.***)

Пару мыслей тебе. Тоскливо. Дождь. Много спим с Линой, мало читаем. Почти ничего не хочется. Разве только белых стен и уюта с большим венецианским окном на озеро.

Во сне по обыкновению не вижу тебя. Странно. То же и ты?

Вчера начала продолжать (хорошее сочетание) английский. Преподаватель — Жук. По Вашей зоологической терминологии. Но лингвист глубокий, а не учитель грамматики. Работа поглощает весь день, не остается места мыслям. Это даже хорошо. Даже наверно хорошо.

Хочу, чтобы ты совсем спокоен был. Совсем молод там у моря. Совсем глубоко дышал и, может быть, вдохнул нужные строчки.

Обо мне не тревожься. У меня состояние странное. Очевидно, обычная депрессия. Но это близко к спокойствию. Держусь за него. Даже боюсь читать Достоевского. Взяла в руки и отложила. В другое время такого рода спокойствие испугало бы меня своей пустотой, бесперспективностью, а теперь я приветствую его, прячусь за него. Знаю, что оно принесет нужную силу.

Не надо щемящего чувства, которое не покидает тебя. Сбрось его. Я помогу тебе сейчас моей рукой на лбу твоем. Хорошо?

С твоими счетами не совсем ладно. Будут оплачены только 29-го. Но если тебе понадобятся раньше — телеграфируй, — у меня есть деньги.

Приветствую.

Женя.

Прошу, не ограничивай себя ни в чем.

26.08. Москва. (Год не помечен. — ***Т. К.***)

Вчера совсем разволновалась. Очевидно, встревожила и тебя. Почему-то на фоне Зининых рассказов о родном городе померещились всякие возможности. Тем более что не последовало ответа на телеграмму. Прости, если поволновался. Не хотела этого. Днем сорвалась с работы. Уехала в Плющево за домашним твоим адресом (точно не помнила), чтобы дать телеграмму на дом, помимо той до востребования. Но, уже приехав в наркомат, получила твое спешное.

Успокоилась. Как все-таки недопустимо работает связь. Ты получил письмо на предыдущий день, и притом спешное.

Обо всех новостях написала еще вчера. В Киев ехать придется дня на три. Выеду числа 29-го. В Москве буду числа 5-го. У нас все спокойно. (…)

Видеть тебя хочу очень. Но «думать» не думается. Как-то все отстраняют эти мысли потребность в спокойствии. Знаю одно, что близок и дорог ты мне.

Будь здоров!

Женя.

6.10.1937. Феодосия.

Море стало еще прекраснее за пять лет разлуки. Вчера я бродила в нем, как в переулках родного города (не Минска). Не хотелось уходить из этого волнующего покачивания. Лина уже стала кричать с берега. Вода теплая.

Вчера вообще был совершенно изумительный день. Впервые солнце на пляже не сопряжено для меня с головной болью и сердцебиением. Поэтому, забыв о времени, я, вероятно, немного сожглась. Лина сегодня не могла спать — ни лечь, ни сесть. (...)

Зато сегодня волнующий отдых от солнца. Дождь. Мелкий и теплый. Собираемся на рынок за виноградом. Вечерами здесь, очевидно, безумеют от скуки. Город с восьми, даже с семи — совершенно темнеет. В санаториях тоже гаснет свет. Толпой бродят курортники по набережной. Мы с Линой тоже. Ищем знакомств. Не безуспешно. По крайней мере, для Лины.

Как ты? Здоровье, нервы? Что Минск?

Начинаю ждать твоего письма. Дни все-таки очень бегут, несмотря на безделье. Если ты с Лазарем — приветствуй его.

Брит, нет, как всегда, жесткая щека? Для меня?

Женя.

11.10.1937. Феодосия.

Море сегодня тревожное, злое. Лежу и смотрю на него неотрывно, насматриваюсь. По-прежнему не думается ни о чем. Вчера к вечеру пришло твое письмо. Не могу представить себе холода нашей комнаты и постели. Но это не пугает меня. Так привычна смена температур, состояний, расцветок, оттенков.

Как всегда, рада твоему письму, бодрящему тону в нем. Хотя часто убеждаюсь, позднее, что он напряжен, создан стараниями. Говорю это сейчас без горечи, только чтобы честно. Так подумалось...

Приветствую тебя. Шлю тебе немножко нашего тепла.

Женя.

2.10.1938. Ривьера.

У моего изголовья ведро роз — они из сочинского дендрария. Розы не мои, но от этого не теряется их яркость и аромат. А казалось бы иначе. Может быть, я уже на пути к спокойствию… Ну, пусть это будет хоть островком, маленьким, под угрозой смыва, но еще не сегодня и не завтра.

Твои строчки издалека всегда приносят мне успокоение. Ты говоришь — будь спокойна, и я чувствую, как от этих неизмененных слов на меня сходит и тишина, и теплота.

Море успокаивается. Я уже немного плаваю. По-настоящему, по-собачьи, захлебываясь солью и волной, когда устаю. И это дает мне совсем детскую радость.

Загорела — быстро и ровно. Значит, по-прежнему здорова. Недомогания кончились. Я просто все время промачивала ноги, а так как лишних туфель не было, то они до вечера и не просыхали. Как всегда. Мне хочется, чтобы ты успел получить это письмо. Куда ты направляешься? Как у тебя с деньгами?

Получила от Лазаря письмо. На четырех больших страницах. Он честно встряхивает мятущуюся женщину за плечи. При этом используется и Гейне, и Коран, и собственная изобретательность. Я ему совсем по-нежному благодарна за это. Ты не должен судить о степени моей тревоги по этим кривым строчкам. Нет нужной мне бумаги, скверный карандаш и неудобство положения — пишу лежа, когда остальные пять спят или отдыхают. Но даже и в этом положении — перед глазами море, и оно приветствует тебя всей своей глубиной и беспредельностью.

Сейчас оно чуть вздрагивает, и волна так мягка, что не может быть рождена волнением. Она только линия изгиба живого тела, желание и жизнь.

Приветствую тебя, Алесь!

Женя.

21.10.1938. Ривьера.

Что-нибудь случилось с тобой? Днем я спала в кошмаре, очевидно, вызванном сильной болью головы и небольшой температурой — бесконечный дождь. Видела тебя злым и жестоким, с железом в руках, вонзающимся в мои руки. Слышала злые слова. Зачем пишу тебе об этом? Сон. Но вот и до него, и после него я не нахожу спокойствия для себя. Я пришла к морю, как к другу, отдающему и ничего не ждущему взамен. Мне нужна была его ясность, его глубина, уверенность, сила.

Оно встретило меня новой тревогой. Нет еще бури, но и не видно конца смятению. Здесь очень тихо, в Ривьере. Неожиданно тихо. Поэтому шум моря, удары волны гулко отдаются в сердце.

Чем успокоить глаза, мысль, сердце? Как отвести от новых ударов?

Ты этого не знаешь. Тебе трудно самому. Ты странно ходишь. Я не понимаю тебя сейчас. Но я хочу для тебя того же, что так нужно мне — силы, спокойствия, возможной радости.

Жду солнца. В дни его, может быть, радостнее будут строки к тебе.

Чем ты живешь сейчас?

Лина со мной.

Женя.

Как напряженно пишется тебе — или просто я физически больна. Нет, это напряжение Москвы и Загорянки при встрече с тобой. Если я не избавлюсь от него здесь — уйти нужно будет совсем. Но я знаю — твоя жизнь так вплетена в мою, таким судорожным переплетом, что без новых корней — «совсем» — не вырвать.

Не хмурься — я все-таки учусь спокойствию. Учусь с азов, терпеливо, применяя хитрость и силу воли.

Приветствую тебя, как всегда, лучшим.

Женя.

(Без даты. — ***Т. К.***)

...Письма получаю на пятый день.

Почему ты не можешь остаться до первого? Ведь к тебе же относятся по меньшей мере либерально, и за свой счет неделю можно добиться?

Поездка в Минск для меня новость. Но я тебе советую, а ты советов не слушаешь и не принимаешь.

Конечно, сделай, как покажется лучшим.

О Волошине, пожалуй, я знаю больше. Искренне люблю этого громадного фламандца, у которого стихи очень не похожи на жизнь.

Меня опять прорвало стихами. Может быть, несколько однообразными, но настоящими (кажется). Только заниматься ими некогда. На ходу записываю пару строк; они поют и не уходят. Поют сильнее, чем в молодости.

10 часов. Домой попаду в 11. Сидеть надо по меньшей мере до 3.

В этом месяце везу миллион работ. Пожалуй, такое состояние — самое нужное для меня...

Мне пишешь неласково. Строки, как чужие. Что это? Или восприятие?

Привет.

(Подпись)

1938. (Без точной даты. — ***Т. К.***)

А слова приходят такими близкими и дорогими, как никогда. Я вижу ее, эту упрямую и глупую, кажущуюся мне девочкой женщину. Сколько хорошего я должен дать ей. Независимо от того, какова она ко мне. Какое значение имеет это по существу. Мутная вода страдания сбегает, и остается сияющий мир с зеленеющими клейкими листами. Мир, расцветающий при ее появлении. Мир, поющий при ее прикосновении. Страшные дни эти позволили смотреть глубже и видеть

дальше. И в этом, видно, в листьях, исписываемых мною, уложилась вся глупая и противоречивая моя натура. Полно как никогда. Приходи ко мне, родная, скорей. То, что ты со мной, — это уже много. То, что ты улыбаешься мне, это — счастье. Глупая прекрасная синяя птица. То, что ты говоришь, — это большая волна хорошей настоящей окраски.

Ничего из мучившего меня не допускаю к себе. Уйди, как пришло. Но без следа. И ты помогаешь ему уйти так, чтобы никогда больше не возникать в сознании. Тепла много. Не на двоих. Больше. На мир. Неистребимая жажда жизни во мне. Я всасываю жизнь всеми порами. Только полным должно быть все. Твое — мое. Дождей, гроз веселых хочу! (...) И знаю — буду зеленым. Так напрягается земля, так стонет она, рождая весну, выращивая травы и цветы.

Какая же теперь тревога, родная моя, неотрывно близкая. Чего еще боюсь я? Ночь теперь. В тишине этой ночи видны через окно громадные звезды. Чистые, весенние. Прозрачные совсем. А я боюсь. Триста тысяч раз упрекаю себя в том, что ты уехала. Как нужно, чтобы ты здесь была. К тебе просится, трепеща, рождающееся слово. Почему же преследует проклятая давняя мысль, что я тебя больше не увижу...

Спи спокойно, пусть ничто не тревожит тебя. Спи, я посижу, постерегу тебя. Как всегда, буду сидеть у забытья твоего. Пусть сегодня оно будет спокойным и укрепляющим сном.

* Ривьера. (Без даты. — ***Т. К.***)

Сколько раз отрекалась от покоя. Дерзко, по-молодому, не по-женски. Отрекся и он от меня. Навсегда, грубо. Вот так бросает то словно в шторм, то в напасти. Женщину со слабыми хрупкими руками и всевидящим неукротимым зрением. И штормы ли это? Чтобы хоть не зря, не за копеечное, не напрасно так биться зрачками о камень. А впрочем, что если действительно дорогое?

Еду сейчас унижать себя тем, что останется непорочным только во мраке, припрятанное привычной улыбкой тысяч женщин от людского взгляда. Это будет обнажено, будет уязвлена гордость, буду слышать из собственных уст такое, что никогда не осмелилась бы сформулировать в мысль.

Литература.

Все литература. Страшно подумать, что люди, рождавшие эпохальные мысли, все же оставили их потомкам и выдавали их современникам в изувеченном состоянии, обтесанными со всех сторон, спереди и сзади, ради придания им исконно гладкой формы, единственно пригодной для зрения. А такого простого, такого жизненного, по своей ясности и солнечности — моей радости — не дождусь?

Снова, как когда-то, словно заклинаю на бумаге: будет, произойдет. И нет, и нет. И знаю, придет тогда, когда не будет сил, полных сил на такую радость.

Это же не так называемое женское мнение. Мне же дано много яркого и мрачного, и чем ярче первое, тем мрачней второе. Равновесие. И иду как маятник с крупным боем громовыми созвучиями. Я сильная. Я выдержу. Но уже время для радости. Она не должна опоздать. Ведь каждая женщина хотя бы раз в неделю бывает ребенком. Она же растит всегда в себе Его и от Него же через молоко в кровь свою вбирает эту хрупкость детских рук.

И радость не должна опоздать.

Ведь она может прийти поздно.

(Без даты. — ***Т. К.***)

Море успокоилось. Еще дрожит как женщина после судорожных рыданий. Теперь нужны только мягкая рука, настоящая нежность, силы любви — и она улыбнется свежей, омытой болью, улыбкой.

Идем с морем к тишине. Пойдем с нами. Отблески заката еще окрашивают кусок горизонта. Бледнеют быстро, но я успеваю проследить угасание. Краски мрачнеют. Как глазам и душе нужна яркость.

Странно говорится у меня.

Я начинаю писать и думаю, что это тебе, а ты встаешь и слушаешь чутко, и тебе ближе и приятнее мой бред, и уже случайно брошенным словом я адресую его тебе. Нет, вернее, не случайно, а подсознательно и даже вопреки воле.

(…) В прошлом году, в Феодосии я писала тебе без боли, без напряжения, без остроты, и было покойно и пусто в душе. Я отдыхала по-животному, инстинктом жизненности будущей полноты. Я знаю, что возвращаюсь к прежнему и страшному, и неоправданному, и закрывала сердце, приучая его к одиночеству.

Как много дал хирургический нож.

Я обрываю эту мысль, Алесь, я не додумала еще ее. Если ты сумеешь правильно проследить эту нить — протяни ее мне. Да, сердце сейчас живет — оно залито кровью, но оно живое, мое, в него я вложу все мечты о подлинном настоящем кристалле.

Смешно?

Мне самой. Я ведь все равно собираюсь закрыть его наглухо.

Я пишу в темноте. Поэтому так стихийно выглядят строчки.

Приветствую.

Женя.

* 10.08.1938. Ленинград.

Как ты болишь мне, родной, непонятный человек! Писал тебе долго и много: не говорить не могу, а то, что хочу сказать, тебе не нужно. Но и врать перед страшной болью твоей не имею силы. Порез живой, он кровоточит, но ни излечить, ни срастить его мне невозможно.

И я живу. Будем жить. Садись возле меня. Среди других чужих я наиболее нетребовательный и сообразительный.

Под летним солнцем добыл силу. Как всегда готов отдать ее тебе. Помолчи. Спрячь в моих руках свои малые ладони. Пусть не болит голова, пусть успокоится тревожное, трепетное сердце.

Спи спокойно.

(Подпись)

29.09.1938.

Возвращался, и всплывшие мысли должны были составить письмо к тебе. Но в комнате оказалось неуютно, неприбрано, и я, по врожденной опрятности к слову, не могу сесть за бумагу в беспорядке, с грязными руками. И теперь после приборки думается бледно, очень умно, и становится скучно.

А слова твои лежат перед глазами, цветные, яркие, живые.

У тебя теперь совсем темно, и где-то внизу очень знакомый шорох — волна набегает на камни. Хотел написать — знакомый до боли, но поймал себя на том, что усиление нелепое, что бессмысленно делать жизнь болеутверждением и спорить таким образом с природой ее — радостью. Боль и смерть всегда к нашим услугам — только позови, жизнь дается однажды, и вернуть ее невозможно. И по этому поводу всплывают принц Датский и благородный идальго из Ламанчи. Рядком становятся полнокровный Кола Брюньон и веселый циник Рабле. Когда бакалавр пытался вылечить Дон Кихота от его одержимости, Антонио сказал: «Вы хотите лишить мир одного из самых прекрасных безумцев: философия этого прекрасного безумца — взгляд на жизнь как на представление: одни — короли, третьи — епископы, четвертые — рабы. Пьеса окончена, грим смыт, одежды сброшены, и остаются кости. Это представление в преломлении Санчо Панса выглядит так: шахматная доска, все фигуры имеют значение. Игра кончена, и они ложатся в ящик без рангов и порядка. Взгляд утомительно трезвый, но безошибочный. И это сильнейший довод в пользу жизни. Думаешь, парадоксально? Смотря глубоко — нет.

Не буду утомлять тебя рассуждениями. Я могу насочинять чепухи, думать некогда, поглощаю огромное количество книг, философов, историков, думающих и умных людей. Какая-то труднообъяснимая жажда впитать как можно больше, чтобы через познание прийти к представлению. Когда я выяснил, что литература меня не трогает, то задумался: чего я хочу? Для чего учусь, читаю. Но так как научного мышления у меня нет, склонность обобщать и делать выводы отсутствует или во всяком случае развита низко, а вместо этого налицо остановка на острых углах и сбегах противоречий (результат — стихи), то я решил, что познание для меня средство к созданию образа, к более широкому и точному воспроизведению явления, характера, типа. И сейчас чтение надо бросить, пора посмотреть, что просочилось в сознание, что удержалось, что подлежит исключению. Я строю себя не в первый раз, но всегда из пепла. Печальный Феникс!

Когда-то в длинном письме писал к тебе, что мне нужно сделать в смысле усовершенствования. Работа растянулась, но не хватает уже немногого.

Лучшая, наиболее плодотворная половина жизни прошла. Осталось меньше. Надо быть расчетливее. А я ничего не сделал: не написал хорошей книги, не построил дома, не изобрел пороха. А внутренние возможности есть, но как ни печально, они характеризуются плоским словом «общая одаренность». Довольно общего, нужно дело, работа. Пора постигать изречения мудрецов о простоте и свободе ограничения. Вот это и есть то немногое, чего мне не хватает. Улыбаешься. Я тоже. А хоть немного веришь? Смогу?

Пишу нудно, а посему буду пить чай и читать.

30. Утро.

Иду с тобой, с морем. Не задаю вопросов и не говорю фраз с частицами «если» и «бы». Мне очень трудно с тобой, но гораздо трудней без тебя. Слов твоих ждал весьма напряженно, каждый день. И мне уже ясно и радостно — ты живешь. Сильно больная, но выздоравливающая, тянущаяся к жизни, как во время скарлатины, когда просила есть. Два раза видел их такими, глаза твои, а образ настолько реален, что держится перед глазами, как на экране. Именно только глаза, и в глазах — помоги. Говорить — не могла.

А теперь уже у меня заходит солнце. Ровное, холодноватое. Гудят самолеты. Я опять оборвал письмо, прошел день, а вечер гонит к людям. Вернее, в театр. Хожу через день и с опаской думаю о времени, когда репертуар будет исчерпан. Правда, впереди еще Большой и концерты, но они дают меньше. К театру теперь приспособлен — хороший черный костюм и неограниченное количество воротников. В отпуск и отъезд собираюсь каждый день.

Пойдем на Арбат. К Вахтангову. Подумаем, поговорим. Да, хирургия единственно надежная область медицины. Более раннее вмешательство ее могло дать значительно лучшие результаты. Кроме того вывода, к которому пришла ты, этот вывод также бесспорен. Додумывать за тебя боюсь, за себя додумал. Может быть, об этом скажет встреча.

Здоровей!

Приветствую тебя здоровьем.

Пиши! Не нужно ли тебе денег, сообщи.

1938. (Без точной даты. — ***Т. К.)***

(...) В лесу красные, синие, желтые листья и много красивых коричневых желудей. Время для стихов, их нет, но я не жалею об этом. Последние стихи у меня игрушечные, а время требует другого. Да и стыдно играть, имея мозги с количеством извилин, достаточным для обобщений.

Живу однообразно, вижу случайные лица (...). И читаю, читаю...

Пошли мне кусочек моря, прозрачного, как письма, как мысли твои.

Да мне руку и еще раз — будь спокойна!

1938. (Без точной даты. — ***Т. К.***)

Это вот мое, твое, наше время — оно требует только нивелировки личных, ставших лишними — лишних — свойств и нюансов существа, именуемого человек — и отдаленно его напоминающего, и еще широких больших обобщений, в которых опять тонет это беспомощное существо.

Поэтому бессмысленно кричать, просить, звать на помощь, рассказывать о своих ощущениях, о своих судорожных днях.

У меня разбита голова. Железом. И я улыбаюсь мысли о том, что, очевидно, это первый этап познания подлинной жизни.

Мельчаю. Я знаю, что мелка, но еще более явственно знаю, что, сделав тот единственный шаг, который определил и закрепил бы отход от мелочности, я пришла бы в тот тупик, где вместо, казалось бы, обретенной цельности я неизбежно становлюсь жалкой и, следовательно, вдвое мельче.

Тут можно говорить яснее, но требуется ли это?

Человек не только волк другому, но он и тигр себе, после того, как его отдали на растерзание собственным мыслям, инстинктам, тоске. Потому что беда тех, координирующих начал, которыми были бог, мораль, этика, культура, даже традиция бытовая, — их нет. Они сломаны, как клетки, в которых веками сидели звери, теперь вышедшие в толпу, на человека. А мы делаем вид, что счастливы, потому что жаловаться теперь некому, потому что ты именно тот кузнец, ковавший счастье и опаливший душу железом на пороге к нему.

Как же ходить по земле? С этим ли циничным скепсисом в ладони (?) на все позорящие тебя встречи и явления про запас. Для самоуспокоения. Или, отшвырнув его ногой, как засохший коровий помет, — взять курс на ту дорогу, где, оставаясь тигром себе, ты не будешь волком другому. И не только не будешь волком, а еще в меру той сокровенной сердцевины, которая от подлинного «homoni», что-нибудь предотвратишь гибельное, чем-то ускоришь рождение яркое.

Пойдем этой дорогой.

Продолжение следует.

Подготовила к печати
и перевела с белорусского письма,
отмеченные звездочкой,
Татьяна Куварина.



ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

«Брак по расчету»

Когда 7 сентября 1941 года гитлеровские войска подошли к Ленинграду настолько близко, что стали досягаемы для корабельной артиллерии Балтийского флота, пушкари линкоров, крейсеров, эсминцев открыли по ним огонь. В их ряду находился и тяжелый крейсер «Петропавловск». Он еще не был достроен, поэтому не имел собственного хода, однако две его башни с четырьмя орудиями калибром 203 миллиметра и полным боезапасом были готовы к противоборству с противником. Открыв огонь 7 сентября, крейсер не прекращал стрельбу в течение одиннадцати суток. Но 17 сентября немцы приблизились на расстояние, равное всего трем километрам, и их тяжелые гаубицы начали с суши расстреливать «Петропавловск» почти прямой наводкой. Получив 53 пробоины и «заглотнув» сотни тонн воды, корабль сел на грунт.

Через год, когда ситуация на Ленинградском фронте несколько улучшилась, крейсер был поднят, отбуксирован к стенке судостроительного завода, отремонтирован и в декабре 1942 приступил к боевой работе в качестве плавучей батареи. Документально зафиксировано, что только во время прорыва блокады Ленинграда в январе 1944 года его пушки выпустили 1036 снарядов все того же калибра — 203 миллиметра. Но весьма существенно в истории этого корабля то, что и в 1941-м, и в 1943-м, и в 1944-м «Петропавловск» стрелял… по своим. Он сам, его пушки и снаряды были немецкими. Крейсер стал «Петропавловском» меньше чем за год до начала войны. А до этого имел название «Лютцов» и относился к классу наиболее современных тяжелых крейсеров того времени. Его водоизмещение составляло почти 14 тысяч тонн, длина — 200 метров, мощность силовой установки — 132 тысячи лошадиных сил, возможность автономного плавания — почти 12 тысяч километров. На вооружении крейсера была не только мощная артиллерия, но и три самолета.

Корабль был заложен 2 августа 1937 года на германской верфи «Дешимаг ФГ Вессер» и 1 июля 1939-го — спущен на воду. Таких судов для военно-морского флота рейха предполагалось построить пять. Но в строй вступило три. «Лютцов», готовый на семьдесят процентов, в 1940 году был продан Советскому Союзу за 106,5 миллиона золотых марок, и 31 мая германские буксиры подвели его к стене ленинградского завода № 189. Следом немцы отправляли оборудование, необходимое для достройки и довооружения крейсера, а также положенный боезапас. Ловчили, затягивали поставки, но все-таки отправляли. Таковы были условия сделки…

Как сказал еще лет сто назад адмирал Альфред фон Тирпиц, вряд ли найдется «в мировой истории пример большего ослепления, чем взаимное истребление русских и немцев, к тайному злорадству англосаксов». Однако в данном случае речь пойдет о другом, о том, что в XX веке русские и немцы не только воевали между собой, но и активно помогали готовиться к войнам. В том числе к вой-

нам друг с другом. Для немцев после Первой мировой войны толчком к такому сотрудничеству стал Версальский мир, которым закончилась та война. Он был написан под диктовку англичан и французов вкупе с американцами, и по его условиям Германия лишалась восьмой части своих территорий. На левом берегу Рейна устанавливалась демилитаризованная зона, в Кельне, Кобленце и Майнце — зоны оккупационные, угольные шахты в Саарском бассейне передавались в «полную и неограниченную собственность» Франции. Кроме того, Данциг превращался в «вольный город» и включался в таможенные границы Польши, судьбу Верхней Силезии и некоторых регионов Восточной Пруссии должны были решить плебисциты. У Германии изымались колонии. А главное, ее выставляли из клуба великих держав, и чтобы она не могла ничего исправить в будущем, ее вооруженные силы — рейхсвер — урезались до ста тысяч человек. Ей запрещалось иметь генштаб, военные учебные заведения, воинскую повинность, а также танки, подводные лодки, военную авиацию, тяжелую артиллерию.

Немцы, познакомившись с этими условиями, поняли, что они никогда с таким миром не согласятся. Понимали это и победители. В той же Франции устами маршала Фердинанда Фоша было сказано, что Версальский мир — вовсе даже не мир, а перемирие в войне, сделанное на двадцать лет. Надо полагать, Фош считал, что именно столько времени потребуется немцам, чтобы они могли вновь собраться с силами и начать отвоевывать отторгнутое. Уинстон Черчилль тоже полагал, что Первая мировая стала лишь началом тридцатилетнего периода европейских войн. И в современной Европе многие историки подчеркивают: немцы начали бы войну вне зависимости от того, пришел бы Гитлер к власти в Германии или нет. Они были настроены именно на реванш, и Гитлер — австриец по происхождению — просто «оказался в нужном месте и в нужное время».

Замыслив реванш, немцы вскоре пришли к выводу, что в восстановлении государственных сил — особенно военных — надо опереться на русских, которые после революции и гражданской войны тоже оказались в статусе мировых изгоев. Утверждают, что первым такую мысль высказал командующий рейхсвером генерал Х. фон Зект, которого в русскоязычных источниках чаще всего называют фон Сектом.

Русские, со своей стороны, выдержав интервенцию, исходили из того, что это их не оставят в покое. К окончанию гражданской войны дипломатические отношения с Советской Россией имели всего девять стран. Это Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша, Иран, Афганистан, Турция, Монголия. Пять из них — государства, образовавшиеся на осколках бывшей Российской империи, шестое — только что заявившая о себе Монголия, притом, заявившая при помощи Советов. Турция и Афганистан тоже при советском влиянии и содействии по-новому выстраивали свою государственность. Да и Иран был задет русской революцией, и на его берега с кораблей Каспийской флотилии высаживались красные матросы и солдаты. Все эти страны в какой-то мере вынуждены были вступить в дипломатические отношения с Советской Россией, чтобы подписать соответствующие соглашения и урегулировать проблемы в двусторонних отношениях. Та же Польша, возродившись в ноябре 1918 года, поначалу не шла ни на какие контакты с соседями к востоку от Западного Буга, давая понять, что не считает советские правительства легитимными, но затем все-таки вступила в переговоры и подписала Рижский мир. Однако старая Европа продолжала демонстрировать неприятие Советов, а в США те места на политических картах, на которых должна быть изображена Россия, просто закрашивались в белый цвет — как Ледовитый океан.

Фактически немцы и русские во многом оказались в схожей ситуации, а потому — и те, и другие — вынуждены были вооружаться. Первые — намереваясь вернуть утраченное, вторые — желая сохранить то, что есть. Постепенно в Берлине и в Москве пришли к выводу, что этим делом надо заниматься сообща, потому в июне 1922 года десятой страной, установившей дипломатические отношения с Советской Россией, стала Германия. Это произошло в итальянском

городке Рапалло. Подписал договор с немецкой стороны министр иностранных дел Вальтер Ратенау, на самом деле питавший, как утверждали близко знавшие его люди, «отвращение к русским методам управления и террора». Но интерес возобладал над чувствами, и заявлено было об этом как раз в дни международной конференции, на которой победители в Первой мировой войне собирались прописать дальнейшие правила поведения как для немцев, так и для русских. Притом, победители были абсолютно уверены, что русские с немцами вынуждены будут их принять. Потому, когда один из немецких дипломатов хотел по телефону предупредить англичан о готовящейся договоренности между Германией и Советской Россией в Рапалло, с ним не стали даже разговаривать, заявив, что их делегация то ли еще спит, то ли уже спит.

Подписание договора между двумя еще недавно воевавшими друг против друга государствами на многих тогда произвело шоковое впечатление. Главы делегаций девяти стран Антанты и ее союзников направили громкую резолюцию канцлеру Германии Вирту, в которой заявили, что его страна подписала акт, уничтожающий «дух взаимного доверия». Однако в подобных словах было немало лицемерия, поскольку подобный исход все-таки не стал абсолютно неожиданным для европейских политиков, а тем более для британского премьера Ллойд-Джорджа — одного из главных подписантов той резолюции. Всего за какой-то год до этого именно он не раз говорил, что открытая бесцеремонность по отношению к России при решении вопросов о ее границах, например, с Польшей, может подтолкнуть красных комиссаров «в объятия Германии».

Однако у того, что случилось в Рапалло, была и другая, даже более ранняя предыстория. Теперь уже известно, что сепаратные русско-германские переговоры с одобрения Николая II и при посредничестве Швеции и Швейцарии велись еще в 1916 году. Ради того договора Николай даже готов был отречься от престола в пользу сына Алексея при регентстве царицы. Из-за противодействия дипломатии и разведки Антанты, а также раскола в царской семье тогда подписать ничего не удалось, сообщает профессор Дипломатической академии МИД Российской Федерации В. Г. Сироткин, но обращает внимание на поразительные совпадения в проекте того несостоявшегося договора с Брест-Литовским договором от марта 1918 года. Похоже, что или большевики, или немцы взяли за основу уже «готовые наработки».

Не будет в этой связи лишним напомнить и о том, что даже если бы Германия не пошла на подписание соглашения в Рапалло, все равно Советская Россия вряд ли осталась бы наедине с собой и своими проблемами, включая оборонные. Многих прельщали перспективы заработать на этих проблемах и на российских сырьевых ресурсах. И если уж на то пошло, то «Лютцов» был не единственным кораблем, который во время Великой Отечественной войны «стрелял по своим» с советской стороны. Теперь уже известно, что еще до совместных военно-промышленных проектов с Германией Италия построила Советам два десятка военно-морских судов, в числе которых были эсминцы, миноносцы, подводные лодки, торпедные катера, сторожевики. Снабдив своими регалиями и командами, итальянцы даже перегнали их в советские черноморские порты. Эти-то корабли и стали основой возрождающегося Черноморского флота, ибо собственно русские военные и торговые суда — более 340 единиц — были уведены Врангелем в Средиземное море во время исхода белых войск из Крыма. После этого только на французской военно-морской базе в тунисской Бизерте было сосредоточено 52 русских военных корабля, в числе которых было три линкора, три крейсера, 12 эсминцев, шесть подводных лодок. Общая стоимость судов, уведенных с Черного моря, по подсчетам Наркомфина СССР в 1925 году, составляла 8 миллиардов 300 миллионов золотых рублей. Со временем они пошли на слом. А «итальянские» в 1941—1943 годах стреляли не только по немецким, румынским, но и по итальянским же войскам, наступавшим на Одессу и другие причерноморские города.

Сам по себе этот нюанс весьма важен вот каким обстоятельством. В нынешней Италии никому в голову не приходит обвинять свою страну, свою промышлен-

ность, своих бизнесменов в том, что они «помогали Сталину наращивать военную мощь», жертвами которой в 1941—1943 годах стали сотни тысяч итальянских солдат и офицеров, оказавшихся под Сталинградом, Воронежем и других местах, убитых, раненых, попавших в плен. Между тем, в российской и белорусской печати довольно часто можно встретить утверждения, что гитлеровский меч ковался в СССР, притом, чуть ли не под личным наблюдением вождя, что трактуется как несмываемый позор для страны и народа. Однако за этим скрывается или незнание реальных фактов, или нежелание вникнуть в истинные причины возникшего взаимодействия недавних противников. К тому сотрудничеству привела отнюдь не «внезапно вспыхнувшая любовь», а конкретные политические и экономические интересы. Что касается военной стороны дела, то подлинные мотивы заключались в том, что Германии нужно было во что бы то ни стало сохранить военные кадры, военную мысль, военные разработки, чтобы при удобном стечении обстоятельств сразу же все поставить на службу новым задачам. Притом, делать это надо было в глубокой тайне, а соблюсти секретность легче всего было как раз в Советской России, с которой пока мало кто хотел иметь дело и которая ввиду чрезвычайной разрухи казалась негодной для любых совместных действий, особенно в тех сферах, где требовались передовые знания и немалые средства.

Советской России, в свою очередь, тоже нужно было спасать армию. После сокращения и перевода на милиционные основы, последовавшего за гражданской войной, она находилась в полуразобранном состоянии. И помочь могли только немцы, сами решавшие подобные задачи. При этом большевики были уверены, что жаждавшие реванша и освобождения от пресса Антанты немецкие политики и генералы деньги в любом случае найдут, как откровенно писал Красин, «хотя бы, например, утаив известную сумму при уплате многомиллиардной контрибуции той же Франции». А поскольку военно-промышленный комплекс в любой стране и во все времена являлся и является основным звеном всего промышленного хозяйства, то его реанимация и развитие сулили улучшение дел экономике Советской России в целом. В таком случае уже и она нашла бы средства на размещение соответствующих заказов в Германии, что в свою очередь способствовало бы развитию немецкой промышленности. Немцы учли и это, отчетливо осознавая, что даже разоренная войной и революцией Россия обладает огромными ресурсами, особенно сырьевыми, в которых тоже остро нуждались германские предприятия.

Впоследствии так и получилось. Каждая из сторон довольно успешно решала собственные задачи. В начале тридцатых годов «Германия возглавила список импортеров «из» и экспортеров «в» Советский Союз — на ее долю пришлось 50 процентов сумм экспорта и импорта», отмечал в своих мемуарах, вспоминая о том времени, немецкий посол Герберт фон Дирксен. При этом он, не скрывая гордости, добавлял: «Это стало для меня источником радости — посещать многочисленные промышленные предприятия Рура и повсюду видеть огромные ящики и упаковочные клети, предназначенные для отправки в Москву, Ленинград и другие города России. Эти заказы позволяли загрузить мощности значительной части предприятий Рура».

Но можно не сомневаться, что такую же радость, получая те «огромные ящики и упаковочные клети», испытывали и на советской стороне. Через десяток лет на широкие возможности советского рынка «клюнули» и американцы, но для этого им понадобился Ф. Рузвельт, которому довелось вытаскивать свою страну из Великой депрессии. Немцы сообразили раньше, притом, их не испугало даже то, что поначалу для достижения собственных целей им фактически пришлось принять участие в восстановлении «русской военной промышленности в размерах, достаточных для выполнения намеченной программы», для которой «специальный трест… формально создавало Советское правительство, но необходимые средства фактически соглашалась выделить германская сторона». А именно так об этом говорилось в письме советского представителя в Германии В. Л. Коп-

па на имя Г. В. Чичерина — наркома иностранных дел РСФСР, датированном июнем 1921 года. Потом эти немецкие траты были значительными. Уже в июле 1926 года Дирксен зафиксировал: мы инвестировали в военную промышленность 75 миллионов марок. Но поскольку в Германии военная промышленность была под запретом, то нетрудно понять, что инвестирование в индустрию, о котором говорит Дирксен, производилось в России.

При этом нельзя не вспомнить, что в самой Германии, в ее высших политических и промышленных кругах, время от времени возникали споры: правильно ли делают немцы, помогая создать собственную промышленность, приумножать ресурсы той стране, которая может стать их опасным соперником, не пропадут ли их кредиты в золотом исчислении. Герберт фон Дирксен всем отвечал так: «Россия в любом случае станет индустриальной страной». На него производили огромное впечатление «безграничная энергия и целеустремленность советских руководителей». В случае отказа Германии от сотрудничества «промышленники из стран-конкурентов ухватятся за такую возможность…» Так потом и произошло. Когда после прихода к власти нацистов во главе с Гитлером СССР свернул очень многие совместные проекты, а товарооборот с Германией уменьшился с 1 миллиарда 65,8 миллионов марок в 1931 году до 182 миллионов марок в 1937-м, на смену немцам пришли американцы, торговля с которыми даже превысила «советско-немецкие» суммы.

Так уж получилось, но в белорусской и российской прессе почти все, что касается взаимодействия СССР и Германии в межвоенное время, особенно советских и немецких военных, очень часто не только подвергается безусловному осуждению, но и сопровождается откровенными выдумками. Некоторые уже договорились до того, что совместный парад советских и немецких войск в сентябре 1939 года состоялся не только в Бресте, а и в Пинске, хотя в Пинске, отстоящем от Бреста почти на двести километров, немцев в то время даже не было. Совсем недавно довелось прочитать, что были такие парады в Гродно и Львове, что также не соответствует действительности. Образно говоря, с теми парадами получается то же, что и с бревном, которое на субботнике нес В. И. Ленин: с годами становилось все больше тех, кто ему помогал.

Довольно часто можно встретить утверждения, гласящие, что именно в Советском Союзе подготовлены чуть ли не все авиационные и танковые асы вермахта, что даже Гейнц Гудериан — один из самых знаменитых гитлеровских полководцев, теоретик новых методов ведения военных действий с участием танков — оказывается, научился этому в советской танковой школе под Казанью. Выходит, что бить русских Гудериан учился в России, а перед нападением на СССР его танкисты изрядно потрепали англичан, французов, поляков, югославов, греков.

На том, кто у кого учился воевать, стоит остановиться поподробнее, тем более что реальные факты куда интереснее выдумок. Танковая школа, в которой обучались военнослужащие рейхсвера, на переломе двадцатых и тридцатых годов уже прошлого века под Казанью действительно существовала. Притом, существовала на немецкие деньги. Но Гудериан в ней не учился. Летом 1932 года он, к тому времени уже подполковник, посещал ее вместе с генералом О. Лутцем во время инспекционной поездки. Тогда они присутствовали на тактических занятиях с использованием трех танковых взводов РККА, а всего в тех занятиях, как пишет дипломат Сергей Горлов, специализирующийся на истории советско-германских отношений в период между двумя мировыми войнами, участвовало до ста человек. Некоторые источники указывают также, что во время той поездки Гудериан даже прочитал лекцию для курсантов школы. А еще Сергей Горлов уточняет, что знаменитый немецкий танкист приезжал в СССР дважды. В мае 1933 года в составе делегации во главе с начальником управления вооружений рейхсвера А. фон Боккельбергом он еще осматривал и оценивал, в чем можно не сомневаться, тракторное и танковое производство в Харькове.

В то же время Горлов приводит и другие данные. Танковая школа «Казань», в которой обучались немецкие военные, действовала с 1929-го по 1933 год, и

закончило ее всего тридцать представителей рейхсвера, так как одновременно в ней не могло обучаться более двенадцати человек. В 1930 году было выпущено 10 немецких офицеров, в 1932-м — 11, в 1933-м — 9. В 1931 году выпуска не было. Некоторые из тех выпускников впоследствии стали генералами, а во время Второй мировой войны воевали на Восточном фронте — то есть против СССР. Среди них — два начальника той школы, Л. Р. фон Радльмайер и Ю. Харпе. Впрочем, Ю. Харпе до генерала оставалось всего ничего — он был уже полковником.

Но в книге С. Горлова «Совершенно секретно. Альянс Москва—Берлин, 1920—1933 гг.» есть и еще более интересные сведения. За это же время, пишет он, в школе «прошло обучение 65 советских офицеров. Это были строевые командиры танковых и мотомеханизированных частей РККА, преподаватели бронетанковых вузов и инженеры (танкисты, артиллеристы, радисты)… Москва, учитывая важность непосредственного соприкосновения с иностранным опытом, старалась пропустить через школу максимальное количество курсантов».

И из тех 65 советских офицеров многие тоже стали классными командирами. Например, Герой Советского Союза С. М. Кривошеин. Генерал-лейтенанта Кривошеина чаще всего вспоминают в связи с тем, что на злополучном параде в Бресте он встречался с тем же Гейнцем Гудерианом, вел с ним переговоры и даже жал ему руку. Кстати, в своих воспоминаниях советский военачальник написал, что то прохождение советских и немецких частей вряд ли можно назвать полноценным парадом. Кривошеин, в то время командовавший танковой бригадой, на переговорах с Гудерианом предложил следующую процедуру: «В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город… Оркестры исполняют военные марши». Г. Гудериан, поначалу настаивавший на полноценном параде с предварительным построением войск на площади, вынужден был согласиться на такой вариант, «оговорив, однако, что он вместе со мной будет стоять на трибуне и приветствовать проходящие части». Кстати, разговаривали Кривошеин и Гудериан по-французски.

Пусть теперь историки спорят, был это парад или какое-то иное шествие, но без рукопожатий между Кривошеиным и Гудерианом, в самом деле, тогда не обошлось. Однако совершенно упускается то, что во время Великой Отечественной войны Семен Моисеевич тоже был одним из опытнейших и авторитетнейших советских танковых полководцев: без его механизированного корпуса не обошлась ни одна крупная битва — ни Курская дуга, ни операция «Багратион», ни Висло-Одерская, ни Берлинская операции. А в Бресте Кривошеин побывал как минимум дважды: в 1944 году его части уже выбивали гитлеровцев из этого города над Бугом.

Впрочем, стоит напомнить, что в тридцать девятом тоже были не только рукопожатия. У деревни Видомля Каменецкого района 23 сентября разъезд разведбатальона 8-й стрелковой дивизии Красной Армии столкнулся с шестью немецкими танками и был обстрелян из пулеметов. Двое красноармейцев были убиты, двое ранены. А далее, как свидетельствуют документы, «в ответ на это из бронемашин был открыт огонь по германским танкам, ответным огнем был разбит один германский танк и уничтожен экипаж, после чего со стороны германских войск была выпущена красная ракета…» Вполне возможно, уже тогда бойцы Кривошеина продемонстрировали успешное использование знаний, полученные их командиром от немецких наставников в танковой школе «Казань».

С. Горлов в этой связи уточняет, что для занятий с советскими слушателями из Германии были специально приглашены пять преподавателей… Москва упорно добивалась от Берлина самых свежих знаний в этой сфере и самых новых образцов военного оборудования. Маршал Ворошилов, беседуя с начальником генштаба германского рейхсфера генералом В. Адамом 9 ноября 1932 года, попросту требовал: «Я не могу поверить, что у вас нет большего…»

Особенно интересовала русских новейшая материальная часть. Ее они внимательно изучали, притом, не без последствий для собственного производства

бронетехники и вооружений. На советских танках в результате «были применены элементы немецких конструкций (подвеска, сварные корпуса, внутреннее размещение экипажа, стробоскоп и наблюдательные купола, перископические прицелы, спаренные пулеметы, электрооборудование башен средних танков, радиооборудование, а также технические условия проектирования и постройки)». Более того, «немецкая методика обучения стрелковому делу танкиста была использована при разработке «Руководства по стрелковой подготовке танковых частей РККА». Не ее ли положения использовались уже в стычке под Видомлей? А еще, как указывают историки, на базе полученного опыта к «теории глубокой операции» Триандафиллова[1] было добавлено «использование подразделений средних и тяжелых танков для решения самостоятельных боевых задач».

Кроме того, «после серии теоретических изысканий и испытаний в марте 1932 г. было решено создать мехкорпуса» в Красной Армии, что было настоящим прорывом в теории военного искусства.

Однако танковая школа в Казани не была первым и единственным совместным учебным центром на территории СССР. Первым стала авиационная школа в Липецке, созданная тоже на немецкие средства. В ней с 1925-го по 1933 год прошли подготовку 120 немецких летчиков и около сотни летчиков-наблюдателей, как тогда называли штурманов. С 1929 года в той школе «упор был сделан на испытание в Липецке новой техники». При этом тоже «на учебных курсах обучались советские летчики и наземный техперсонал советских ВВС».

Сергей Горлов говорит, что «итоговую картину относительно подготовки летного и технического состава для советских ВВС в Липецке составить сложно, хотя можно однозначно сказать, что научились у немцев в авиационном деле многому. Достаточно упомянуть, что советские летчики обучались на основе наставлений и инструкций, разработанных в Липецке». Речь идет об учебе во всех советских авиационных училищах. Более того, советская сторона организовала в Липецке «рабочие группы из своих летчиков и инженеров-самолетостроителей, которые теперь уже на постоянной основе подробно знакомились с работами германских специалистов. Появились там и ведущие специалисты ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). Они участвовали во всех технических испытаниях немцев…»

О многом говорит и еще одна красноречивая цитата: «Советская сторона тоже устраивала показ своей авиационной техники и вооружений (например, авиационный пулемет Дегтярева в июле 1930 г.), но лишь в сентябре 1931 года в Тушине под Москвой была устроена широкая демонстрация советской авиатехники. Правда, по мнению немецких участников (Ф. Фельми, Х. Шпайдель, К. Друм, В. Виммер), это были в основном устаревшие модели. И хотя советские авиаконструкторы занимались разработкой новых типов самолетов (например, АНТ-14, АНТ-20, ТБ-1, ТБ-3, ТБ-4), немцам их старались не показывать».

Было также германо-советское сотрудничество в сфере производства и применения отравляющих веществ, центром которого стал полигон «Томка». В ходе него советские специалисты, «соприкоснувшись на практике с более высокой технической подготовкой немецких специалистов, в короткие сроки научились весьма многому». Но главный вывод о ценности «химического» сотрудничества содержится в следующей фразе С. Горлова: «К началу Второй мировой войны германская армия имела хорошо подготовленные, структурированные и вооруженные химвойска (моторизованные химические минометные полки, тяжелые артиллерийские дивизионы, батальоны, подразделения огнеметных танков). Словом, вермахт был готов к ведению крупномасштабной войны с широким использованием химического оружия. Однако Гитлер так и не решился применить его в ходе Второй мировой войны даже в самых критических для Германии ситуациях на восточном фронте. Гитлера, скорее всего, удержало от этого то обстоятель-

[1] Триандафиллов Владимир Кириакович — советский военный стратег. — *Прим. ред.*

ство, что он был хорошо осведомлен о неотвратимости ответных химических ударов по районам Германии».

В принципе трудно назвать направления, по которым никакого сотрудничества не было, потому что реестр двусторонних проектов включал и производство зенитных орудий, взрывателей, минометов, пулеметов, снарядов для полевой артиллерии, и предоставление лицензий для серийного производства военной продукции в СССР, и направление на советские предприятия немецких инженеров. Сам за себя говорит перечень германских фирм, которые в этом участвовали: «Крупп», «Рейнметалл», «Сименс и Хальке», «ИГ-Фарбен-Гезельшафт», «К. Цейс», «Вальтер», «Даймлер-Бенц», «Маузер», «Юнкерс», «Хейнкель».

Осуществлялось взаимодействие между военно-морскими флотами, проводился обмен разведывательными данными, были взаимные поездки командиров на полевые, тактические занятия и военные маневры, на основе немецкого опыта издавались специальные наставления, касающиеся работы штабов, тактического применения военной техники, летней учебы войск, военных игр, пулеметной и артиллерийской подготовки, устройства тыла. В июне 1931 года в своем отчете Реввоенсовету начальник Штаба РККА А. И. Егоров прямо констатировал, что план работы Военной академии на предстоящий учебный год «построен на учете опыта и позаимствован у Германской Военной академии».

В том же году немецкий военный атташе Германии в СССР докладывал генералу Зекту, что последствия сотрудничества «повсеместно видны в Красной Армии». В 1935 году его характеристика проведенных в СССР военных маневров была еще более впечатляющей: «Мы можем быть довольны столь высокой оценкой маневров. Их командиры и руководители — это наши ученики». А генерал Шпейдель еще до этого констатировал, что красные командиры в своем прилежании нередко превосходили немецких коллег на совместных курсах.

Весьма важное значение имело и обучение советских инженеров на германских предприятиях. Многие из них вскоре становились крупными руководителями у себя на родине. Например, И. Ф. Тевосян был назначен заместителем наркома оборонной, затем наркомом судостроительной промышленности, потом руководил наркоматами — черной металлургии, металлургической промышленности.

Нынешние аналитики о важности для СССР военно-технического сотрудничества с Германией говорят так:

— во-первых, во многом благодаря именно германской помощи на переломе двадцатых и тридцатых годов была в общем успешно проведена начатая в 1925 году военная реформа;

— во-вторых, благодаря советско-германскому военному сотрудничеству были заложены основы военно-промышленного комплекса СССР. И напоминают, что известный ныне подмосковный завод имени Хруничева, производящий ракетную технику, начинался с завода, построенного фирмой «Юнкерс». И вся советская авиационная промышленность в значительной степени была обязана концессиям, предоставленным «Юнкерсу» советской стороной;

— в-третьих, материальные и кадровые резервы, созданные с помощью немцев и во многом на немецкие деньги, помогли выдержать жесточайшие испытания во время войны;

— в-четвертых, подчеркивает тот же С. Горлов, военно-промышленный аспект сотрудничества положительным образом сказался ***на развитии всей советской экономики.***

В то же время нельзя не сказать и о том, что это сотрудничество далеко не всегда шло гладко. На его пути нередко вставали идеологические противоречия. В 1923 году Советский Союз почти открыто поддержал революционные выступления в Гамбурге и других местах Германии. Не обходилось без утечек различной информации в европейскую прессу и даже покушений на немецких дипломатов. Потому от подписания договора в Рапалло до открытия первой школы в Липецке прошло пять лет.

Идеологические противоречия стали основной причиной прекращения военно-технического сотрудничества в 1933 году. Инициатива однозначно принадлежала Москве, как тогда говорили, «РККА показала рейхсферу на дверь». Но это была уже другая РККА. Германский военный атташе в СССР Гартман 27 марта 1933 года докладывал в Берлин, что «Красная Армия в состоянии вести оборонительную войну против любого противника…»

Пауза продолжалась до 23 августа 1939 года, когда был заключен пакт Риббентропа—Молотова. К тому времени рейхсвер стал называться вермахтом, но это деталь не столь уж существенная. Куда важнее выяснить, с какой стати тот пакт вдруг стал возможен, почему вокруг него до сих пор ломается столько копий и чем новое сотрудничество отличалось (или не отличалось?!) от предыдущего.

Можно не сомневаться, что в корне ситуацию в Европе изменило соглашение, подписанное ведущими европейскими странами с Гитлером в Мюнхене в сентябре 1938 года. По своей постыдности оно являлось беспримерным. Французский премьер Эдуард Даладье тогда признавался, что «чувствовал себя Иудой». Он даже сообщил членам своей делегации, что не в силах лицом к лицу встретиться с чешскими представителями, ожидавшими в приемной. Характерны в этом смысле и оценки, данные генеральным секретарем французского МИДа Алексисом Леже. После всего, что случилось, он возвращался в отель вместе с помощником военно-воздушного атташе Полем Стеленном. Стеленн тоже понимал трагичность происшедшего, но, тем не менее, сказал: «Все равно это соглашение является облегчением». Леже ответил: «О конечно, облегчение! Как будто свой кишечник опорожнил в свои же штаны».

Вскоре Леже, который выступал против сдачи Чехословакии, был уволен со своего поста и уехал в США. Однако он был не только дипломатом, но и весьма талантливым поэтом, выступавшим под псевдонимом Сен-Жон Перс. В 1960 году был удостоен Нобелевской премии в области литературы. Британский мемуарист Л. Мосли в книге «Утраченное время» констатировал: история подтвердила, что Леже употребил верную аналогию для характеристики Мюнхенского договора. Но Мюнхен стал последним пунктом в дипломатической карьере Леже. А еще можно с уверенностью говорить, что Мюнхен стал тем пунктом, после которого скатывание Европы к войне стало необратимым. Как писал польский военный историк Ян Цялович, именно после этого договора в европейских столицах принимались уже совершенно другие решения.

Никаких сомнений в Мюнхене не испытывал разве что британский премьер Чемберлен, который откровенно зевал, когда представителям Чехословакии зачитывали содержание подписанного соглашения, и, «казалось, слышал очень немногое из того, что говорили» в ответ чехословацкие дипломаты Маетны и Масаржик. Вот одно из характерных суждений британских политиков: «Если понадобятся оправдания перед определенными кругами, расценивающими это как постыдную капитуляцию перед германскими угрозами, то это можно объяснить нашей постоянной приверженностью принципу самоопределения наций». Дипломата, произносящего эти слова, совсем не смущало то, что Британия, являясь крупнейшей колониальной империей, как раз и мешала самоопределению десятков наций. Через полгода, когда Гитлер оккупировал и урезанную Чехию, которой Англия тоже давала гарантии, Чемберлен без тени смущения заявил: гарантии не имеют значения, так как исчезло государство, которому они давались. Ни слова, ни подписи для него не представляли никакой ценности, главная цель состояла в том, чтобы направить военную опасность на других.

Больше всего соглашение в Мюнхене изменило положение вещей для СССР. И тоже по инициативе англичан, ведь, как свидетельствуют британские мемуаристы, именно премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен «принял решение исключить Россию из числа участников Мюнхенской конференции». Когда чехословацкий посланник в Лондоне Ян Масарик напомнил лорду Галифаксу —

главному человеку в британском МИДе, что СССР «тоже имеет договор с моей страной», тот цинично ответил: «Пригласить Россию не было времени».

По сути, Чемберлен и те, кто за ним стоял, решили бесцеремонно вытолкнуть теперь уже СССР из клуба великих держав, подвергнуть его недвусмысленной изоляции, тем самым указав Гитлеру: вот цель для твоих амбиций, этим никто не поможет. Советский Союз оказывался в той же ситуации, что и в самом начале двадцатых годов, когда рассчитывать приходилось только на себя. Сталину не составляло особого труда понять, что его грубо провели. Все его дальнейшие попытки «предложить свои услуги» той же Чехословакии, а также Польше, когда весной 1939 года возникла угроза уже над ней, лишь подтверждали этот вывод, так как отвергались с порога.

Последней каплей, скорее всего, стал приезд в августе 1939 года на переговоры в Москву делегации во главе с адмиралом Драксом, не имеющей полномочий на подписание каких-либо соглашений. На вопрос маршала Ворошилова, почему так получилось, был дан бесцеремонный ответ: «Если бы переговоры проходили в Лондоне, у нас были бы полномочия». Как пишут некоторые мемуаристы, тогда Ворошилов съязвил: «Так может, мне сбегать в Лондон?» Кстати, в Москву делегация Дракса откровенно не спешила, предпочтя для поездки не самолет, а неспешный теплоход.

В Москве уже не могли не почувствовать, что их водят за нос. Становилось все очевидней, что Англия ведет свою собственную игру, в которой никто и ничто не имеет цены, кроме самой Англии и ее собственных интересов. Как метко выразился кто-то из историков, во все времена перед тем, как вступить в войну, Великобритания сначала искала союзников, которыми можно будет пожертвовать. На подступах к Второй мировой ими стали сначала Чехословакия, затем Польша, но, похоже, этого было мало, нужна была жертва в виде очень большого куска, которым Гитлер или насытился бы, или подавился. Таким куском должен был стать Советский Союз.

О том, что правительство Великобритании вело дело к еще одному сговору с Гитлером, теперь известно по свидетельствам политиков, которых невозможно опровергнуть. Одним из них опять является Герберт фон Дирксен, который в межвоенное время поочередно возглавлял дипломатические миссии в Варшаве, Москве, Токио, Лондоне. Его мемуары в 2001 году вышли в одном из московских издательств. Они заканчиваются публикацией целой «связки» документов, касающихся августа 1939 года и подтверждающих, что в Москву Лондон направлял делегацию для отвода глаз.

В своем донесении германскому МИДу Дирксен писал 1 августа 1939 года: «…К продолжению переговоров о пакте с Россией, несмотря на посылку военной миссии, — или, вернее, благодаря этому, — здесь относятся скептически. Об этом свидетельствует состав английской военной миссии: адмирал, до настоящего времени комендант Портсмута, практически находится в отставке и никогда не состоял в штабе адмиралтейства; генерал — точно так же простой строевой офицер; генерал авиации — выдающийся летчик и преподаватель летного искусства, но не стратег. Это свидетельствует о том, что военная миссия имеет своей задачей скорее установить боеспособность Советской Армии, чем заключить оперативные соглашения…»

Затягивание в действиях было налицо, и советскому руководству надо было искать ему логичное объяснение. А оно могло состоять только в одном: Альбион, который издавна принято называть не только туманным, но и коварным, скорее всего, что-то готовит, чтобы вскоре поставить перед фактом весь мир. И надеяться, что в том «факте» будут учтены интересы СССР, оснований не было. Не позволял предыдущий опыт, в том числе и совсем свежий. Рассчитывать нужно было только на себя.

А основные усилия Лондона действительно были сконцентрированы совершенно на другом. Убедившись в этом лично, Дирксен через два дня — 3 августа — направил в свой МИД еще более красноречивое донесение: отчет о беседе

с сэром Горацием Вильсоном, которого называли вторым лицом в правительстве Чемберлена, без консультаций с которым премьер-министр серьезных решений не принимал. Вильсон предложил германскому послу британо-германские переговоры о заключении двустороннего договора о ненападении. Именно двустороннего, поскольку «привлечение Франции и Италии имело в беседе только подчиненное значение». Затем должно было последовать заявление о «совместных действиях по улучшению мирового экономического положения», переговоры о развитии внешней торговли, об экономических интересах Германии на юго-востоке, о сырье, о колониях. По сути, это было предложение о разделе сфер влияния: англо-американскую на западе и германскую — на востоке. Как уточняет в этой связи российский историк Г. Л. Розанов, «в случае согласия на эту «политическую комбинацию» банкиры лондонского Сити готовы были предоставить Германии колоссальный заем — 1 миллиард ф. ст.».

Есть основания полагать, что сформулированное предложение не было внезапной инициативой и что для Гитлера оно тоже не стало неожиданностью. Оно ведь соответствовало тому, что за год до этого министр иностранных дел Британии лорд Галифакс сказал адъютанту Гитлера Видеману: «Передайте ему (фюреру), я надеюсь дожить до момента, когда осуществится главная цель моих усилий: увидеть Адольфа Гитлера с королем Англии на балконе Букингемского дворца!» Это Галифакс сформулировал «основной подход» к Чехословакии осенью 1938 года: «Не надо выстрелов — душите их».

Далее посол сообщал о деталях не менее интимного политического характера: в Лондоне преобладает мнение, что «возникшие в последние месяцы связи с другими государствами… отпадут, как только будет достигнута единственно важная и достойная усилий цель — соглашение с Германией». А «сокровенный план английского правительства» состоял в том, что оно «начисто освободило бы британское правительство от принятых им на себя обязательств в отношении Польши, Турции и т. д.». В случае соглашения с Германией, напоминает Г. Л. Розанов, Англия готова была оказать воздействие на Францию «в том смысле, чтобы она уничтожила свой союз с Советской Россией и свои обязательства в Юго-Восточной Европе». Вильсон подчеркнул Дирксену, что предложенная программа переговоров рассматривается британской стороной как официальный зондаж немецкой позиции. А еще он очень просил о сохранении тайны, ибо если «что-то станет известно, то произойдет грандиозный скандал, и Чемберлен, вероятно, будет вынужден уйти в отставку».

Однако, похоже, именно эта осторожность и не устроила Гитлера. Скорее всего, у него уже не было времени на то, чтобы думать еще и о спасении репутации Чемберлена. Механизм нападения на Польшу — план «Вайс» — был запущен, к концу августа должны были заговорить пушки. В этой ситуации фюреру надо было обезопасить хотя бы один из военно-политических флангов, а какой — западный или восточный, особого значения уже не имело. И тогда он направил Сталину послание с предложением принять Риббентропа.

То, что Сталин сразу же согласился, свидетельствует, что он уже хорошо чувствовал ситуацию, потому без колебаний принял решение «кинуть» тех, кто годом раньше кинул его. На сей раз всех скопом. При этом судьба Польши для него имела не большее значение, чем для Англии, Франции и той же Польши судьба Чехословакии в Мюнхене. В расчет брались только интересы СССР, что вполне соответствовало и английскому принципу — урок пошел впрок. На этот раз уже Сталин обошел Чемберлена. Если бы Чемберлен еще раз обставил Сталина, на стороне Гитлера оказалась бы и Великобритания, и Франция, которая, несомненно, присоединилась бы к своей старшей политической патронессе. Советский Союз в результате остался бы наедине с полностью объединенной Гитлером Европой, на стороне которой, скорее всего, оказались бы и США — ведь год назад Ф. Д. Рузвельт поздравлял Чемберлена с успехом в Мюнхене.

О том, что Сталин почувствовал торопливость Гитлера, свидетельствует еще один существенный нюанс: условия экономического и военно-технического сотрудничества СССР с Германией после пакта Риббентропа—Молотова были сформулированы именно советской стороной. В современной прессе из многих публикаций на эту тему следует, что Советский Союз перед войной чуть ли не бесплатно кормил Гитлера и его армию, позволяя ему наращивать военные мускулы, притом, эшелоны в Германию пошли едва ли не сразу после подписания пакта. Однако реальная картина была совершенно другой.

Во-первых, подписание хозяйственного соглашения между СССР и Германией состоялось только 11 февраля 1940 года. Все это время шли переговоры, которые были очень даже непростыми. Во-вторых, еще до пакта Риббентропа—Молотова — 19 августа 1939 года — было подписано кредитное соглашение, согласно которому Германия предоставляла СССР 200 миллионов марок кредита и брала на себя обязательство поставить в СССР не только станки и другое промышленное оборудование, но военную технику. В-третьих, сама Германия в самом деле очень нуждалась в импорте советского сырья и продовольствия, особенно после начала Второй мировой войны и англо-французских действий по экономической блокаде рейха. А опыт двадцатых годов напоминал ей, что СССР располагает всем необходимым. Весьма существенным было и то обстоятельство, что никакие блокирующие меры советским поставкам в рейх помешать не могут, поскольку существовала общая граница. В этой связи хозяйственное соглашение приобретало для Германии не только экономический, но и политический характер, поскольку, заключив его, той же Великобритании можно было сказать, что ее усилия организовать торговую блокаду напрасны. Правда, Германия оказывалась в роли просителя.

В СССР это понимали и не упустили возможности продиктовать условия, тоже используя опыт двадцатых годов. Советское руководство подчеркивало, что оно готово согласиться на поставки нужных Германии товаров только в том случае, если взамен сможет закупать заводское оборудование. Более того, весомую часть закупок должны составлять образцы новейшей военной техники. Многие послевоенные немецкие историки — Д. Айххольц, Х. Перрей — прямо пишут, что «Сталин… намеревался извлечь еще большую выгоду… и заставить военную экономику Германии в значительной степени работать на СССР», что он тоже вел дело к форсированному наращиванию вооружений с помощью «целенаправленного освоения германской технологии».

Военная техника и технологии и стали главным камнем преткновения на переговорах. Поскольку немцы считали договоры от 23 августа и 28 сентября более выгодными для СССР, чем для Германии, то настаивали на том, что Советский Союз должен приступить к поставкам незамедлительно. При этом они выставили план закупок, рассчитанный на 1 миллиард 300 миллионов марок в год. Их пыл сразу же охладил нарком внешней торговли А. И. Микоян, заявивший, что советские поставки не превысят максимального объема прошлых лет, т. е. 470 миллионов марок.

Как подчеркивает один из исследователей этой проблемы историк В. Я. Сиполс, эта цифра имела и политическое значение, ибо не давала повода для упреков со стороны той же Англии, Франции, США в адрес Советского Союза. Мировая политическая практика тех лет не считала предосудительным сохранение с воюющей страной торговых отношений на прежнем уровне. Тот же Вашингтон именно так поступал в отношении Италии и Японии, воевавших против Эфиопии и Китая. А вот увеличение оборота резко осуждалось.

В то же время нельзя не напомнить и о том, что Англия и Франция, вступившие в войну с Германией, по существу, прекратили выполнение советских заказов. Подобную позицию заняли и США. В этой связи В. Я. Сиполс справедливо подчеркивает, что «эти страны фактически сами толкали советское правительство на расширение торговли с Германией». И здесь повторялась ситуация начала двадцатых годов.

Переговоры шли трудно, поскольку каждая сторона хотела получить от контрагента по максимуму. Первый их этап закончился безрезультатно. В конце октября 1939 года в Германию отправилась советская делегация во главе с наркомом судостроения И. Ф. Тевосяном и его заместителем генералом Г. К. Савченко, в компетенции которого были закупки именно для советских вооруженных сил. Делегация интересовалась военными новинками и сложными станками для производства военных материалов. И. Ф. Тевосян в беседах с немцами, которые настаивали на ускорении советских поставок, не скрывал: «Нашей задачей является получить от Германии новейшие усовершенствованные образцы вооружения и оборудования. Старые типы вооружений покупать не будем. Германское правительство должно показать нам все новое, что есть в области вооружения, и пока мы не убедимся в этом, мы не можем дать согласия на эти поставки».

Дело дошло до Гитлера. Тот разрешил показывать новую технику, уже поступившую в войска, но не допускать к образцам, находившимся в стадии испытаний. Тевосяна это тоже не удовлетворило. Подписание торгового соглашения тормозилось. Гитлер и Геринг снова пошли на уступки, но в то же время немцы стали запрашивать заведомо завышенные цены, чтобы этим отбить у русских интерес к новинкам. В некоторых случаях цены завышались в 15 раз. В ответ А. И. Микоян 15 декабря 1939 года заявил германскому послу Ф. Шуленбургу, что попытки содрать с русских три шкуры безуспешны. Вопрос был поставлен ребром: соглашение зависит главным образом от того, готова или не готова немецкая сторона поставить интересующие советскую сторону военные материалы, все остальные — второстепенны. В результате, пишет Д. Айххольц, Гитлер «вынужден был уступить ультимативным требованиям Москвы» и согласиться «даже на такие поставки военной техники, которые означали ограничение германской программы наращивания вооружений».

Лишь после того, как в начале февраля 1940 года в Москве было получено письмо Риббентропа о том, что Германия готова поставлять военные материалы, а также предоставить «технический опыт в военной области», советская сторона назвала свои конкретные предложения, касающиеся содержания соглашения. Немцы сразу их приняли. Соглашение было подписано 11 февраля. СССР брал обязательство поставить товары на сумму 430 миллионов марок за 12 месяцев, Германия — военные материалы и промышленное оборудование на ту же сумму — за 15 месяцев.

Разбежка в три месяца объяснялась тем, что немцам требовалось время для производства того, что заказывалось русскими, а русские многое могли отправить из государственных запасов. Но зато СССР зарезервировал за собой право остановить поставки, если немецкое отставание превысит 20 процентов. Первая остановка поставок в Германию нефти и зерна была сделана 1 апреля 1940 года и сразу же возымела действие. Уже в том самом апреле германский экспорт в СССР по сравнению с мартом возрос в три раза, в мае удвоился апрельский объем, в июне — майский.

По данным на конец мая 1941-го, за полтора предыдущих года Германия импортировала из СССР 1 миллион тонн нефтепродуктов, 1,6 миллиона тонн зерна — в основном кормового, 111 тысяч тонн хлопка, 36 тысяч тонн жмыха, 10 тысяч тонн льна, 1,8 тысяч тонн никеля, 185 тысяч тонн марганцевой руды, 23 тысячи тонн хромовой руды, 214 тысяч тонн фосфатов, некоторое количество древесины и другие товары на общую сумму 310 миллионов марок. Цифра, зафиксированная в хозяйственном соглашении, достигнута не была.

Перечисление того, что СССР приобрел у Германии, занимает куда больше места. Основную часть немецких поставок составило оборудование для заводов, притом, зачастую это были предприятия в комплекте: никелевые, свинцовые, медеплавильные, химические, цементные, сталеплавильные заводы. Было закуплено значительное количество оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности, рудников, в том числе буровые станки и около сотни экскаваторов,

а также три грузопассажирских судна, танкер на 12 тысяч тонн, железо, сталь, стальной трос, канатная проволока, дюралюминий, каменный уголь. Внушительное число составили металлорежущие станки — 6430. Для сравнения скажем, что в 1939 году импорт таких станков из всех стран не превысил 3,5 тысяч. Д. Айххольц даже пришел к выводу, что поставка в СССР такого большого количества новейших станков ослабила германскую экономику, ибо большая половина ее собственных станков была уже устаревшей.

А еще Советский Союз получил из Германии «сотни видов новейших образцов военной техники», указывает В. Я. Сиполс. Приостановка советских поставок в начале апреля 1940 года настолько подействовала на немцев, что уже в мае в СССР были отправлены два самолета «Дорнье-215», пять самолетов «Мессершмит-109», пять самолетов «Мессершмит-110», два самолета «Юнкерс-88», три самолета «Хейнкель-100», три самолета «Бюккер-131» и столько же «Бюккер-133», в июне еще два «Хейнкель-100», несколько позже — три «Фоккевульф-58». Разумеется, на этих машинах никто не собирался воевать, они предназначались для изучения в соответствующих центрах и лабораториях.

Кроме самолетов поставлялись стенды для испытания моторов, пропеллеры, поршневые кольца, высотометры, самописцы скорости, системы кислородного обеспечения при полетах на большой высоте, аэрофотокамеры, приборы для определения нагрузок при управлении летательными аппаратами, самолетные радиостанции с переговорными устройствами, радиопеленгаторы, приборы для слепой посадки, аккумуляторы, клепальные станки-автоматы, бомбовые прицелы, комплекты фугасных, осколочно-фугасных и осколочных бомб. Соответствующие предприятия приобрели 50 видов испытательного оборудования.

В конце мая 1940 года в Ленинград был переправлен и недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов». Для военно-морского флота шли гребные валы, компрессоры высокого давления, рулевые механизмы, моторы для катеров, судовая электроаппаратура, вентиляторы, освинцованный кабель, судовое медицинское оборудование, насосы, аккумуляторные батареи для подводных лодок, системы для уменьшения влияния качки на судовые приборы, чертежи 280- и 408- миллиметровых трехорудийных корабельных башен, стереодальномеры, перископы, противолодочные бомбометы, параван-тралы, противотральные ножи, магнитные компасы, образцы мин, гидроакустическая аппаратура, даже корабельные хлебопекарни, оборудование для камбузов и многое другое.

Для советских артиллеристов были получены два комплекта тяжелых полевых гаубиц калибра 211 миллиметров, батарея 105-миллиметровых зенитных пушек с боекомплектом, приборы для управления огнем, дальномеры, прожекторы, два десятка прессов для отжима гильз, а также дизель-моторы, полугусеничные тягачи, образец среднего танка.

Очень ценным было оборудование для лабораторий, образцы радиосвязи для сухопутных войск, костюмы химической защиты, в том числе огнестойкие, противогазы, фильтропоглотительные установки, дегазирующие вещества, кислородно-регенеративная установка для газоубежища, портативные приборы для определения наличия отравляющих веществ, огнеупорные и антикоррозийные корабельные краски, образцы синтетического каучука.

Военные поставки по хозяйственному соглашению составили почти треть их общего объема. При этом В. Я. Сиполс цитирует немецких авторов, которые категорически отвергают заявления, будто Германия с января 1941 года ничего не направляла в СССР. Наоборот, подчеркивают они, все шло «в рекордных масштабах». И если экспорт из СССР в Германию апреле—июне 1941 года составил 130,8 миллиона марок, то импорт из Германии в СССР превысил 151 миллион. А поскольку оплата осуществлялась в течение месяца по факту поставки, то Советский Союз не успел перевести в рейх более 70 миллионов марок за товары, полученные в мае и июне. Более того, учитывая платежи по различным кредитным обязательствам, СССР «остался должен» Германии 100 миллионов марок.

Вполне возможно, что руководство рейха скрупулезно выполняло свои обязательства по поставкам в СССР и для того, чтобы усыпить бдительность Сталина. А еще полагало, что одержит молниеносную победу и не даст воспользоваться новейшими знаниями. Скорее всего, так и было. Но Советский Союз настроен был на длительную драку и оказался в выигрыше. Нефть и продовольствие, экспортированные в Германию, были израсходованы быстро. Немецкое заводское оборудование работало на советскую оборону всю войну. Если учесть, что за все предвоенные годы его было закуплено на несколько миллиардов марок, то оно действительно «во многом помогло СССР создать оборонную промышленность, которая оказалась в состоянии выпускать в годы войны больше вооружений, чем производила Германия». А новейшие образцы немецких вооружений сослужили службу тому, чтобы советская военная техника «в войне нередко даже превосходила по своему качеству германскую».

Советско-германские отношения по договору в Рапалло, а затем по пакту Риббентропа—Молотова в исторической литературе часто называются «браком по расчету». Можно добавить, что по очень холодному расчету. В этом «браке» одна сторона терпела другую только в силу острой необходимости, поскольку иначе можно было ходить в политических «бобылях» и питаться как придется. Однако надо обязательно добавить, что незримыми шаферами за столом, на котором подписывались договоры в Рапалло и Москве, были руководители полудюжины западных стран. Например, есть все основания сказать, что 23 августа 1939 года за спиной Риббентропа и Молотова стояли тени британского премьера Н. Чемберлена, французского — Э. Даладье, польского министра иностранных дел Ю. Бека, румынского и болгарского королей, венгерского правителя адмирала Хорти, желавшие, чтобы по главному счету, как чуть позже записал в своих дневниках Ю. Бек, заплатили другие — русские. Впоследствии У. Черчилль, характеризуя политику Чемберлена по отношению к Германии, сказал так: ему предстояло выбрать между позором и войной, а он выбрал позор и войну. А договор, подписанный в августе 1939 года между Германией и СССР, Черчилль признал жизненно необходимым и для СССР, и для будущей победы над нацизмом.

Очень своеобразно по этому поводу выразился российский дипломат и профессиональный германист Юлий Квицинский: «Советский Союз не продал в 1939 году душу дьяволу. Он сел играть с чертями в карты и обыграл их. Обыграл вчистую». Успех советской политики, пишет он, состоял в том, что СССР для начала расколол реальную коалицию Гитлера и западных «умиротворителей». О том, что она была, недвусмысленно свидетельствуют слова заместителя министра иностранных дел Великобритании О. Харви: «Фактически за Германию ультиматум чехам предъявляли мы». Затем, понимая неизбежность войны с Германией, Советский Союз «пропустил вперед» Англию и Францию, которые планировали как раз обратное. А те, сразу же «вкусив по полной» от вермахта, люфтваффе, кригсмарине, поняли, что иного выхода, кроме союза с Советами, у них нет. Так что тот договор можно и даже нужно назвать документом, который стал предтечей антигитлеровской коалиции. Но напади Гитлер сначала на СССР, никто на помощь ему не пришел бы. Неужели именно о таком несостоявшемся развитии событий ныне сожалеют критики договора?..

НАТАЛЬЯ ШАРАНГОВИЧ

Микрокосмос художника Ващенко

Есть ли граница для достижений художника? Возраст, когда можно «собирать камни»? И да, и нет... Народный художник Беларуси Гавриил Ващенко уже отметил свое восьмидесятилетие, но почивать на лаврах не спешит. Каждая новая работа для него — открытие неизведанного мира, радоваться которому и переживать за который он не устает.

Гавриил Ващенко никогда не пишет работы просто с натуры. Но всегда и всюду карандашом или кистью помечает увиденное, а потом эти впечатления становятся основой картины. Но создавая новое произведение, художник идет от темы, а не от документальной зарисовки. Не случайно Гавриил Харитонович любит вспоминать формулу физиолога Павлова: когда в голове появляется идея — глаза начинают видеть факты. И не случайно каждое название работы отвечает ее сущности.

Его монументальные росписи в Светлогорске, в минском Доме учителя, витражи в Красном костеле стали хрестоматийными и могут быть темой отдельного разговора. Эти работы — часть нашей эпохи. Они впечатляют не столько масштабностью и развернутостью композиции, сколько отсутствием надуманности, взвешенностью мыслей, глубиной раскрытия темы. Монументализм Гавриила Ващенко — в его целостности, художественной и человеческой. Мастер уловил ритмы, высказал проблемы и достижения современности.

Было время, когда художнику была необходима вся его гражданская смелость и художественная искренность, чтобы осуществить многие творческие замыслы. Вспомню монументальное панно «Просветители», украшающее минский Дом учителя. Когда вглядываешься в образы, душу волнуют глубокие чувства. Гордость. Радость. Уважение к самому себе. Эта работа — одно из крупнейших в Беларуси произведений в технике энкаустики, корни которой восходят к Древнему Египту. Но главное — не технология исполнения, а то, что «Просветители» — это произведение, в котором показана история белорусской культуры через личности крупнейших белорусских гуманистов XVI—XVII веков, таких, как первопечатник, врач и философ Франциск Скорина, активный деятель белорусской Реформации Сымон Будный, поэт, публицист и драматург Симеон Полоцкий. А рядом с ними — деятели XX века: поэт, критик и публицист Максим Богданович, языковед и филолог Ефим Карский, народные поэты Беларуси Янка Купала и Якуб Колас, да и многие другие, творчество и идеи которых обогащают нашу науку и культуру. Художник показал это реально: в руках его героев фолианты, свитки, книжки... Чем-то это напоминает знаменитый христианский сюжет, любимый древними мастерами, когда вещуны, увидевшие звезду над Вифлеемом, несут дары к ногам Божьего Сына. Так и посередине композиции «Просветителей» выделен круг света, напоминающий мандолу[1], которым освещены две

[1] Мандола — итальянский струнный щипковый инструмент круглой формы. — *Прим. ред.*

фигуры — женщины-учителя и мальчика-ученика. Извечный библейский сюжет Матери и Сына. Мать Беларусь и ее преданное дитя. Интересно, что художник так глубоко осмыслил национальную идею еще в 1976 году...

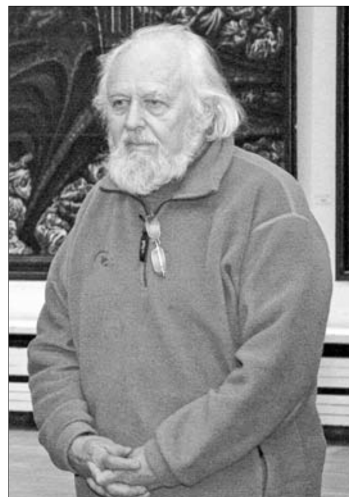
В панно «Просветители» художник использует, как и во многих других своих монументальных произведениях, картинный принцип построения композиции. В те годы такая характеристика произведения, как «картинность», у некоторых теоретиков считалась отрицательным качеством. И в искусствоведческих сборниках дискутировали — станковость без обобщений и метафор или росписи, мозаики, витражи без станковизма и «картинности», которые связывались в те времена с антимонументальностью и даже натурализмом. Однако панно «Просветители» как раз подтверждает, что картинность, как способ организации плоскости росписи по принципу разворачивания сценического действия, актуальности своей не потеряла. Это позволяет привносить в монументальное произведение собственную живую поэтику, избавляться от штампов.

После создания «Просветителей» в журнале «Декоративное искусство» была опубликована статья главного редактора издания Стеллы Базальянс, которая приезжала в Минск специально, чтобы посмотреть новую работу Гавриила Ващенко. Оценка была очень высокой: «Умение отыскивать свои собственные, очень своеобразные формы сближения творчества с современностью, находить для любых тем и сюжетов символическую и человеческую точку зрения — вот что составляет гуманистическую сущность работ художника».

Особого внимания заслуживают и витражи Ващенко для Дома кино в Минске. Перед художником стояла сложная задача создать целый ансамбль, который бы логично вписывался в здание бывшего костела Сымона и Алены.

— Я сразу вступил в конфликт с архитекторами, — рассказывает художник. — Почему? Они «перепиливали» помещение, здание вместо храмового должно было стать традиционным двухэтажным. На первом этаже был запланирован зрительный зал. А второй этаж собирались разбить на «катушки», где каждому секретарю Союза кинематографистов предусматривался отдельный кабинет. Когда же я взглянул на помещение целиком, то подумал, что на втором этаже получился бы замечательный зал. А вот первый можно было бы разбить на части. Меня так захватила эта идея, что я сел и сделал собственный проект конференц-зала на втором этаже, где бы витражи украшали стены и люстры. Нигде в Минске подобных залов не было. Форма помещения и круглых окон продиктовала и форму круглого стола в центре, кресел с резными спинками, что соответствовало бы готическому стилю костела, люстр, похожих на гроздья сталактитов. Моя идея понравилась. И скоро в Совете Министров утвердили новый проект. Я работал над витражами, люстрами. Для украшения окон использовал более полусотни стеклышек. Здание старое, и как мне, художнику XX века, в помещении культового строения сделать что-то соответствующее историческому прошлому и в то же время современное по тематическому насыщению и пластике? Долго искал, пока не пришла идея по всей орнаментальной структуре проложить луч. Луч — как символ фотографии, кинематографа и духовного воспитания. Луч — это солнце, свет. И когда Дом кино был передан снова костелу, эти орнаментальные витражи остались. Только в алтарной части, где были фигуры фотооператора, художника, режиссера, их заменили на образы святых.

Действительно, белорусская монументальная школа формировалась прежде всего творчеством Гавриила Ващенко. Кажется, что иначе и быть не могло. Белорус по рождению, патриот Полесья... И мало кто вспоминает, что Гавриил Харитонович мог остаться в Украине, где получил художественное образование, или в Молдове, где работал после учебы, был принят в Союз художников и даже успел стать лауреатом республиканского фестиваля молодежи.


Гавриил Ващенко

Родился Гавриил Ващенко в 1928 году на Гомельщине, в деревне Чикаловичи. Полесье с его самобытной культурой стало в будущем одной из важнейших тем его работ. Учился в Киевском училище прикладного искусства, работал на киностудии имени А. Довженко. Затем — Львовский институт прикладного и декоративного искусства, после окончания которого преподавал в Кишиневском художественном училище.

В Минск Гавриил Харитонович переехал в 1961-м. В том году на художественном факультете Театрально-художественного института было создано отделение декоративно-прикладного искусства. Поскольку для новой кафедры не хватало квалифицированных преподавателей, их искали в соседних республиках. Приехавший из Молдовы Ващенко становится руководителем отделения. А три года спустя, когда из декоративно-прикладного отделения в особую кафедру выделяется монументальная живопись, он становится ее заведующим. Все монументалисты, учившиеся на этой кафедре с 1964-го по 1975 год, его ученики.

Казалось бы, при такой нагрузке в институте мало времени остается для творчества. Однако Гавриил Харитонович именно в 60—70-е годы создает произведения, вошедшие в золотой фонд белорусского искусства.

Гавриил Ващенко не любит рассказывать про свои работы. Скупо роняя слова, он вспоминает только наиболее значимые из них. Например, натюрморт «Цикламены», написанный в 1966 году. Выставленный на молодежной выставке во Дворце искусств, он вызвал бурю эмоций: были споры, восхищенные отзывы. Некоторые обвинили автора в формализме.

Эту работу можно назвать программной. Она стала для художника ступенькой к творческой зрелости. И одновременно придала смелости высказываться по-своему. Мастерством изображения формы предмета, плотности материи — всеми признаками классической школы — Гавриил Ващенко овладел намного раньше, старательно штудируя рисование во Львове. Художник мог насытить пространство полотна эмоциями, придать предмету значимость, даже если это обыденная вещь повседневной жизни. Он подчеркивал особенную праздничность постановки, избавляя ее от второстепенного. Форма обозначалась большими объемами, которые точно выделялись в плоскости небольшого полотна. Московские искусствоведы отмечали отличительную особенность его стиля как метафоричность пластического языка, потому что автор, досконально изучив окружающий предметный мир, заставляет его «заговорить».

Но в далеком 1966 году эту особенность авторской пластики Ващенко еще никто не выделял. Да и сам художник не собирался представлять на молодежную выставку именно натюрморт. И цикламены он купил случайно — в цветочном магазине того же дома, где располагалась его мастерская. Багровый цветок так захватил художника, что он начал писать не раздумывая. На полотне проявилась фактура тяжелых блестящих листьев, на которых отражались тени и солнечные блики. Коричневый стол, белая салфетка, чуть видная линия стены... Художественные средства были нарочито аскетичные. Цвет почти монохромен, но в границах выбранной гаммы включал в себя множество оттенков и нюансов. Эти оттенки, а также свет, источник которого зрителю не виден, передают плотность листьев, объем, форму.

Это почти сезанновский взгляд на мир. Знаменитый французский художник стремился выразить осязаемость, предметность мира в своих картинах. И при этом он оставался верным классической традиции живописи, согласно которой

картина состоит из таких элементов, как пространство, форма, тень и цвет. Яркие цвета, простота художественных форм и предметов, — все эти признаки сезанновской живописи характерны и для натюрморта Ващенко.

Но в то время Гавриил Ващенко об этом не задумывался. Он искал фактуру, выглядевшую шершавой и пористой, а местами глянцево-гладкой, и фон, состоящий из двух основных локальных цветов. Искал выгодный ракурс на вазон с цветами — немного сверху, чтобы в первую очередь воспринимались листики и цветы, доведенные до чистоты символа...

Молодежная выставка открылась осенью. На вернисаже было людно. Волновался ли молодой художник, когда принес на экспозицию свои «Цикламены»? Сегодня он об этом не вспоминает. Как воспримут работу — важно, но это не самоцель. Он был уверен — работа получилась, и любая реакция — положительная или отрицательная — не повлияет на ее дальнейшую судьбу. Работа сделана профессионально, а разговоры вокруг — неизбежное дополнение.

Около натюрморта толпилась молодежь. Много было студентов — они специально пришли посмотреть на работу своего преподавателя. И когда кто-то из мэтров бросил: «Это же формализм!», Ващенко только усмехнулся про себя. А чего было еще ждать? Поздравлений? Скорее ярлыков. Сказывались особые отношения, независимое положение и смелое руководство кафедрой декоративно-прикладного искусства в Театрально-художественном институте. А то что «Цикламены» стали первой ласточкой нового пластического языка, никто не мог отрицать.

А еще через некоторое время натюрморт попал на выставку в Москву на ВДНХ, где в то время проходили Дни белорусской культуры. И неожиданно для всех работа получила бронзовую медаль ВДНХ, обойдя существовавшую в то время негласную, но четкую иерархию художественных произведений, где на первом месте была ленинская тематика, образы рабочего класса и крестьянства, далее пейзаж, а уж потом и натюрморт. И вдруг за натюрморт Москва дает бронзовую медаль!

Значимыми для белорусского искусства являются многие живописные работы Гавриила Харитоновича. Картина «Баллада о мужестве» поднимает тему партизанского движения в Беларуси. Художник одним из первых отказался от описательного натурализма и театрализации при показе событий Великой Отечественной войны. «Баллада о мужестве» — это рассказ о единстве людей и окружающей природы. О стойкости белорусов, которых охраняет родная земля. Вообще, слово «Отечество» в отношении работ Ващенко воспринимается не как абстрактное понятие, а как глубинное понимание сущности нашей природы, ее единства с судьбой народа. Это ощущается и в картинах «Мое Полесье», «Нефтяники Полесья», «Грюнвальдская битва», «Материнские крылья», «Сентябрьские туманы», «Первый снег», портреты деятелей культуры, среди которых образы Владимира Короткевича, Василя Быкова. В трепетном отношении Гавриила Ващенко к природе есть что-то языческое. Он боготворит землю, небо, реки и озера, птиц и зверей. И люди на его полотнах написаны с любовью, им дан талант жить в гармонии с Природой. Талант, который мы утратили в суете мегаполисов. С особой болью художник рассказал о Чернобыльской трагедии...

— Мои работы так или иначе связаны с жизненными реалиями, — говорит художник. — Я всегда писал много этюдов, делал зарисовки. Но, когда возникает конкретный замысел картины, как правило, пленэрными зарисовками не пользуюсь. Мои наблюдения, впечатления — только толчок для развития темы. Картина может очень далеко отойти от того, что было исходной точкой для ее создания. Она должна быть построена композиционно точно, пластика и цвет подчинены заданной тематике. Это уже не импровизация, а интеллектуальная работа.

Помню, когда впервые попал на Полесье после Чернобыльской катастрофы, меня впечатлил лес. Он был такого необычного коричневого цвета, словно выжженный невидимым огнем. Мои тогдашние впечатления стали основой для создания картины «Чернобыльский реквием». Но в работе я не просто передавал свои эмоции, но выстраивал ситуацию, размышлял. Прошло некоторое время, о

последствиях трагедии мы узнали намного больше, уже стали строиться онкологические центры, выявляться массовые тяжелые заболевания щитовидной железы у детей и взрослых. Из всего этого и вырос реквием. Как и каждый художник, я не просто ставлю вопрос, я его обостряю. Но не даю ответ. Искусство вообще редко делает однозначные выводы, иначе оно превратилось бы в риторику. И если ты сомневаешься, что твои произведения будут понятны зрителям, не стоит заниматься искусством. Художник — в первую очередь общественный деятель.

Для Гавриила Ващенко при создании картины важно не только раскрыть тему, а найти ее убедительный пластический образ. Так, в «Балладе о мужестве» это сделано весьма своеобразно: здесь будто пересекаются два ракурса — взгляд художника с высоты птичьего полета и с земли вверх. Кроны деревьев словно смыкаются и прячут людей, их ритм уводит в глубину полотна, откуда на зрителя нескончаемым потоком идут партизаны. Движение туда и обратно — принцип построения композиции работы. Пространство развивается вглубь, в сокращенную перспективу. Такое нетрадиционное ассоциативное решение было отмечено жюри конкурса творческих работ в Москве, где в 1975 году белорусский художник был награжден серебряной медалью имени Грекова. И это было очень почетно, если вспомнить, что в том же году золотую медаль получил Михаил Аникушин за мемориал, посвященный героическим защитникам Ленинграда. Влияние художественных новаций Гавриила Ващенко было таким мощным, что скоро в советском искусстве появилось огромное количество замкнутых и разомкнутых композиций.

Мастеру есть чем гордиться: двенадцать работ закупила Третьяковская галерея, пятнадцать — Международная конфедерация творческих союзов, двадцать — Министерство культуры СССР. А в издательстве «Советский художник» в 1980 году вышел альбом Гавриила Ващенко — первый в новой серии «Мастера советского искусства», — автором которого была известный российский искусствовед Ольга Воронова.

Родной край для каждого художника — не только место, где прошло детство, но и источник вдохновения: здесь рождаются художественные образы, сюжеты, краски, мелодии. Через все творчество Гавриила Ващенко проходит тема «малой родины». В своих работах он всегда избегает этнографичности, искусственных сцен. Его Полесье звучит мощным гимном Человеку и Природе. Художник говорит об особом предопределении этой земли. Говорит с волнением, гордостью, душевной теплотой, восхищением, искренней любовью и беспокойством за судьбу края — места, где сохранилась аутентичная, уходящая корнями в прошлые столетия, народная культура, удивительная природа, теплые и открытые человеческие отношения. Аисты, эти замечательно красивые белые птицы, стали в картинах Ващенко символом Полесья.

Когда я спросила художника, не обидно ли ему, что многие позже подхватили и развили его находку, ответил: «Меня радует, что я нашел такой убедительный образ, который понравился и другим творцам. Конечно, бывает и несколько обидно, когда понимаешь, что большинство твоих коллег уже забыли, кто предлагал новое пластическое решение, что оно стало общим достижением. Но ведь когда-то и на конкурсе, где оценивалось лучшее исполнение под Чарли Чаплина, сам знаменитый актер занял только 15-е место... Когда я написал цикл, посвященный Полесью, мне было приятно, что многие мои коллеги заинтересовались этим краем и поехали рисовать эти прекрасные места. Я горжусь, что открыл для нашего искусства Полесье. И заставил людей его полюбить. На самом деле, можно объехать множество стран, но, кроме репортажей, так ничего и не сделать. А можно, сидя в одной деревне, показать проблемы всего мира. Потому что семья — микрокосмос. И это определение не зависит от того, где ты живешь — в Чикаловичах на Полесье или в Риме, Лондоне, Нью-Йорке. Проблемы любви и ненависти всегда одни и те же. И когда художник способен о них рассказать, проанализировать, они становятся ясными и понятными для каждого человека.

Есть такой старый, но очень точный анекдот. Автор приносит режиссеру один сценарий, второй. А тот все время отвергает. И наконец автор восклицает: «Что вам надо?» — «Напиши: он, она и третий». — «Так ведь это банально!» — «Может, и банально. Но Шекспир написал Ромео и Джульетту...»

В творчестве Гавриила Ващенко нет туманного эзотеризма. Художник всегда писал то, что хорошо знал. Пейзажи, что радуют глаз и будят фантазии. Жизнь на родном Полесье, в крае, где родилась любовь к народу, его истории, что позже мощно выразилось в его живописных картинах и монументальных работах. Немалую роль сыграла учеба в Институте прикладного и декоративного искусства во Львове, где в первые послевоенные годы господствовала свободная атмосфера европейского города, созидательная для тех, кто стремился творить... Оттуда же было вынесено чувство самоценности своего, родного, чувство, которое не выскажешь громкими словами, но которое формирует направление мыслей и творческих стремлений.

Художник, кажется, всей своей жизнью доказывает правильность собственной позиции: всегда будь самим собой — и тебя услышат люди. В творчестве он стремился к обобщению личного опыта, отсюда ясность мысли, композиции, колорита...

Монументальные и живописные работы Гавриила Ващенко — классика белорусского искусства. Его произведения воплотили целую эпоху — с ее идеальными устремлениями и болезненными разочарованиями, сложными общественными изменениями и человеческими трагедиями.

И сегодня художник каждый день приходит в мастерскую. Пишет иносказательные, аллегорические, условно-мифологические образы, в основу которых положен философский смысл, аналитическое восприятие действительности, создание обобщенной и символической картины. Художник с прежним восхищением изучает окружающую его природу, чтобы потом, изображая ее, высказать свои философские впечатления. Может быть, поэтому, глядя на картины Ващенко, хочется вернуться к истокам нашей духовности, света, доброты, чистоты.



АНАТОЛИЙ РЕЗАНОВИЧ

Человек дела

I

У каждого человека своя дорога в жизни. В прямом и переносном смысле. Только не каждый идет по ней прямо, уверенно, зная, куда и к чему.

Генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» города Могилева Григорий Семенович Тимофеев свой жизненный ориентир определил еще в детстве.

— Родом я из деревни Гулидовка Горецкого района Могилевской области, — рассказывает о себе Григорий Семенович. — Окончил начальную школу в своей деревне, а потом ходил пешком за девять километров в среднюю школу, что была в деревне Тимоховка. Бывало, ездил на велосипеде. В таком возрасте это было нелегко. Особенно осенью, в ветреную или дождливую погоду, и зимой, когда мороз под тридцать градусов, скользко. Практически каждый день поднимался в пять-шесть часов утра, чтобы успеть на первый урок, хотя очень хотелось еще поспать. Но ничего, стремление к знаниям и дорога в школу вырабатывали во мне мужской характер. Трудности закаляют человека, но самое главное — они дают ему твердую уверенность в том, что все можно преодолеть. Нужно лишь захотеть, поставить перед собой конкретную, ясную цель и ежедневно стремиться к ее осуществлению. Не зря же говорят: «Будет и на моей улице праздник». Рано или поздно, конечно же, он наступает. И это не обязательно материальный достаток, а нечто большее — в духовном, личном плане.

Оглядываясь назад, Григорий Семенович теперь понимает: детство уже само по себе праздник. Ведь тогда были живы и еще молоды родители: мать — Пелагея Федотовна и отец — Семен Емельянович. И хотя особым здоровьем они не отличались, много работали. Мать с утра до позднего вечера занималась то домашним хозяйством, то трудилась в колхозе, и отец, участник трех войн, — финской, советско-польской и Великой Отечественной, — кстати сказать, чудом выживший на фронте, работал трактористом. Его мучили боевые ранения и профессиональные болячки.

— Жизнь в то время была тяжелой, — вспоминает Г. С. Тимофеев. — Люди все еще обустраивались после страшной, разрушительной войны. Не хватало материалов, инструментов, поэтому приходилось проявлять недюжинную смекалку, принимать нестандартные решения, чтобы выполнить ту или иную работу эффективнее, быстрее. Примеров масса. И мы, дети, тоже изобретали.

Григорий Семенович рассказывает, как вместе с друзьями придумали «фонари», или как они еще называли, «кадила». Это были обычные консервные банки, которые они набивали тряпками, заливали их керосином или соляркой. Потом дети их поджигали и светили себе под ноги, когда темным зимним утром добирались в школу. Шли, как правило, след в след, чтобы не сбиться с пути.

— Не столько свет «кадил» нам помогал идти по разбитой дороге в школу, сколько с ним было веселее и спокойнее, — улыбается Г. С. Тимофеев. — Дорога ведь проселочная, относительно глухая, мало ли что могло произойти...

Юный Гриша верил в свою судьбу. Тогда еще подсознательно, интуитивно. Детская вера опиралась на традиции, разговоры родителей, родственников, школьных учителей о своей земле, настоящем и будущем, от которого все ждали чего-то лучшего и большего.

Ждал и Г. С. Тимофеев. Только не пассивно, а со всей своей активностью и энергией.

II

В 1969 году Григорий Семенович поступил в знаменитую Белорусскую сельскохозяйственную академию, которая находится в городе Горки. Своей специальностью избрал гидромелиорацию. И с присущей ему основательностью постигал азы будущей своей профессии.

— Мы, студенты своего времени, анализировали жизнь во всех ее проявлениях, — вспоминает Григорий Семенович. — Но при этом свое мнение нередко держали при себе. Не то чтобы кого-то боялись, а следовали идеологическим штампам, мол, у нас все и везде хорошо. Хотя понимали, что это, мягко говоря, не совсем так. Значит, нам, молодым, надо было исправить то, что требовало улучшения, совершенствования.

Сказав об этом, Г. С. Тимофеев замолкает. Наверное, думает о прошлом, а может, размышляет о настоящем, сравнивая, что было и что есть. Потом философски продолжает:

— Человек всегда доволен и недоволен одновременно. Его устраивает сделанное, но он в душе бунтует из-за того, что еще не сделал. Ему все хочется выполнить быстрее, лучше. Почему говорят, что сегодняшней молодежи надо все и сразу? А потому, что это и есть человеческая сущность. Ее основа — максимализм.

После окончания академии за первые девять лет работы Григорий Семенович прошел путь, который многие его коллеги преодолевали не одно десятилетие. Начав с должности мастера, вскоре был назначен прорабом в Шкловскую ПМК-№ 31 Министерства мелиорации и водного хозяйства БССР, а в 1978-м возглавил Кличевскую ПМК № 79 треста «Могилевводстрой». А это не только факт, который подчеркивал большую работоспособность, профессионализм Тимофеева, но и показатель доверия к нему со стороны местных властей. Значит, они рассмотрели в нем качества, необходимые для руководителя — знания, требовательность, ответственность, принципиальность, настойчивость, твердость, организаторские способности.

— Любая работа, а тем более ответственная должность, требуют серьезного подхода к порученному делу, — размышляет Г. С. Тимофеев. — Но все равно человеку, который выполняет чьи-то указания, проще, чем руководителю, дающему эти указания. В первую очередь, психологически. Это мне пришлось испытать на себе. Мелиорация — труд крайне тяжелый и, как это ни парадоксально, неблагодарный. Время от времени приходится выслушивать неприятные слова о вреде мелиоративных работ от многих любителей «натуральной» природы. Бывают и оскорбления. Причем, они звучат со страниц печатных изданий, по радио и с экранов телевизоров. Лично я ко всему привык, — грустно роняет Григорий Семенович. И тут же добавляет: — Не все в мелиорации в пору моей молодости было ладно, не все делалось так, как это требовалось. Но, тем не менее, сделано немало. Посмотрите на земли нашей Могилевской области. Они сегодня ухожены, засеяны, дают большие урожаи сельскохозяйственных культур. А ведь еще двадцать, тридцать лет назад огромные территории были заболочены. Мелиорация дала им жизнь.

ПМК № 79 первая в области начала строить польдерные системы[1], в результате вышла победителем в республиканском соревновании. Тимофееву пришлось выступать на расширенной коллегии Минводхоза БССР, в которой уча-

[1] Тип осушительных систем, водное регулирование которых осуществляется на основе защиты дамбами мелиорированных участков.

ствовал и министр водного хозяйства СССР, а также первый секретарь Компартии республики Петр Миронович Машеров.

— Это явилось для меня важнейшим жизненным событием. В том смысле, что меня оценили как состоявшегося руководителя, который способен организовать людей выполнять сложные задачи, добиваться существенных результатов. Петр Миронович пожал мне руку и сказал теплые напутственные слова: «Ну, молодец, сынок, давай дальше старайся». Мне тогда было всего 27 лет…



Григорий Семенович Тимофеев

III

Наступила горбачевская перестройка. Набирала силу пресловутая гласность. Прошлое подвергалось критике, а настоящее принималось в штыки. Все хотели перемен, но мало кто знал, куда идти. Былая широкая дорога, по которой советские люди дружно шагали к коммунизму, разбивалась на множество кривых тропинок. Г. С. Тимофееву надо было опять выбирать свой путь.

— Это была трудная задача, — делится пережитым Григорий Семенович. — Но для меня главное не политика, а каждодневная работа. Это в верхах в те годы был разброд в мыслях и делах, а мы, местные руководители, низовые звенья, честно и целенаправленно выполняли конкретные поручения — мелиорировали, орошали, строили. Одним словом, как это ни пафосно звучит, созидали. И хотели созидать дальше. К тому же, как помните, была принята и действовала Продовольственная программа. Люди ее воспринимали с энтузиазмом. Лишь бы была возможность эффективно работать не только на государство, но и на себя. Мы на предприятии соорудили теплицу, начали выращивать огурцы, помидоры. Думали расширять свое подсобное хозяйство. База была хорошая — помещения, техника, люди. Всего около 350 человек. Но, как говорится, не все то счастье, которое тебе обещают и за которое ты хватаешься. Советский Союз рухнул, и многие перспективные планы остались на бумаге. Правда, жизнь на месте стоять не желала и не могла.

Перемены в государстве сказались и на судьбе Тимофеева. В 1985 году его назначили заместителем председателя Кличевского райисполкома по строительству. Нельзя сказать, что это была совсем другая сфера по сравнению с той, которой занимался Григорий Семенович до этого назначения. Но все же здесь были свои нюансы и особенности. Как в непосредственном деле, так и в подходах к нему. Теперь он курировал, а значит, и отвечал за работу всех строительных организаций района. А это уже другой уровень, дополнительные возможности, конкретные и весомые полномочия.

— Масштаб моих должностных полномочий был довольно обширным, — рассказывает Григорий Семенович. — Я занимался сельским и городским строительством. Это жилье, социальные объекты, производственные помещения. Все, что жизненно важно и необходимо.

Люди видели в Г. С. Тимофееве человека, который твердо стоит на земле и стремится на ней создать условия, ставшие лозунгом Горбачева и его команды: «Каждой семье — отдельную квартиру!»

Увы, тогда не получилось. Но в нем росла уверенность, что это первоочередная задача, недаром же англичане говорят: «Мой дом — моя крепость».

— У нас умные, трудолюбивые и терпеливые люди, — твердо уверен Г. С. Тимофеев. — Пройдя столько тяжелейших испытаний, — военных, революционных, социальных, — наш народ заслужил жить спокойно и счастливо.

Все эти потрясения коснулись буквально многих советских семей. Вот и двоюродный дядька отца Григория Семеновича, по меркам того времени, являлся кулаком. Говоря же по-другому, это был человек, который трудился на земле не покладая рук. Трудился с утра до ночи. Имел четверых сыновей. Его и всю семью раскулачили и сослали в Магадан.

Морально были раздавлены все родственники. Дед, его дети, отец Г. С. Тимофеева после этого жили в подспудном страхе: «А если и нас сошлют?..» Борьба политическая выливалась в экономические разборки, а экономика проникала в каждое личное хозяйство. Особенно это касалось сельской местности. Григорий Семенович об этом никогда не забывает.

В 1992 году Г. С. Тимофееву предложили возглавить ДСУ № 16, которое находится в Бобруйске. Нелегко ему было принять это предложение, мучили сомнения.

— Раздрай, который был в стране, а также появившиеся разногласия между районными партийными и исполнительными структурами меня не устраивали, — говорит Григорий Семенович. — Из-за этого начал пропадать интерес к самой работе, своим обязанностям.

ДСУ № 16, входившее в Дорожно-строительный трест № 3, — мощнейшая в Могилевской области организация, которая, к сожалению, тоже не избежала кризиса.

— Вникнув в дела предприятия, я взялся за голову, — вспоминает Тимофеев. — Необходимо было немедленно искать новые заказы, чтобы удержать в целости коллектив, не дать ему рассыпаться на мелкие группы, промышлявшие в поисках заработков.

Григорию Семеновичу удалось справиться с почти неразрешимой в тот период задачей — обеспечить коллектив нормальной, а главное, оплачиваемой работой. ДСУ № 16 получило заказы на строительство дорог в обход Бобруйска, трассу на Минск, трудилось по многим другим, стратегически важным направлениям. Прошло совсем немного времени, и в стройуправлении дела пошли в гору. Работники ДСУ № 16 обрели уверенность и перспективу.

IV

1996 год — новая веха на жизненном пути Г. С. Тимофеева. Его назначают управляющим, потом директором, а через несколько месяцев генеральным директором ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» города Могилева департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

— Ситуация повторилась, — вспоминает Григорий Семенович. — Будто я опять оказался в ДСУ № 16. Только теперь мое новое хозяйство находилось в еще более плачевном состоянии. Очень тревожило тяжелое финансовое положение. Что было мне и моим помощникам делать? Опять пришлось взяться за поиск заказов, искать перспективные направления, чтобы остаться на плаву.

Вот уж верно: «Не до жиру, быть бы живу». Новый директор мужественно и с упорством «потянул свой воз». Не в его правилах сдаваться. К тому же его обещал поддержать председатель Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве архитектуры и строительства Минин. И помог. Как и следовало ожидать, удача коллективу ДСТ № 3 улыбнулась.

— Наш коллектив тогда построил несколько важнейших объектов, — рассказывает Григорий Семенович. — Это автодороги «Северный обход города Могилева с мостом через реку Днепр», «Обход города Костюковичи», автомобильные трассы по другим направлениям. Мы начали активно заключать договора на строительство объектов в Украине, России. В частности, в Плесецке. Брались за, казалось бы, несвойственные нам объемы работ. И это, считаю, правильно. Раз есть база, люди, то надо все и всех задействовать. В конце концов, в этом и заключается главная задача руководителя любого коллектива. В этом я убежден. Сегодня мы, например, занимаемся водопроводом и канализацией — выигрываем

тендеры на строительство этих объектов в Могилеве, устанавливаем противошумовые экраны в населенных пунктах, производим тротуарную плитку, металлоконструкции, даже строим линии электропередач на своих объектах, наращиваем мощности других подсобных промыслов. Главное, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. А у нас с этим строго. Взялись — выполняем.

Перечисленные направления деятельности ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» города Могилева требуют огромных усилий и его руководителя Г. С. Тимофеева, и всего коллектива. Приходится осваивать новые технологии, специальности...

Словно догадавшись о моих мыслях, он с усмешкой кивает:

— Характер...

Да, характер и еще раз характер: Григорий Семенович не выбирает легких путей, он следует туда, где нужен, где требуются его мастерство и опыт, где он сможет осуществить планы, заложенные в программу развития города, района, области, а если надо, то и республики. И это не высокие слова, а жизнью подтвержденная реальность. Не каждому под силу тянуть такой груз, какой тянет Г. С. Тимофеев. И свидетельство тому — благодарности, грамоты и награды. Генеральному директору и его подчиненным, которых с уважением в народе называют просто и точно — дорожники.

Здесь надо подчеркнуть, что очень многое зависит от слаженности коллектива, команды, руководителей дорожно-строительных управлений треста № 3. Лично Анатолия Сергеевича Киселевича, Владимира Николаевича Савельева, Стефана Лаврентьевича Зуева и других. Они — высокопрофессиональные организаторы дорожного строительства, которое активно ведет ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» города Могилева.

Идти по жизненной дороге и строить дороги, преодолевая всевозможные препятствия, помогает Григорию Семеновичу и его семья: жена — Лидия Васильевна, дочери — Лилия и Наталья. Они учатся у мужа и отца организованности, а он у них — быть добрее и терпимее к недостаткам и человеческим слабостям.

— Терпенье и труд все перетрут, — любит повторять эту народную поговорку Г. С. Тимофеев.

А он умеет терпеть и трудиться. В мелиорации Григорий Семенович проработал 12 лет, а в дорожном строительстве уже 18. Вполне достаточно, чтобы доказать верность своим принципам и смело продолжить жизненный, профессиональный и служебный путь дальше.



Лодка — память, весло — вдохновенье...

За мостом моего детства: эссе / сост. Людмила Рублевская. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 216 с. — (Што ні край, то звычай).

На одной из моих книжных полок — книги Эрнеста Хемингуэя и книги о нем и о его творчестве. Какое-то время, я все никак не мог насытиться Хемингуэем, мне все чего-то не хватало. Рассуждал о его произведениях («Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол», «Старик и море» и других) и ловил себя на мысли, что я чего-то не понимаю, упускаю главное. И при всей моей любви к Хемингуэю, при условии, что я часто перечитывал его романы и рассказы, такое чувство я испытывал достаточно долго. Своеобразный перелом произошел лишь тогда, когда я более детально изучил биографию автора «Старика и море», когда увидел Кубу, где писатель нашел свою историю рыбака Сантьяго, которая стала понятна мне, когда я день за днем в течение нескольких месяцев наблюдал Карибское море, когда слушал рассказы о жизни Хемингуэя на Финке Вихии. О том месте, где были написаны «Праздник, который всегда с тобой», «За рекой, в тени деревьев», «Опасное лето», серия репортажей об Африке для журнала «Лук…».

По-настоящему понять характер, смысл многого из написанного Хемингуэем мне помогло знакомство с местами, открытыми им еще раньше. Вот и белорусская литература — художественное явление, которое станет для вас ближе и понятнее, если вы познакомитесь с обстоятельствами, условиями, в которых писались, задумывались те или иные произведения, а еще лучше — откроете для себя родину литераторов. Разве не из родных своих деревень принесли в мировую художественную память свои романы Иван Чигринов, Вячеслав Адамчик, Борис Саченко, Леонид Леванович?.. А сколько стихотворений Якуба Коласа, Янки Купалы, других великих мастеров художественного слова — с конкретными географическими адресами!.. В России в 1920-е годы в литературном, историческом краеведении сложилась даже своеобразная теория «культурных гнезд».

Вот и публикации газеты «СБ. Беларусь сегодня», объединенные рубрикой «Што ні край, то звычай», которые я до недавнего времени собирал в качестве газетных вырезок, — удивительные, порой очень откровенные, обнажающие сердца и души, обращения к теме теперь уже литературно-краеведческих адресов Беларуси. А как иначе рассматривать, к примеру, Давид-Городок, что на Брестчине? Ведь именно там только в послевоенные годы родились четыре известных писателя: Георгий Марчук, Владимир Глушаков, Леонид Дранько-Мойсюк, Михаил Шелехов. Авторы многих книг. Двое из них — лауреаты Государственной премии Республики Беларусь… С выходом книги «За мостом моего детства» (Минск, РИУ «Літаратура і Мастацтва», 2011 год) необходимость собирать газетные публикации из рубрики «Што ні край, то звычай» отпала: теперь они (всего их за несколько лет появилось 35) объединены в сборник эссе. Но, разговаривая о книге, я, конечно же, веду речь и о замечательном газетном проекте, который, надеюсь, получит продолжение.

В предисловии к сборнику главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Павел Якубович заметил следующее: «Книга, которую вы, уважаемые читатели, только что открыли, родилась на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня». Наши белорусские писатели рассказали о своих родных местах — о деревнях, местечках, небольших городках, — в которых родились, выросли, о первых учителях, сельских библиотеках, о своих родителях, давших им первые уроки любви

к родному краю, а значит — ко всему Отечеству. Рассказали о лесах и реках, окружающих их родных местах, вспомнили разные непростые времена. Газетная рубрика, выставившая несколько десятков искренних, идущих от сердца повествований, носит характерное название — «Што ні край, то звычай». А как же по-другому? В каждом регионе нашей далеко не маленькой страны есть свои обычаи, традиции, которые иногда становятся точкой отсчета во взаимоотношениях людей. Понять разность, увидеть все отличия, осмыслить, чем жили наши предшественники, — разве это не интересно сегодня?! Мне кажется, что интерес к истории в значительной степени формируется с детства, с тех первых образовательных толчков, которые молодой человек получает на школьном уроке истории, дома, слушая рассказы своих бабушек и дедушек.

Для многих писателей, чьи рассказы, документальные очерки, окрашенные эмоциональными впечатлениями из давнего и близкого минувшего, родной край был и остается не только главным источником вдохновения, но и основой большинства творческих исканий, большинства произведений. Владимир Липский, Раиса Боровикова, Микола Метлицкий, Леонид Дранько-Мойсюк, Георгий Марчук, Виктор Шнип, Алесь Мартинович, Михаил Поздняков и другие авторы примечательного газетного проекта — писатели, поэты, открывшие через рассказ о своей малой родине новые грани своего художественного творчества. Иные повествования краеведческого характера кажутся не менее интересными открытиями и даже небольшими событиями, ничуть не уступающими рассказам и стихотворениям, даже повестям и романам.

Знакомьтесь с родными писательскими местами, открывайте их мир — и вы многое поймете в их художественных исканиях».

Сборник структурирован таким образом, что наше путешествие окажется встречей с литературными адресами в разных регионах страны. Открывает книгу раздел, посвященный Брестской области, писателям, вышедшим из ее деревень и городков. О Давид-Городке рассказывают поэт Леонид Дранько-Мойсюк («Лодка») и прозаик Георгий Марчук («Ласточки над Горынью»), Аксана Спринчан приглашает нас в Лунинец («Самый красивый космос — в Лунинце»). Литературовед, переводчик Иван Чарота — в кобринскую деревню Лыщики («Дорожки памяти — дорожки радости»). Раиса Боровикова — в березовские Пешки («Золотое яблочко судьбы»). Алесь Бадак рассказывает о родных ляховичских Турках («Уходящая в вечность»). Эссе Юрася Нератка «Ходаки» названо по имени его деревни в Ивацевичском районе. Семь лаконичных, в несколько страниц, ярких, богатых фактическим материалом текстов — семь настоящих открытий. Даже оба эссе, написанные о Давид-Городке, нисколько не повторяют друг друга. У поэта Л. Дранько-Мойсюка и прозаика Г. Марчука — у каждого свои, особенные воспоминания, свои детали о родном городе. Хотя и родились близко друг от друга по времени: поэт — в 1957-м, прозаик, автор романа о жизни полесского городка «Кветкі правінцыі», — в 1947-м году. Для поэта главным символом явилась река Горынь, лодка, без которой жизнь давид-городчуков трудно и представить: «Лодка, Горынь и товар для перевозки или на продажу — из такого природно-хозяйственного единства вырастал городок Давидов, и, наверное, таким он был и в свою доисторическую эпоху.

В лодке возили рыбу, сено, дрова, виш и гаваз (виш подстилали коровам, а лопушистым гавазом кормили свиней).

В лодке перевозили скотину и сундуки, дружины и свадьбы…

Словом, образ груженой лодки был самым примечательным в местном пейзаже, потому он и отображен на старинной городской печати, а также и на гербе.

Герб Давид-Городка говорит нам о торгово-ремесленнической деятельности городчуков, его символика связана с рекой, а сюжет — с лодкой, потому он тематически близок гербам Друи, Дисны, Полоцка, Вилейки, в которых и река, и речное судно также играют основную роль».

Прочитав эти строки, совсем по-другому начинаешь осмысливать стихотворение Л. Дранько-Мойсюка «За рекой»:

Помнишь, мама, в детстве за рекою
Зарево, качалось и росло,
Куфар возвышался над кормою —
Старой лодке было тяжело.

Мы с отцом не выпускали весла,
Звезды разбегались по реке,
И мерцала тонкою берестой
Полная луна невдалеке.

Ночь цикад и сказочных медведей!
Я забыть ее едва ль смогу…
Что же, мама, мы так долго едем
В Новый дом на новом берегу?

(Перевод с белорусского Ю. КАБАНКОВА)

У Георгия Марчука, также любящего свой Давид-Городок, — иная линия памяти. Он больше рассказывает о том, чем же городчуки от других полешуков отличались. От личностного, эмоционального писатель переходит к социальным оценкам: «Девиз городчука такой: «Надо и в пасмурные дни уметь разглядеть счастье и что-то делать». А уж работа выведет тебя к таланту, деньгам, независимости. Городчук издавна тяготеет к этой независимости, достоинству, призвав иной раз на помощь жадность, зависть, решительность, риск и в то же время осторожность. В нем вечно борется Христианская любовь к ближнему и нежелание поступиться во имя этой любви своим. Здоровый эгоизм заставляет рассчитывать на свои силы, социализм ли на дворе, капитализм ли. Старательные, рачительные, трудолюбивые, сообразительные и хитрые (торговля научит быть и разговорчивым, и хитрым) городчуки с незапамятных времен научились дубить шкуры, шить кожухи, костюмы, платья, юбки, делать грабли, бочки, плести корзины, сети, веши, ковать подковы, гвозди, мотыги, петли, ножи, длинные ключи, шить зимние шапки, пальто и сапоги, особенно сапоги. Говорят, что все польские короли заказывали хромовые сапоги только у городокских сапожников. Городчуки строили хаты, крыли их камышом, соломой, дранкой, мостили берега бурливой и подчас неспокойной Горыни, вырезали из золота серьги, выпиливали перстни, делали лодки, долбили челны, подковывали коней, набивали подушки и верхники (толстые пуховые одеяла), писали иконы…» Прочитал — и сразу захотелось вернуться к прочитанному роману Георгия Марчука. А еще вспомнил писателей-городчуков, чьи воспоминания о детстве тоже хотелось бы увидеть в сборнике, — поэта Михаила Шелехова и публициста, прозаика Владимира Глушакова. Ведь и они всем своим творчеством доказывают сопричастность с городом Давида и Боны.

О Минщине, Минске своего детства рассказывают Людмила Рублевская, Василь Ширко, Виктор Шнип, Алесь Мартинович, Адам Глобус, Алена Браво, Микола Шабович и другие авторы. Каждое воспоминание читается легко, с интересом. Не вызывает никаких сомнений и то, что книгу «За мостом моего детства» заметят не только «профессиональные» читатели — критики, литературоведы, историки литературы, писатели, краеведы, школьные учителя, но и, надеюсь, молодые люди, студенты. Возможно, последним еще рано вспоминать самим, но, наверное, рассказанное писателями, родившимися в 1940—1970-е годы, — уже история для поколения из 1980—1990-х… «За мостом моего детства» — это еще и рассказ о непростых временах. В одном из эссе можно прочитать и такую историческую статистику о колхозной жизни в конце 1940-х, конкретнее — в 1949 году. Работников в том колхозе было: мужчин от 16 до 60 лет — 60 человек, женщин в возрасте от 16 до 55 лет — 153. Работали в хозяйстве и подростки (от 12 до 16 лет) — 25 человек… Из живности в колхозе имелось всего лишь 12 коров, 70 свиней и 59 лошадей. А еще — 33 курицы и гусь, за которыми присматривала одна птичница. Техники не было, удобрений почти не было. Не было в хозяйстве ни агронома, ни зоотехника, разумеется, не было и инженера или механика. Зачем? Машин и тракторов ведь тоже не было. Хозяйством управляли председатель и четыре бригадира…

Книгой «За мостом моего детства» издательство «Літаратура і Мастацтва» открыло одноименную с названием газетной рубрики в «СБ. Беларусь сегодня» серию «Што ні край, то звычай». Значит, у проекта собрания писательских рассказов о детстве будет продолжение? Будем надеяться.

Кирилл ЛАДУТЬКО

Приглашение в прошлое

А знаете ли вы, как жили евреи или, например, татары в Минске в XVI или XVII веках? Да хотя бы и белорусы? Как они изъяснялись, как ссорились-мирились, как дрались, за что уважали друг друга, чему злобно завидовали? Боюсь, что нет. В исторических повестях и романах, которые мы прочитали в последнее время, все ж таки стилизованная жизнь, придуманные ситуации. Подчас интересные, талантливые, порой даже содержательные, но — все же далекие от реальной жизни. Я тоже грешен. Разве так изъяснялись люди, как я предположил в романе «Князь Мстиславский»? Нет, конечно. Иное дело, что события там происходят в начале XVI века, и сегодня реальная разговорная лексика того времени непостижима для нас.

Но интересна.

Именно этому и посвящено основательное эссе, собственно, книга Ольги Бобковой «...І цуды, і страхі», созданная по материалам актовых книг земских и гродских судов XVI — первой половины XVII века.

Но, может быть, нам и не нужны такие экскурсы в столь далекое прошлое? «Прошлое — это чужая страна», — сказал известный писатель.

«Прошлое — это будущее, с которым мы разминулись в пути», — заявил другой. Наверно, только любовь и смерть могут сравниться по количеству афоризмов с прошлым. У Ольги Бобковой есть собственное обоснование ее интереса к прошлому. «Мінулае насамрэч навокал. І гэта не толькі рэшткі бруку ды сілуэты і цені помнікаў, праз якія мы крочым, гэта — нашыя твары, рухі, галасы і нават маўчанне... мінулае адраджаецца з кожным новым народжаным, таму што ў яго наперадзе тое ж, што мелі ўсе ягоныя папярэднікі: маленства, юнацтва, сталасць і смерць...». Приводит Ольга Бобкова и фразу известного французского философа Поля Рикёра: «Что касается прошлого, то его в истории нет».

Но все же, как жили белорусы, евреи, татары в столь давние времена?

Известно, что одна фраза, один эпизод могут многое рассказать. И уж конечно, житейская сцена, прорвавшаяся к нам из тьмы столетий.

Евреи в те времена жили «ўнізе, на Нямізе». Вот довольно характерная история, случившаяся с Ёзефом Давыдовичем Гафтаром, слугой канцлера Льва Сапеги. Однажды на его дом напали слуги пана Яна Трацевского. Хозяева бросились бежать, но были настигнуты и избиты. Кроме того из дома Гафтара исчезли две серебряные чаши, которые *важили чатыры гривны серабра, фасцикул дел и бумаг пана Льва Сапеги*, желтый колпак, подшитый лисой, а также сабля, *ладовница и пишталет.* А вскоре после этого происшествия пан Трацевский обвинил Ёзефа Гафтара в попытке, позвав на *помоч много жыдов,* ритуального убийства мальчика. Трацевский свято верил в *поганство народу жыдовского, которые непрыятелем есть народу хрестиянскому*. Однако суд оправдал евреев.

Что касается татар, то они также любили помахать кулаками, а то и саблями (*буду мордовать и на крыж разбивать!*), но нелюбовь жителей к ним имела иную причину: зависть. Урожаи на татарских огородах были в два-три раза выше...

Документы, которыми пользуется автор, судебные, посему и дела в них соответственные: обиды, жалобы, претензии. И, конечно, приговоры. А времена были не в пример нашим. Высокий суд мог оправдать, но мог и приговорить — к повешению, четвертованию, *на горло стятем*, *взбитием на кол*... А вот ругательная лексика тех времен значительно уступала нашей, сегодняшней. Что это за ругательства, скажите на милость, *волать, фукать*, что за оскорбление *машкара*, *злое матки сын*. Хотя встречаются и весьма темпераментные: «Кобельчук, кудла, боярчук, неучстивого ложа матки сын!»

Отдельная глава посвящена именам того времени. «У імя ёсць гісторыя паходжання, — пішет автор. — Яно не ўзнікае ніадкуль і рэдка калі губляецца, яно надзяляе чалавека адбіткам сваёй таямнічасці і ўбірае ў сябе рысы свайго носьбіта. Яно не маўклівае нават тады, калі бачыш яго толькі вачыма на аркушы». Более ста мужских и женских имен приводит автор, среди них некоторые сегодня уже почти экзотические: Ждана, Кася, Калгота, Светохна, Невера, Персида, Зузанка, Неделка... Или мужские: Ярута, Колюта, Гримал, Мордас, Бокул, Арефа, Харук, Фурсиян... И прочие. «Я бачу гэтыя імёны, запісаныя ў старыя архіўныя кнігі, я чую іх, як старадаўнюю музыку», — пишет Ольга Бобкова.

Наверно, все стороны жизни того времени отразились в судебных документах, и соответственно, в книге Ольги Бобковой. Это свадьбы и свадебные тяжбы, дороги, которые, естественно, были опаснее, труднее, а потому и длиннее нынешних, происшествия на них, это и чародейства, которые даже в наши дни живут в несколько изменившемся виде. К примеру, женщина, которая по глазам пытается обнаружить преступника, — что это, как не экстрасенсорика того времени?

Одна из самых интересных глав книги — «Корчма». Как выглядела снаружи и внутри, что пили-ели посетители, как развлекались, какие вели разговоры, чем они подчас заканчивались... «Карчма — своечасовы прытулак. Карчма — злачынны кут. Карчмар абагрэе, накорміць і напоіць. Карчмар жа абрабуе і ашукае», — это отступление автора.

Жизнь минских местичей того времени подчас кажется невыносимой — скудной, жестокой, почти безнадежной, ни любви в ней, ни дружбы.

Однако автор приводит к одной из глав очень уместный эпиграф нидерландского философа и историка И. Хейзинга: «Усялякі час пакідае пасля сябе значна больш слядоў сваіх пакутаў, чым свайго шчасця».

Впрочем, есть и любовь: *...жона его именем Райна, слышечи то в доме сваем, иж мужа ее бють, побегла там же и гды прыбегла, том пала на мужу своим крыжом, хотячи мужа свайго от битя ратовать.*

Погружаясь в такие глубины времени, невольно сравниваешь сегодняшнее со вчерашним, оказываешься то судьей, то защитником. Глава «Добрадзейства» и посвящена *людям добрым, вере годным.* Примеров таких немало: вот у слонимского мещанина украли коня, и хозяин назвал в суде вора. Однако некоторое время спустя раскаялся, пошел к судье с заявлением о том, что *невине чоловека збезчестил*. Пришлось ему за легкомыслие уплатить рубль штрафа, но зато совесть была чиста. Тем более покинуть сей мир люди старались с чистой совестью, справедливо. «*Кождый ест завжды близшый смерти*, і, сыходзячы з гэтага мизернага света, чалавек разумеў сваю адказнасць перад тымі, каму яшчэ наканавана было тут заставацца, аддаючы ім *справедливость свайго серца*».

Очень существенны комментарии, лирические и философские отступления автора. «За вокнамі — Менск пачатку XXI стагоддзя, на стале — спрэсаваная ў тоўстыя рукапісныя кнігі гісторыя Менска 1600—1640 гадоў. З кожнай старонкі — голас. Часам ціхі, часам вельмі гучны... ...Хто будзе пільна ўглядацца ў макет нашага часу, захінаючы яго сваім ценем і перастаўляючы нерухомыя фігуркі паводле свайго разумення?»

Действительно, что за люди придут после нас? Будут ли вглядываться в прошлое? Захотят ли понять нас?

Все мы часто задумываемся о том, что есть время. Порой кажется, что оно, упавшее нам почти буквально с неба — главное наше богатство, главная надежда, но порой кажется, что время — наш враг. Именно оно лишает надежд и возможностей, рвет связи с близкими людьми. Но каково оно в своей физической сущности, если таковая все же есть?

«Цяпер я цвёрда ведаю, што час і прастора насамрэч маюць слаістую структуру, — говорит Ольга Бобкова. — І там, дзе ***іх*** ужо няма, працягваюць адгукацца на покліч старыя імёны».

Такая вот содержательная и необычная книга появилась в нашем времени, в нашем культурном пространстве.

Олег ЖДАН

Дантэ Аліг'еры. Новае жыццё. Франчэска Петрарка. Кніга песень. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Среди переводчиков, успешно работающих в нашей стране, бесспорно, одно из первых мест принадлежит Владимиру Скоринкину. Это благодаря ему на белорусском языке вышли книги Николая Рубцова «Рускі агеньчык» и Миколы Виграновского «Украінскі прэлюд», зазвучали стихи Яниса Райниса, читатель смог оценить всю неповторимость молдавских народных баллад. Однако особенно успешно В. Скоринкин переводит всемирную классику. Подтверждение тому — бессмертная «Божественная комедия» Данте, за перевод которой он был удостоен звания лауреата Государственной премии Республики Беларусь, а также отмечен Национальной премией Итальянской Республики и премией Общества Данте. И вот на белорусском языке зазвучало еще одно замечательное произведение великого поэта — «Новая жизнь». Под одной обложкой в издании помещена и «Книга песен» также классика всемирной литературы — Франческо Петрарки. О значимости сделанного В. Скоринкиным на переводческом поприще, и в частности о его мастерском перевоплощении произведений, вошедших в эту книгу, изданную в серии «Бібліятэка сусветнай літаратуры», говорит в предисловии «Беатрычэ і Лаўра ў беларускіх строях» Николай Чергинец. Сам же В. Скоринкин выступает с рассуждениями «Мой Дантэ» и «Мой Петрарка».

Усевалад Бардон. Мінералы. Горныя пароды. Метэарыты. Пераклад з беларускай мовы Паліны Грынчанкі. Мн.: Мастацкая літаратура», 2011.

Эта интересная книга продолжает серию «Зямля мая», выходящую в издательстве «Мастацкая літаратура» с 2004 года. Камни драгоценные, полудрагоценные, «обычные», метеориты… В самом деле, как отмечено в предисловии, «у кожным камені напісана яго гісторыя, трэба толькі здолець яе прачытаць». Благодаря Всеволоду Бардону и происходит это прочтение. Книга в первую очередь адресуется юному читателю, но полезно будет познакомиться с ней и взрослым. По той простой причине полезно, что нет предела познанию окружающего мира, а «камень — цуд прыроды і таямніца», как сказал известный литовский поэт Эдуардас Межелайтис.

Белой вежи свет. Сборник поэзии Брестчины. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Сборник поэзии «Белой вежи свет» — издание, которое собрало под своей обложкой произведения более ста поэтов. И это при том, что объем книги не такой уж и большой: где-то в пределах семи издательских листов. Казалось бы, невозможное произошло благодаря составителю этой своего рода региональной поэтической антологии замечательному поэту, истинному любителю и ценителю изящной словесности, прекрасному переводчику Валерию Гришковцу. Уроженец города Пинска, он на протяжении многих лет требовательно отбирал все лучшее, что в разные годы появлялось из-под пера авторов, жизнью и творчеством своим связанных с древней землей Берестейщины. Одни из них уже ушли в лучший мир. Другие, к счастью, живы и продолжают служить литературе. Есть и такие, кто по разным причинам уехал в иные края. Для своего перевода В. Гришковец взял такие произведения, которые, на его взгляд, позволяют лучше ощутить творческую индивидуальность их авторов, а вместе с тем свидетельствуют о том, какое многообразие талантов связано с благодатной землей, где, образно говоря, ощущаешь «Белой вежи свет». Предисловие «Круг аистиный, полет продолжается…» написал Алесь Карлюкевич.

Федор Гуринович. Спасибо солнышку. Стихи, рассказы. Мн.: Кнігазбор, 2010.

Эта и в самом деле солнечная книга увидела свет благодаря спонсорской помощи генерального директора ОАО «Беларуськалий» Валерия Кириенко. Что ж, Валерий Михайлович сделал доброе дело (хороший пример и для других руководителей предприятий и организаций — идти навстречу писателям-землякам). Более того, видно, что у него отличный художественный вкус. Ибо вышедшая книга получилась просто замечательной. В книге «Спасибо солнышку» рассказывается, как в прозе, так и стихами, о многих представителях белорусской флоры и фауны. Свои произведения Ф. Гуринович адресует детям, по сути, преподавая им уроки любви к природе.

Людміла Дучыц, Ірына Клімковіч. Сакральная геаграфія Беларусі. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2001.

В книге «Сакральная геаграфія Беларусі» Людмилы Дучиц и Ирины Климкович предпринимается попытка систематично осмыслить традиционное и культурное наследие белорусов, которое наши предшественники сохранили в легендах и преданиях, географических названиях, другом фольклорном материале. Сведения, полученные авторами во время археологических раскопок, фольклорных и этнографических экспедиций (Людмила Дучиц и Ирина Климкович более десяти лет путешествуют по Беларуси, наведываясь в самые укромные ее уголки), из других источников, положены в основу этой книги.

Так какие же секреты хранят белорусские озера и реки, курганы и городища, деревни, пашни, болота? Обо всем этом и рассказывает удивительная книга «Сакральная геаграфія Беларусі».

Аляксандр Каваленя: творчы лёс — жыццём абраная дарога. Укладальнік Алесь Марціновіч. Мн.: Беларуская навука, 2011.

В марте исполнилось 65 лет академику-секретарю Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, доктору исторических наук, профессору Александру Ковалене, а также 30 лет его творческого пути. Данная книга позволяет проследить его жизненный и исследовательский путь, узнать, насколько весом вклад А. Ковалени в развитие белорусской исторической науки. В первой части издания осмысливаются основные этапы его биографии. В частности, рассказывается о работе в должности директора Института истории НАН Беларуси. Во второй, «Навуковыя працы, публікацыі і выступленні А. А. Кавалені», помещены материалы, которые говорят о научных трудах ученого, о его активном участии в научной и общественной жизни. Интерес представляет интервью «Мой лёс, мая дарога». Книга богато иллюстрирована как черно-белыми, так и цветными снимками. В книге имеется обстоятельный справочный аппарат, а это указатель работ исследователя, рецензии на его труды и т. д.

Владимир Короткевич. Христос приземлился в Городне (Евангелие от Иуды). Роман. Перевод с белорусского языка и комментарии Петра Жолнеровича. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011**.**

Анатоль Бутевич в начале своего предисловия к этой книге отмечает: «Открывая всякую новую книгу, мы втайне надеемся на чудо соприкосновения с прекрасным, на встречу с загадочным творческим миром автора. А еще — на чудо откровения. Ибо сколько бы и чего бы мы ни знали, нам все равно хочется нового, неведомого, необычного. Открывая книги известного белорусского писателя Владимира Короткевича, мы бесспорно получим все ожидаемое. А еще — попадем в удивительный и неповторимый мир белорусской истории»… Конечно, все это касается и романа «Христос приземлился в Городне», в котором отображено белорусское средневековье. Эта книга — первенец в новой издательской серии «Свет минувшего. Класси-

ка». Следом за ней появятся и другие произведения классика белорусской литературы.

Владимир Саламаха. Лица и Лик. Повести. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Очередная книга прозы известного белорусского писателя, лауреата Государственной премии Республики Беларусь Владимира Саламахи, пополнившая серию «Лімаўскі фальварак», несомненно, — хороший подарок тем настоящим ценителям изящной словесности, кто любит литературу традиционную, избавленную от формальных поисков, ложной композиционно-структурной усложненности и подпадающую под определение человековедение. Она реалистична, и уже этим многое сказано. В этом убеждают и произведения В. Саламахи. Читателя ожидает встреча с нашими современниками. В повести «Лица и Лик» переплетаются судьбы охранника сталинского ГУЛАГа и «нового белоруса», бывшей проститутки и современного чиновника. А в повестях «…И нет пути чужого» и «Утешь меня кривдой» о нынешней жизни рассуждают люди старшего поколения, те, кто пережил военное лихолетье. Им, честным и порядочным, нередко бывает больно видеть современную действительность, негативные ее проявления. Повести печатаются в переводе на русский язык.

Андрэй Федарэнка. Мяжа. Раман-эсэ, апавяданні. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Роман-эссе «Мяжа» и рассказы Андрея Федаренко также вышли в серии «Лімаўскі фальварак». Роман уже печатался в периодике, он автобиографичен и, по признанию самого автора, является как бы возможностью появления «второго дыхания». В частности, в эпилоге третьей части произведения автор замечает, что «розныя споведзі, аўтабіяграфічныя раманы, рэвізіі, успаміны, жыццяпісы, мемуары, межы, падвядзенні рысаў, выбраныя месцы перапіскі з сябрамі і інш., з'яўляюцца тады, калі пісьменнік пачынае выпісвацца як мастак. Інакш кажучы, у яго творчы крызіс». Утверждение, прямо скажем, небесспорное. Однако в рассуждениях А. Федаренко интересно дальнейшее осмысление состояния «пишется — не пишется»: «Мы маем мноства прыкладаў, калі дзякуючы такім споведзям [...] у пісьменніка раптам узнікала другое дыханне, з'яўлялася невядома адкуль энергія, і ўжо на іншым, больш высокім узроўні ён пачынаў ствараць новыя мастацкія рэчы. Нам даспадобы менавіта гэты варыянт». Что ж, как говорится, поживем — увидим. И надеемся именно на это.

Павел Шпілеўскі. Беларусь у абрадах і казках. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Благодаря стараниям Александра Ващенко появилась эта книга. Из российской периодики середины XIX столетия он взял и перевел на белорусский язык исследования известного белорусского писателя, этнографа, краеведа, фольклориста, журналиста и театрального критика Павла Шпилевского, многие из которых с тех пор не переиздавались ни разу. Названия работ говорят сами за себя: «Юр'еў дзень», «Беларускія павер'і», «Беларускі кірмаш», «Маладзіковая нядзеля», «Ігрышчы», «Валачобнікі», «Даследаванне аб ваўкалаках» і другие.

Евгений БОРКОВСКИЙ



ЧАРКАЗЯН Ганад Бадриевич. Родился в 1946 г. в Армении. Окончил Белорусский политехнический институт. Поэт, прозаик, переводчик. Пишет на курдском и армянском языках. Автор книг поэзии и прозы «Прочность», «Цвет доброты», «Пространство и время», «Тоска по дому», «Опередить смерть» и др. Живет в Минске.

КОТЛЯРОВ Изяслав Григорьевич. Родился в 1938 г. в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии и многочисленных публикаций в изданиях Беларуси и России. Работал в редакции Светлогорской районной газеты, теперь – директор картинной галереи. Живет в Светлогорске.

ФЕДАРЕНКО Андрей Михайлович. Родился в 1964 г. в д. Березовка Мозырского района. Окончил Мозырский политехникум, Минский институт культуры. Прозаик. Автор книг прозы «Гісторыя хваробы», «Смута», «Шчарбаты талер», «Афганская шкатулка» и др. Лауреат Литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.

СОЛОНЕЦ Виктор Семенович. Родился в 1937 г. в д. Глядовичи Стародорожского района Минской области. Поэт. Печатался в газетах «Белорусская нива», «Мінская праўда», журнале «Нёман». Живет в Любани.

КОЗЛОВ Анатоль Сергеевич. Родился в 1962 г. в д. Осиновка Краснопольского района Могилевской области. Окончил Гомельский государственный университет, аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Прозаик. Автор книг прозы «Міражы ценяў», «...І тады я памёр», «Незламаная свечка» и др. Работает в журнале «Нёман». Живет в Минске.

ИВАНОВА Наталья Владимировна. Родилась в 1968 г. в Гомеле. Окончила Гомельский государственный техникум железнодорожного транспорта, филологический факультет Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Поэт. Автор коллективного сборника «Святло шчымлівай памяці» и книги «Диалоги со временем». Живет в Гомеле.

КОРШУКОВ Евгений Иванович. Родился в 1932 г. в д. Давидовичи Калинковичского района Гомельской области. Окончил Белорусский государственный университет. Прозаик, поэт, переводчик, критик. Руководитель студии военных писателей. Автор многих книг. Лауреат литературного конкурса Министерства обороны Республики Беларусь. Живет в Минске.

ГРИШКОВЕЦ Валерий Федорович. Родился в 1953 г. в Пинске. Учился в Белорусском государственном университете. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Поэт, прозаик, переводчик. Автор ряда книг. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе «Золотое перо России» и Международной литературной премии им. Андрея Платонова. Корреспондент Брестской областной газеты «Заря». Живет в Пинске.

ФОРСТЕР Эдуард Морган. Родился в 1879 г. в Лондоне. Окончил Кембридж, где посещал заседания кружка «кембриджских апостолов». Романист и эссеист. Автор романов «Куда боятся ступить ангелы», «Самое долгое путешествие», «Морис» и других, многие из которых экранизированы. Умер в 1970 г. в Ковентри.